Антология Сатиры и Юмора России XX века





«Сатирикон» и сатириконцы











Сатирикон и сатриконцы

Аркадий Тимофеевич Аверченко, Николай Агнивцев, Владимир Александрович Азов, Леонид Андреев, Алексей Николаевич Будищев, Иван Бунин, Аркадий Сергеевич Бухов, Евгений Осипович Венский, Александр Вознесенский, Владимир Васильевич Воинов, Георгий Андреевич Вяткин, Сергей Горный, Сергей Митрофанович Городецкий, Валентин Иванович Горянский, Александр Степанович Грин, Николай Степанович Гумилёв, Исидор Яковлевич Гуревич, А. Д'Актиль, Дон Аминало, О. Л. Д'ор, Осип Дымов, Николай Евреинов, Ефим Давыдович Зозуля, Вильгельм Зоргенфрей, Георгий Владимирович Иванов, Александр Алексеевич Измайлов, Василий

Князев, КРАСНЫЙ, Александр Куприн, Владимир Ладыженский, Георгий Ландау, Лидия Валентиновна Лесная, Владимир Лихачев, Осип Мандельштам, Самуил Яковлевич Маршак, Владимир Владимирович Маяковский, Сергей Михеев, Леонид Мунштейн, Петр Потемкин, Иван Кузьмич Прутков, Михаил Яковлевич Пустынин, Алексей Радаков, Алексей Ремизов, Александр Рославлев, ТЭФФИ, Александр Матвеевич Флит, Дмитрий Цензор, Саша Чёрный, Георгий Иванович Чулков, Илья Григорьевич Эренбург

Аннотация
«САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ
«Сатирикон» и сатириконцы,. или Волшебный алкоголь
«САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ
Аркадий АВЕРЧЕНКО
Автобиография
Широкая масленица

Вечером
Здание на песке
Рыцарь индустрии
Камень на шее
День человеческий
Жена
Виктор Поликарпович
«Аполлон»
Фат
Роковой Воздуходуев
Новогодний тост. Монолог
Моя симпатия и сочувствие Ленину
Трава, примятая сапогом
Почтовый ящик «Сатирикона»
Николай АГНИВЦЕВ
Гимн. Е(го) В(ысоко)Б(лагородию). Ивану Ивановичу г-ну Иванову
«Шашлык на вертеле»
В университетской столовке
Сказка о трех набобах
Дама из Эрмитажа
Владимир АЗОВ
Из альбома пародий
Благотворительный сборник
Вечерняя газета
Бюджет

Так было, так будет
Леонид АНДРЕЕВ
Искренний смех. Рассказ веселого человека
Алексей БУДИЩЕВ
Товарищам
Возобновление юности
Иван БУНИН
День памяти Петра
Аркадий БУХОВ
Два Наполеона
Поэтам
Легенда о страшной книге
Приятный собеседник
Спекулянты
Что я написал бы,. если бы он умер
Ласковое
Начинающие
Геометристы
Искусство юмора
Чего не успел написать Гейне
Вспомните!
Яд доброты
Анисьин муж
Шаблонный мужчина
Потомки
Философские стихи

Евгений ВЕНСКИЙ
Мое копыто. Пародии
Остались лазейки
Ну и времечко!
Обыватель
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Nihil
У нас всегда 1-е апреля
Владимир ВОИНОВ
Жизнь человека
Музыкальный критик Дурной
«Жуть зеленая»
Рыцарю скорби и гнева
Георгий ВЯТКИН
Пятый
Сергей ГОРНЫЙ
Как можно стать знаменитостью
В жару
Сергей ГОРОДЕЦКИЙ
Домовой
Река жизни
Конь
Коню извозчика, издохшему. на Вознесенском на днях вечером
Нищий
Валентин ГОРЯНСКИЙ

Предусмотрительный
Свободомыслящий
О политике
Вы любите ли сказки?
Кто победит?
Россия
Максиму Горькому
Александр ГРИН
Редактор и писатель. Сцены из военной жизни
Дайте
Буржуазный дух
Реквием
Николай ГУМИЛЕВ
* * *
Маргарита
* * *
Я и вы
Исидор ГУРЕВИЧ
Визит
Комар
Загадочная натура
Передвижник
История одного аванса
Тиран
А. Д’АКТИЛЬ

Подоходное
Три года
Эпитафия
Отчего не следует выставлять рам
ДОН АМИНАЛО
Дамы на Парнасе. Из альбома почтительных пародий
О птицах
Афоризмы
Японские танки. Вольное подражание
Послесловие
Московские празднества
«Возвращается ветер...»
Утешительный романс
Без названия
Куриная философия
Они жуют
О. Л. Д'ОР
Автобиографии великих, малых. и крошечных писателей
История России,. обработанная «Сатириконом». Главы из книги
Смутное время
Русь — империя
Преемники Петра
Отечественная война

Осип ДЫМОВ
Драматург
Слова
Дело Зудотешина
Оппозиция
Сказка города
Математик
Николай ЕВРЕИНОВ
Слон за роялем. Музыкальная юмореска
Ефим ЗОЗУЛЯ
Лакей
Что-то такое
В таком плохом кинематографе
Поучительная история об авторе авантюрных романов
Репортер и пророчица
Живая мебель
Вильгельм ЗОРГЕНФРЕЙ
* * *
Над Невой
* * *
Георгий ИВАНОВ
«На Луначарской улице»
Александр ИЗМАЙЛОВ. Пародии
Константин Бальмонт
Андрей Белый

Зинаида Гиппиус
Сергей Городецкий
Михил Кузмин
Иван Рукавишников
Михаил Арцыбашев
Василий КНЯЗЕВ
Либерал перед зеркалом
Павел
Признание модерниста
Моя политическая платформа
С натуры
Скорбь гвоздики
Дмитрию Цензору
Требник капиталиста
Обывательщина
Нищим духом
Триумфаторы
Мы — дети веселого смеха
КРАСНЫЙ
То и другое
Хор российских обывателей
Александр КУПРИН
Путаница
Две пародии
Владимир ЛАДЫЖЕНСКИЙ
* * *

На Невском
Среди холмов
Смешная история
Не может быть
Георгий ЛАНДАУ
Аля
Соблазны жизни
Секрет
Лидия ЛЕСНАЯ
Жрица искусства
В антракте
Чайная роза
Дешевка
Имитация
Актриска
Саломея
Контрреволюция
Ручной хищник
Владимир ЛИХАЧЕВ
Поэзия и проза
Частные
Где мало — где много
Обывательские рифмы
Тишь да гладь
Осип МАНДЕЛЬШТАМ
* * *

Египтянин
Аббат
Самуил МАРШАК
Жалоба
Предостереженье
Освободители искусства
Владимир МАЯКОВСКИЙ
Вам!
Гимн взятке
Внимательное отношение к взяточникам
Мое к этому отношение
Лунная ночь
В. Я. Брюсову на память
Интернациональная басня
Сергей МИХЕЕВ
Песенка
Леонид МУНШТЕЙН
Эпиграммы разных лет
Петр ПОТЕМКИН
Ночью
Заутреня
Весна
Обыкновенная история
Весенний муж
Лебяжья канавка
Песня

На вернисаже
Герань
Париж
Иван Кузьмич ПРУТКОВ
Плевков
Постовой и месяц
Мозги и ночь
Роль поэта во вселенной
Мысли и афоризмы
Михаил ПУСТЫНИН
Прежде и теперь
Алексей РАДАКОВ
Эволюция
* * *
Алексей РЕМИЗОВ
Про мертвеца и про разбойников
Александр РОСЛАВЛЕВ
Карлики
Маргаритки
Весенние песенки
Сороки
ТЭФФИ
Песенка о хитрой канониссе. и скромном аббате
* * *
* * *

* * *
* * *
Человекообразные
Седая быль
Яркая жизнь
Зеленый праздник
Псевдоним
Александр ФЛИТ
Ее величество пошлость
В защиту смеха
Моя автобиография
Дмитрий ЦЕНЗОР
Весеннее утро в доме № 37
Весной у взморья
Саша ЧЕРНЫЙ
Слишком много
Молитва
Потомки
Два желания
Веселая наглость
Честь
Простые слова
Приказ
* * *
«Сатирикон»
Первый грех

Об Аркадии Аверченко
Русская книжная полка
Георгий ЧУЛКОВ
Веселые дети и скучный черт
Огурец
Ерунда
Божья Коровка
Свинячий сын
Илья ЭРЕНБУРГ
* * *
* * *
О России
О Москве
О маме
НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ
Две радости
Вопрос
Прессе
Конкуренты
Песня об его превосходительстве
Элегия
Отчего
Поэты
История спокойного короля
Словарь авторов
ИЛЛЮСТРАЦИИ

INFO

Аннотация

Мегапроект «Антология сатиры и юмора России XX века» — первая попытка собрать воедино творения лучших сатириков и юмористов уходящего столетия.

———

Настоящее издание уникально и является наиболее полным собранием произведений самого веселого и острого жанра литературы, принадлежащих перу сотрудников чрезвычайно популярных в свое время журналов «Сатирикои» и «Новый Сатирикон» (1908–1918).

Среди 50 авторов книги — как признанные мастера юмористического жанра (А. Аверченко, А. Бухов, О. Дымов, Н. Тэффи, С. Черный), так и многие другие известные поэты и прозаики, которые обращались к сатире и юмору лишь эпизодически или мимоходом (Л. Андреев, Н. Гумилев, Г. Иванов, А. Куприн, О. Мандельштам, А. Ремизов). Со многими произведениями читатель познакомится впервые.



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

«САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ

«ЭКСМО-Пресс» 2000

*

Серия основана в 2000 году

Оформление книги — художники *М. Халилов, Э. Зейналов*

Редколлегия благодарит отдел Русской литературы XX века Государственного литературного музея и лично А. Э. Рудник за помощь в подборе иллюстративного материала.

*

Редколлегия:
Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков, Лев Новоженов, Александр Ткаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта
Юрий Кушак

Главный художник, автор серийного оформления
Евгений Поликашин

© И. А. Мазннн, составление, вступ. статья, 2000
© Е. А. Поликашин, оформление, 2000

«Сатирикон» и сатириконцы, или Волшебный алкоголь

Когда тот или иной режим начинает источать из себя сладкий дурман с привкусом крови и благодаря своей порочности и глупости поставлять такие типы, темы и сюжеты, которые не могут восприниматься иначе как карикатурные, тогда благородный дух, еще вчера весьма либеральный, принимается бурно негодовать, а затем и яростно издеваться как над этим режимом, так и над теми власть имущими, что цинично позволяют себе не считаться ни с добродетелью, ни с правдой. И вот уже — в силу причин истинно исторических! — добродушная насмешка становится едкой ухмылкой, беззаботный юмор оборачивается ядовитой сатирой, а то издание, то средство массовой информации, что первым решается превратить свои страницы в место противления злу смехом, в считанные дни делается повсеместно известным и жизненно — для самых разных слоев общества — необходимым…

Именно это и случилось весной 1908 года с довольно легкомысленной «Стрекозой», ставшей по

воле ее молодых сотрудников — поэтов, художников и прозаиков — язвительным «Сатириконом», возглавить который было суждено блистательному Аркадию Аверченко. Уже само название нового журнала, напоминавшее читателям о романе Гая Петрония Арбитра, указывало, что положение дел в России весьма плачевно и столь же, вероятно, гибельно, что и в Древнем Риме эпохи Нерона, самыми характерными чертами которой были продажность и развращенность, царившие как в привилегированных слоях общества — среди денежной аристократии и в среде чиновных плутократов, — так и в низах.

Само собой разумеется, однако, что, не будь одна часть молодых сотрудников «Сатирикона» (а с 1913 года — «Нового Сатирикона») чрезвычайно талантливой, а другая — весьма даровитой, новое издание ни за что не имело бы успеха и ни под каким видом не вошло бы в историю — как в историю журналистики, так и в историю русской сатиры вообще. Да, трудно смеяться среди развалин и мириться «мрачной бездны на краю» с тем, что человек — несовершенный и порою до безобразия греховный — более подвержен низким, нежели возвышенным, порывам, но смеяться — это все же лучше, чем стенать и плакать, а на-

деяться и верить — много лучше, чем смиренно умирать до смерти… И пусть сатира — по определению — не может чаять воскрешения мертвых, но та же сатира — и тоже по определению — не может не заботиться о преображении живых, которые, охотно вверяя себя ей, легко делают вместе с нею дурное — смешным, а все пугающее — нестрашным. И читатель «Сатирикона» очень скоро понял все это и оценил, тем более что общались с ним со страниц журнала не просто сатирики, не просто юмористы и карикатуристы, а подлинные побудители благородных сил, ценящие в каждом человеке как его одушевленность, так и его способность укрощать «зверя». И того, что в нем, и того, что вне его… Куда как важно и то обстоятельство, что благодаря «Сатирикону» массовый читатель вдруг увидел, что «одной прелести слова, либо остроумного анекдота, либо умелого сюжета, либо мастерства в создании типов и характеров — для сатиры еще мало, это лишь детали для нее; главное в сатирическом произведении — это глубокая мысль, проникающая общественное явление до дна, до истины, и подчиняющая себе все остальное — и прелесть слова, и движение сюжета, и характеры героев». А увидев, массовый читатель стал также и ясно

понимать, что все, что лишь потешно, «в сатирическом, в литературном отношении, — как справедливо писал об этом Андрей Платонов, — малоценно»...

И случилось так, что довольно скоро читатель почти всей России — и в этом нет никакого преувеличения — уже просто не мог обходиться без рассказов Аркадия Аверченко и Осипа Дымова, сатир Саши Черного и Алексея Радакова, стихотворений и юморесок Надежды Тэффи, эпиграмм и пародий Александра Измайлова и Евгения Венского, часто представлявших собой некую разновидность «маленьких фельетонов», хлестко высмеивающих те или иные «слабости» едва ли не всех литературных течений и направлений того времени. Весьма способствовали росту популярности журнала и карикатуры, шаржи и рисунки его художников: Ре-Ми (Н. Ремизова-Васильева), А. Юнгера, Мисс (А. Ремизова), А. Яковлева. С большим желанием и весьма деятельно сотрудничали в «Сатириконе» и те писатели, которые ранее почти не принимали участия в юмористической журналистике. Это относится и к Александру Куприну и Леониду Андрееву, Алексею Ремизову и Георгию Чулкову, Николаю Гумилеву и Осипу Мандельштаму, Илье

Эренбургу и Владимиру Маяковскому, лучшие черты сатирического дарования которого, кстати, раскрылись как раз в тех вещах, что он написал, став на некоторое время активным сатириконцем. Интересно отметить также, что именно в «Новом Сатириконе» начал свою поэтическую деятельность и Александр Тфин — знаменитый в скором времени романист и рассказчик, автор «Алых парусов»…

Словом, привлекательность журнала, сделавшего смех средством спасения от «безумного, безумного, безумного мира» и помогавшего людям не сходить с ума от всевластного засилья «любящих баб да блюда» и той бесовщины, что эти «любящие» несли с собой, была поистине велика и вполне заслуженна. Потому что, как об этом точно и тонко написал Саша Черный, —

Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба.
Невольно поднимаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба. —
И смех, волшебный алкоголь.
Наперекор земному аду.
Звеня, укачивает боль.

Как волны мертвую наяду…

Ну а теперь — несколько слов о тех, кто оказался почти забыт и в силу этого — и уже давно! — считается литератором малоизвестным, а то и вовсе неизвестным. Как, к примеру, Лидия Лесная, бывшая самой настоящей и уже потому далеко не последней поэтессой Серебряного века. Интересными, капризно-ироничными, полными игры, причуд и тонких выдумок остаются по сей день ее стихи. У Лидии Лесной не было, по ее собственному признанию, «сатирического отношения к жизни», но тем не менее в 1916 году ее пригласил работать в «Новый Сатирикон» секретарем редакции сам Аркадий Аверченко. Помнить о Лидии Лесной могло бы заставить любителей поэзии всего одно ее стихотворение, а именно то, которое называется «Ручной хищник» и за строками которого так и видится образ Николая Гумилева: и его чуть косящие глаза, и его тонкие пальцы, и его уста, со словами то из рая, то из ада приходящими…

Или Валентин Горянский, помнить о котором и внимательно, с признательностью, читать следует хотя бы только за то, что его муза была едва ли не самой близкой предшественницей музы есенинской…

Впрочем, не были сколько-нибудь счастливыми и судьбы других сатириконцев. Покинули родину Аверченко и Саша Черный, Горянский и Тэффи, и еще многие и многие. А те, что остались в России, были в большинстве своем репрессированы. Первым погиб Гумилев, а спустя два десятилетия уже не было в живых ни Бухова, ни Венского, ни Князева, и еще многих и многих.

Что же касается самого «Сатирикона», то русские эмигранты попытались в 1931 году возродить его. И возродили, но всего лишь на несколько месяцев, о чем, конечно, нельзя не сожалеть, поскольку сотрудниками его стали Иван Бунин и Георгий Иванов, Дон Аминадо и Николай Евреинов, Владимир Азов и Борис Зайцев, а художественный отдел составили Константин Коровин и Александр Бенуа, Мстислав Добужинский и Иван Билибин…

Будем, однако, благодарны судьбе и за то богатство, что оставлено нам, тем более что оно велико: почти шестьсот номеров первоклассного журнала, которому отдали одиннадцать лет своей жизни лучшие Мастера отечественной сатиры и юмора, сдержав обещание, данное редакцией в самом первом номере:

«Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все беззаконие, ложь и пошлость, которые царят, в нашей политической и общественной жизни». Вот почему определенная часть сборника невольно оказалась «удручающе» актуальной и злободневной… Но главное все-таки в том, что веселый гений смеха, присущий сати-риконцам, сохранив в их творчестве все самое лучшее, и ныне способен доставлять нам высокое эстетическое наслаждение своим остроумием, жизненностью и художественной выразительностью.

Игорь Мазнин

«САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ


САТИРИКОН
НОВЫЙ САТИРИКОН
НОВЫЙ САТИРИКОН
НОВЫЙ САТИРИКОН
КАРЛЪ МАРКСЪ
САТИРИКОН


САТИРИКОНЪ
НОВЫЙ САТИРИКОНЪ
НОВЫЙ САТИРИКОНЪ
КАРЛЪ МАРКСЪ
САТИРИКОНЪ

Аркадий АВЕРЧЕНКО

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись, — ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю. при чем здесь

еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм… Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький сто-

лик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «…хорошего в ученье». Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и

остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров. воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер

не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет. поет. А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь… — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Черт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня

казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека — в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как живете-мо-

жете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает

пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч. а молодой господин, названный им до того «лодырем». предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, — ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…

Это был самый грязный и глухой рудник в свете.

Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том. что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру. жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид. что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки…

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в

ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути, попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

— Что это такое? — изумился я.

— А шахтеры. — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

— Ну?

— Так не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был. однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один

смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

«.....»

*** * ***

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом.

По целым дням бродил я по городу, сдвинув

шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого. смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорара я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в

свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоились.

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу… Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать с меня!

Тогда он. обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петербург я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками.

Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город… Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 6 руб., на полгода 3 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 6 руб., на пол-года 3 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной до болезненности скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…

1910

Широкая масленица

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что… Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете… Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?

«Чтоб тебе лопнуть, жила!» — подумал хозяин, а вслух сказал:

— Неудобно это как-то… Ну, да раз вы посто-

янный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

* * *

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

— Водочки перед блинками, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

— Как хотите. На то вы гость.

И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.

— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: — Люблю полненьких!

— Ну-с… ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки… Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

— Те-те-те! — восторженно закричал гость. — Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

— Да-с, икра… — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры…

Пожалуйте вот ложечку.

— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел… Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши… Да, так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился:

— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен… на хлеб… да в рот… Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

— Тает? Скажите. Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Бла-агороднейшая дама!

— А что вы скажете насчет этих малюток? Нем-

цы считают кильку лучшей закуской!

— Так то немцы, — резонно заметил гость. — А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще… «Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он», — как сказал какой-то поэт.

— Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин.

— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.

— Вы почему-то не кушаете ветчины… Неужели вы стесняетесь?

— Что вы! Я чувствую себя как дома!

«Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

— Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

— И с икрой, добавьте, — нравоучительно произнес гость. — Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо альфы и омеги говорил… Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

— Черт возьми! Икра, как живая. Я ее придви-

гаю сюда, а она отодвигается туда… Совершенно незаметно!

— Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил: — А вот мы ее опять придвинем. — И придвинул грибки.

— Да это грибки, — добродушно сказал гость.

— А вы… чего же хотели?

— Икры. Там еще есть немного к блинам.

— Господи! — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

— Что такое?

— Кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

— Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте… Кушайте побольше.

— Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

— Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте… Может быть, вам шампанского открыть, ананасов, а? Кушайте!

— Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед… Оставим место и для шампанского, и для ананасов… Пока я — сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?

— Куш… кушайте! — сверкая безумными глаза-

ми, взвизгнул хозяин. — Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь — кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало. Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого… Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.

Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.

«Сатирикон», 1909, № 6

Вечером

Посвящаю Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сза-

ди прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе. Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый гон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она. вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, — вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну. слушай… про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

— Первый раз слышу.

— Ну, слушай… Жила-была Красная Шапочка…

— Виноват… Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения, при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает:

— В этом… В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— …Взяла она маслице и лепешечку и пошла

через лес к бабушке…

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

— По-латыни — Lupus.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей…

Она морщит нос и рычит:

— Кррасная Шапочка… Куда ты идешь?

— Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну. я тебе расскажу. Жил-был мальчик…

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша… яблоки имеют лапки?» — «Нет, милый». — «Ну, значит, я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду

он производит потрясающее впечатление.

— Ай! Съел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

* * *

Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем и шепотом:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно…

— Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые… груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Мама! Груши имеют лапки?» — «Нет, детка». — «Ну, значит, я курицу слопала!»

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о… Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает…

— Пойди сюда, дядя, — неуверенно подзывает она. — Вот твоя невеста…

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой растрепанной ивы.

— Э, нет. милая. Какая же это невеста? Это дерево. ТЬг поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка… Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу… найти… для тебя… страшную… невесту.

Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.

Тишина… Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы…

«Сатирикон», 1909, № 7

Здание на песке

I

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

— Чья это ручонка? — спрашивал муж Митя

жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства…

— Чья это маленькая ручонка?

Самое простое — жене нужно было бы ответить:

— Мой друг. Эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

— Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

— Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

— Окрошка, на второе голубцы, а потом — крем.

Или:

— Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

— Да нет же! — хохотал он. — Что у нас должно родиться?

— Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

— Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

— Мальчик.

— Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган… Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком… А? Как ты думаешь… Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух: «Котлеты под морковным соусом». Но говорю:

— Инженера.

— Правильно. Инженера или доктора. Липочка!

Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это ты так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

— Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

— Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

— Хороший нагрудничек.

— Да это свивальник! А вот, как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

— Панталончики?

— Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

— Видел. Три раза видел.

— Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки. У мужа Мити на глазах слезы.

— Вот тут он будет лежать… Большой, толстый

мальчишка. «Папочка, — скажет он мне, — папочка, дай мне карамельку!» Гм… Надо будет завтра про запас купить карамели.

— Купи пуд — советую я.

— Пуд, пожалуй, много, — задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

— А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

— А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

— Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

— Что?

— Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя… Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.

— Друг мой… я тебя не понимаю… Он, Липочка, кажется. сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

— Эй, — кричу я. — Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже

терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и, не прощаясь, ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

— А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II

Недавно я получил странную записку:

«Дорог Александ Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!?!? Ого-го-го!!»

«Бедняга помешается от счастья», — подумал я, взбегая на лестницу его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

— Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

— Поздравь, — сухо ответил он.

— Жена благополучна? Здорова?

— Ты, вероятно, спрашиваешь той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя… ха-ха!

Я откачнулся от него:

— Послушай… ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался:

— Ха-ха! Можешь меня поздравить… пойдем, покажу.

— Он в колыбельке, конечно?

— В колыбельке — черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

— Послушай! — закричал я, отскочив в смятении. — Там, кажется, два!

— Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать…

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

— Черт возьми… Действительно! Как же это случилось?

— А я почем знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

— Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его:

— Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно…

— Да как же! Теперь я погиб…

— Почему?

— Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки… У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелек и наем двух мамок… Ну… и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут — учить… Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему… Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше… Пропало… все пропало… Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю, всех вместе показать — она от ужаса протянет ноги… как ты полагаешь?

— Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? чьи ушки?»

— Да… Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено… Так хорошо началось… Свивальнички, колыбелька… инженер…

— Чем же она виновата, глупый ты человек?

Это закон природы.

— Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать… О Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел:

«Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования».

«Сатирикон», 1909. № 23



Рыцарь индустрии

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, и — упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

— Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. — Конечно же можете.

— Зайдите ко мне в таком случае, — сказал я, отходя от окна.

Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам да, так нет! Чистейшей воды пустяки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — подмигивая, спросил я. — Хе-хе.

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли — могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же, — удивленно возразил я, всматриваясь в него. — Послушайте… ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

— Ничего подобного! Это было третьего дня.

А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

— Так вы — агент по страхованию жизни? — сухо сказал я. — Чем же я могу быть вам полезен?

— Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться — на дожитие или с уплатой премии вашим близким после — дай вам Бог здоровья — вашей смерти?

— Никак я не хочу страховаться, — замотал я головой. — Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет… Я одинок.

— А супруга?

— Я холост.

— Так вам нужно жениться — очень просто! Могу вам предложить девушку — пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмот-

реть. Сюртук, белый жилет. Если нет — можно купить готовые. Адрес — магазин «Оборот»… Наша фирма…

— Господин Цацкин, — возразил я. — Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни…

— Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь… Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик…

— Оставьте ваши пробные флакончики при себе, — раздражительно сказал я. — Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост…

— Что такое — лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью… Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает

рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите — рост…

— Ничего мне не нужно! — сказал я. сжимая виски. — Простите, но вы мне действуете на нервы…

— На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный… Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но…

Я схватился за голову.

— Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин» — фирма уж сама доставит вам на дом…

— Извините, — сказал я, закусывая губу, — но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа — писать статью…

— Утомительная? — сочувственно спросил господин Цацкин. — Я вам скажу — она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон… За две

штуки семь рублей, а за три — десять…

— Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства. — Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

— Этим пресс-папье? — презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. — Этим пресс-папье… Вы на него дуньте — оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита…

Я нажал кнопку электрического звонка.

— Вот сейчас придет человек — прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания.

Прошло две минуты. Я позвонил снова.

— Хорошие звонки, нечего сказать, — покачал головой господин Цацкин. — Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные кнопки…

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу:

— Идите! Или у меня сейчас будет разрыв серд-

ца…

— Это не дай Бог. но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк…

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и — распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

— В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся… Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня — один прибор два рубля сорок копеек, за три — шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук…

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал;

— Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

— Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для об-

разца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

— У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де…

Я захлопнул окно.

«Сатирикон», 1909. № 33



Камень на шее

I

Однажды, тихим вечером на берегу морского залива очутились два человека.

Один был художник Рюмин, другой — неизвестно кто.

Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за поведением неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел в воду.

Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба…

Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак — очевидно, с чужого плеча, — полез в воду, ежась и испуская отчаянные вздохи.

— Эй! — закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги. — Что вы там делаете?

Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:

— Не мешайте мне! Уж я так решил…

— Что вы решили? Что вы делаете?!

— Ослепли вы, что ли? Не видите — хочу утопиться…

— Это безумие! Я не допущу вас до этого!..

Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и воскликнул:

— Все равно — нет мне в жизни счастья. Про-

щайте, незнакомец! Не поминайте лихом.

Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Вытащить самоубийцу не представляло труда, так как в том месте, где он стоял, было не глубоко — немного выше колен.

— Безумец! — говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот. — Что вы задумали?! Это и грешно и глупо.

Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого одушевления. Брошенный сильной рукой художника на песок, он встал, отряхнулся и, потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь.

— Пампасов! — сказал он вежливо.

— Каких пампасов? — изумленно спросил Рюмин.

— Это я — Пампасов. Нужно же нам познакомиться.

— Очень приятно, — все еще дрожа от напряжения, отвечал Рюмин. — Моя фамилия — Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?

Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил:

— Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные зеленоватые

волны… Я обрету там покой!..

Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал:

— Ну, успокойтесь… Чего, в самом деле… Я уверен, все обойдется. Самое сильное горе, самое ужасное потрясение забываются…

— Да у меня никакого потрясения и не было, — проворчал, уронив голову на руки. Пампасов.

— Тогда чего же вы…

— С голоду… С нужды… Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден носить на плечах…

— Только-то? — оживился Рюмин. — Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и все такое.

— Я милостыни не принимаю, — угрюмо проворчал Пампасов.

— Какая же это милостыня? Заработаете — отдадите. Пойдем ко мне. Я здесь живу недалеко.

Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой, грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав голову в плечи, зашагал за своим спасителем.

II

Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто чувствуя себя виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, смотревшим с нескрываемым восхищением на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.

Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая работу своему протеже. Так как Пампасов однажды в разговоре сказал: «Мы, братья-писатели», то Рюмин искал главным образом литературной работы…

Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты.

— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. — Ликуйте! Нашел вам работу в газете!

Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза, пожал плечами:

— Газета… Литературная работа… Ха-ха! Сегодня один редактор — работаешь. Завтра другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует — хорошо, а сейчас же ее закрыли… Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться…

— Господи!.. — сконфуженно закричал Рюмин. — Что вы этакое говорите… Да живите себе пожалуйста. Я думал, вам скучно — и хотел что-нибудь…

— Спасибо. — сказал Пампасов, тронутый. — Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх! — Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул: — Эх! Такую силищу в себе чувствую, что. кажется, весь мир бы перевернул… Труд! Какая в этом односложном слове мощь…

Он опустил голову и задумался.

— Так бы хотел пойти по своему любимому пути… Работать по призванию…

— А какой ваш любимый путь? — несмело спросил Рюмин.

— Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к науке — какое это прекрасное, высокое призвание…

III

Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов, по обыкновению, лежал на диване и читал книгу.

— Дьявольски приходится работать. — сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую краску. — Картины покупаются плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, наспех, не хочется.

— Да, вообще живопись… В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-моему, труд!

Рюмин ударил себя кулаком по лбу:

— Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно не вредные… Хотите?

Пампасов саркастически засмеялся:

— Не вредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить в голову, что дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст киселя хлебать… Прекрасная идея, что и говорить.

Изумленный Рюмин опустил палитру:

— Да вы ведь сами говорили…

— Рюмин! — страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов. — Я вижу, я вам надоел, я вам

в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти и моя жизнь всецело в ваших руках… Ну, скажите… Может быть, пойти мне и положить свою голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую… Что же мне делать? В сущности, я ювелир и безумно люблю это благородное занятие… Но что делать? Где выход? Что, спрошу я, — есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные камни, с которыми можно было открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч пятнадцать — двадцать…

Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и. подняв с полу книгу, погрузился в чтение…

IV

Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась его неугомонная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и пить вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги — попеременно…

Рюмин давно ухаживал за какой-то интересной вдовой. с которой познакомился на прогулке… Он был несколько раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее визита услать куда-нибудь назойливого самоубийцу.

Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и пойдя в переднюю, Рюмин услышал в мастерской голоса:

— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.

— Ну, один раз поцелуйте, что вам стоит!..

— Вы говорите глупости! Я вас не знаю… И потом, если об этом узнает Николай Петрович…

— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом не поведет. Это простак чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас же отдам вам обратно. А?

— Сумасшедший! Что вы… делаете?..

Послышался тихий смех и звук сочного поцелуя.

«Негодяй! — заскрежетал зубами Рюмин. — Ему мало моего платья, квартиры, еды и моих нервов… Он еще пользуется и моими женщинами!»

Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово

сказал, смотря куда-то в сторону:

— Эй! Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра утром можете уходить от меня.

— Зачем же вы меня спасли? — удивился Пампасов. — Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.

Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.

С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно прошипел:

— У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове…

V

Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем разговоре.

— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. — Помните, что я вам вчера сказал? Можете убираться.

Пампасов побледнел:

— Вы… серьезно? Значит… вы опять толкаете меня в воду?

— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. Да вы и не будете топиться!..

— Не буду? Посмотрим!

Пампасов взглянул на мрачное, решительное

лицо Рюмина, опустил голову и стал одеваться.

— Прощайте, Рюмин! — торжественно сказал он. — Пусть кровь моя падет на вашу голову.

— С удовольствием! Пойду еще смотреть, как это вы топиться будете.

Вышли они вместе.

На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернул к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил:

— Так, по-вашему, в воду?

— В воду.

Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль на камень, делая вид, что не смотрит… А Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на приближавшихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.

— Что он делает? — в ужасе воскликнул один из гуляющих… — Это безумие! Нельзя допустить его до этого.

Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое о чем-то заспори-

ли… Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, дружески в чем-то его увещевая, увели с собой.

До Рюмина донеслись четыре слова:

— Я милостыни не принимаю!..

«Сатирикон», 1909, № 48



День человеческий

Дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в

противный жидкий чай.

— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

— Ах ты господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.

— Хорошо. Будем говорить серьезно… Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно. — вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал, — ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку:

— Я вас не понимаю…

— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете… Ей-богу, лично против вас я ничего не имею… Простая вы, обыкновенная тетка… Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства… И если бы я ответил вам: «Благодарю вас. хорошо», вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей

фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно…

Мы сидим долго-долго и оба молчим. Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

— Дни теперь стали прибавляться, — говорит наконец она, смотря в окно.

— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул:

— Вы тяжелый грубиян, и больше ничего.

— Ну как же так — и больше ничего… У меня есть еще другие достоинства и недостатки… Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.

Я одеваюсь и выхожу из дому.

На улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленную улыбку (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что поделываете?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное, — оказывается, пустяки… Поставил термометр, а он…

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да… Так о чем я, бишь, говорил… Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет… Думаю,

пустяки — можно пойти гулять. Выхожу… Выхожу это я, вижу — почтальон повестку несет. Что за шум, думаю… От кого бы это? И, можете вообразить…

— Извините. — страдальчески говорил Хрякин, — мне нужно спешить…

— Нет. ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что… Да. На чем я остановился? Ах да… Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте. — говорит, — завтра к нам»…

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих…

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого — Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

— Здравствуйте. Что новенького?

— А как же, — говорю я, вздыхая. — Везувий вчера провалился. Читали?

— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

— Нет, не курю.

— Счастливый человек. Деньги все собираете?

— Нет, так.

— По этому поводу существует…

— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» — «Нет». — «Значит, есть домик?» — «Нет». — «Ха-ха!» Да?

— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

— Как поживаете?

— Ничего себе. Вы как?

— Спасибо. До свиданья. Заходите.

— Зайду. До свиданья. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!

— Почему — черти побрали?

— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.

— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?

— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Перед лицом смерти

В этот день я был на поминальном обеде. Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок:

— Слышали? Какое у меня несчастие-то…

Конечно, я слышал. Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.

— Да. да…

Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под Богом ходим, но вместо этого говорю:

— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:

— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.

И сотрясается от рыданий… Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:

— Не надо так! Пожалейте себя… Успокойтесь.

— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семеныч?!

— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.

— Умер!

— Да, — вздыхает сивый старик в грязном сюртуке. — Юдоль. Жил, жил человек, да и помер.

— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.

— То есть? — недоумевает сивый старик.

— Да так… Вот вы говорите — жил, жил, да и помер! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил, да и превратился в евнуха при султанском дворе… или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я ободряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезу (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:

— А сколько дорогому покойнику было лет?

— Шестьдесят.

— Боже! — качает головой толстяк. — Жить бы

ему еще да жить.

Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы.

— Бог дал — Бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.

— Все под Богом ходим, — говорит лиловая женщина.

— Как это говорится: все там будем, — шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

— Именно — «как это говорится». — соглашаюсь я. — А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!

— Да, — вздыхает толстяк. — Он уже там!

— Ну, там ли он — это еще вопрос… Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.

Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:

— Он и при жизни мало слышал… Дуралей был преес-тественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками того… Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.

Веселье

В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.

Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво

наступали на нее.

— Да спойте!

— Право же, не могу…

— Да спойте!

— Уверяю вас, я не в голосе сегодня!

— Да спойте!

— Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но…

— Да спойте!

— Говорю же — я не в голосе…

— Да ничего! Да спойте!

— Что уж с вами делать. — засмеялась барышня. — Придется спеть.

Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она не хотела петь… На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.

«Сейчас, — подумал я, — все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: «Прелестно! Ах, как

вы, душечка, поете»…»

Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом сказал:

— Да-а… Неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.

Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

— Давайте поболтаем, — предложил я, садясь. — Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:

— Шесть штук.

— И все хотят замуж?

— Безумно.

— И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?

— А то как же… Все.

— И обирать будут мужей и изменять им — все?

— Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.

— И вы тоже такая?

— И я.

В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко и благодарно поцеловал ее и ушел от Кармалеевых немного успокоенный.

Перед сном

Дома жена встретила меня слезами:

— Зачем ты обидел тетку утром?

— А зачем она разговаривает?!

— Нельзя же все время молчать…

— Можно. Если сказать нечего.

— Она старая. Старость нужно уважать.

— У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупые, оба пыльные.

Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической фразой:

— Все вы, мужчины, одинаковы.

Ложусь спать.

— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших — хороших, светлых-светлых снов!..

«Сатирикон», 1910, № 6

Жена

I

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к тебе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное.

Так, нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще пару других соседних — и только.

Поэтому мне стоило многих трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести общее заключение, что жена очень меня любит.

С деталями ее отношения ко мне приходилось сталкиваться и раньше, но я все никак не мог собрать их в одно стройное целое.

А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

* * *

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой с ослиным упрямством отказывался сойтись на моей шее.

«Сойдись, проклятое белье. — бормотал я просящим голосом. — Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!»

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь, дернул ворот, петля для запонки лопнула.

«Чтоб ты лопнула! — разозлился я. — Впрочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю».

Я подошел к жене:

— Катя! Зашей мне эту петлю.

Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала:

— Нет, я этого не сделаю.

— Как не сделаешь?

— Да так. Зашей сам.

— Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.

— Да, — сказала она грустно. — Вот именно поэтому ты и должен сам сделать это. Конечно,

я могла бы зашить эту петлю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру, ты останешься одинок — и что же! Ничего не умеющий, избалованный, беспомощный перед какой-то лопнувшей петлей — будешь ты плакать и говорить: «Зачем, зачем я не привыкал раньше к этому?..» Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени:

— О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того ужасного, неслыханного случая, когда ты покинешь этот мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку и. достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру все было исправлено.

Не забуду я и другого случая, который еще с большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рождения: бриллиантовую булавку для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула:

— Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь!

Я побледнел:

— Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?

— Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность! Эта булавка на твоей груди — слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят. подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

— А что же мне… с ней делать? — прошептал я обескураженно.

— Я уже придумала! — радостно и мелодично засмеялась жена. — Я отдам ее переделать в брошку. Это к моему синему платью так пойдет!

Я задрожал от ужаса:

— Милая! Но ведь… они могут убить тебя!

Лицо ее засияло решительностью.

— Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый. А я — что уж… Мое здоровье и так слабое… я кашляю…

Я залился слезами и бросился к ней в объятия. «Не прошли еще времена христианских мучениц», — подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.

Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обе мне,

во всем и везде первое было — ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что бросилось мне в глаза, был мужской цилиндр.

— Смотри-ка, — удивился я. — Чей это цилиндр?

Она протянула мне обе руки:

— Твой это цилиндр, мой милый!

— Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы…

— А теперь — я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить как подарок маленькой жены, не правда ли?

— Спасибо, милая… Только постой! Ведь он, кажется, подержанный! Ну конечно же подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала:

— Прости меня… Но мне, с одной стороны, хотелось сделать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.

— Почему здесь инициалы Б. Я., когда мои инициалы — А. А.?

— Неужели ты не догадался?.. Это я поставила инициалы двух слов: «люблю тебя».

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.

II

— Нет, ты не будешь пить это вино!

— Почему же, дорогая Катя?! Один стаканчик…

— Ни за что… Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь… А я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь на это место!

— Зачем?

— Там окно открыто. Тебя может продуть.

— О, я считаю сквозняк предрассудком!

— Не говори так… Я смертельно боюсь за тебя.

— Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пирога…

— Ни-ни… И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду без тебя делать?

Я вынимал папиросу.

— Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие?

— Да одна папир…

— Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый государь! Извольте надевать осеннее пальто. В летнем и не думайте.

Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями:

— Ты — Монблан доброты!

Она застенчиво смеялась:

— Глупенький… Уж и Монблан… Вечно преувеличит!

Часто задавал я себе вопрос: «Чем и когда я отблагодарю ее? Чем докажу я. что в моей груди помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности и способное откликнуться на все светлое, хорошее».

Однажды, во время прогулки, я подумал:

«Отчего у нас никогда не случится пожар или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, спасший ее, сам, с улыбкой любви на устах, сгорел бы дотла или с перерезанным горлом корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя».

Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на свою пылкую безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и. победив, разлилась по утомленному непосильной работой мозгу.

«Ты дурак и эгоист, — сказала мне победительница. — Кому нужно твое перерезанное горло и языки пламени. Ты умрешь, и хорошо… Но после тебя останется бедная, бесприютная вдо-

ва, нуждающаяся, обремененная копеечными заботами...»

— Нашел! — громко сказал я сам себе. — Я застрахую свою жизнь в ее пользу!

И в тот же день все было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я, с радостным, восторженным лицом, преподнес жене...

* * *

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь — жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.

Раньше ее отношение и хлопоты о моих удовольствиях были мне по пояс, потом они повысились и достигали груди, а теперь это был сплошной бушующий океан доброты. иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда исступленный... Это была какая-то вакханалия заботливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

— Радость моя! — ласково говорила она, смотря мне в глаза. — Ну. чего ты хочешь? Скажи... Может быть, вина хочешь?

— Да я уже пил сегодня, — нерешительно воз-

ражал я.

— Ты мало выпил… Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится — нелепо отказываться… Да, совсем забыла, — ведь я приготовила тебе сюрприз: купила ящик сигар — крепких-прекрепких!..

* * *

Я чувствую себя в раю.

Я объедаюсь тяжелыми пирогами, часами просиживаю у открытых окон, и сквозной ветер ласково обдувает меня… Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору.

Я люблю теплую ванну — мне готовят такую, что я из нее выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают летним.

— Какова нынче погода? — спрашиваю я у жены.

— Тепло, милый. Если хочешь — можно без пальто.

— Спасибо. А что это такое — беленькое с неба падает? Неужели снег?

— Ну уж и снег! Он совсем теплый.

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.

— Грудь болит. — сказал я.

— Попробуй покурить сигару, — ласково гладя меня по плечу, сказала жена. — Может, пройдет.

Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.

Как тепло на любящей груди…

Женитесь, господа, женитесь.

«Сатирикон», 1910, № 18

Виктор Поликарпович

В один город приехала ревизия… Отавный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

— Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на горо-

дового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

«Во-первых, — заявляли обыватели, — никакого моря у нас нет… Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы — показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается».

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.

— Позвать Дымбу! — распорядился ревизор.

Позвали Дымбу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так, — зловеще остановил его ревизор. — Кричать после будешь. Взятки брал?

— Никак нет.

— А морской сбор?

— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, вашество, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

— Превосходно… Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городового Дым-бы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие… Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.

— Из… зволили звать?

— Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

— По распоряжению Павла Захарыча, — приободрившись, отвечал Пальцын. — Они приказали.

— А-а. — И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки. — Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает… Хе-хе. Никифоров! Этому — бумагу об аресте, а Павла

Захарыча сюда ко мне… Живо!

Пришел и Павел Захарьгч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте… Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

— ГМ… Это взыскание-с.

— Знаю, что взыскание. Но — какое?

— Это-с… во исполнение распоряжения его превосходительства.

— А-а-а… Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

— Позвольте предложить вам стул… Садитесь, ваше превосходительство.

— Успею. Зачем это я вам понадобился?

— Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

— Как понимать? Очень просто.

— Да ведь моря-то тут нет!

— Неужели? Пи… А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

— Так как же так — «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

— А?

— Я спрашиваю — почему «морской сбор»?!

— Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

— Ну?

— Что «ну»?

— Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

— Никакого моря не улучшали. Это так говорится — море.

— Ага. А деньги-то куда делись?

— На секретные расходы пошли.

— На какие именно?

— Вот чудак-человек! Да как же я скажу, если они секретные!

— Такс…

Ревизор часто-часто потер руки одну о другую.

— Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините… обязанности службы… я принужден буду вас, как это говорится, аресто-

вать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся:

— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

— Ага! Так, так… Вместе разрабатывали?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся:

— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

— Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

— Виктор Поликарпович.

Была тишина. Семь минут.

Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки… И нарушил молчание:

— Так, так… А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

— Бумажками.

— Ну, раз бумажками — тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм… гм…

Ангел его превосходительства усмехнулся лас-

ково-ласково.

— Могу идти?

Ревизор вздохнул:

— Что ж делать… Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами.

Подошел Никифоров:

— Как с арестованными быть?

— Отпустите всех… Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит… Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

«Сатирикон», 1910, № 30

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу… По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он… называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что, если то, что вы мне сообщите, секрет, я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета, — сказал приказчик. — Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего… Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался:

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного… Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием Скрежет», то на обложке попрошу

нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов…

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

Первая статья, которую я начал читать — Иннокентия Анненского, — называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро…»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку… Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался — и ну махать им, пока при-махал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»…

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! — думал я. — Как мы живем… Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены… Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу…»

«Вот оно! — подумал я. — Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения

близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье,

указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь… Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так… Господа! Ну зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа… Нельзя же так!.

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами…

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали… Слы-

шали?

Я пожал плечами:

— Ах уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно…

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело… Благодарю вас, не беспокойтесь… Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек…

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще. в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— …Жаловаться? Архиплуты, протобестии…

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— …Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь…

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный…

— Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы!..

1910



Фат

Подслушивать — стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

— Ну, вот видите… Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой… По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

— Да… В нем что-то есть.

— Могли бы вы с таким человеком изменить

мужу?

— Что вы, что вы! — возмутилось контральто. — Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

— А я бы, знаете… изменила. Ей-богу. Чего там, — с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. — Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите. Елена Григорьевна!..

— О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

— Да ну-у?..

— Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу»!

— Ну, понятие как понятие. Не хуже других.

И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

— А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

— А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!

— Нет, не Синицын!

— А кто же? Ну, голубушка… Кто?

— Мукосеев.

— Ах, этот…

— Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона… Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»… Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

— Нет, нет… ни за что!

— Что «ни за что»?

— Не изменю мужу. Тем более с ним.

— Почему же «тем более»?

— Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.

— Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно — он ни за какой юбкой не побежит.

— Нет, не надо. И потом, он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются…

— Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте…

— Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты…

— Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек…

— И не молодой он вовсе! У него уже темя про-

свечивает…

— Где оно там просвечивает… А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет…

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

— Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека… И в-третьих, он фат!

— Он… фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?

— Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, — прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое — чуть не с кружевами… А вы говорите — не фат! Да я…

* * *

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана.

1913

Роковой Воздуходуев

Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:

— С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!

— А почему же вас не познакомить? — спросил я удивленно.

Воздуходуев опустился в кресло и долго сидел так, с убитым видом.

— Эх! — простонал он. — Жалко женщину.

— Почему?

— Ведь ты ее любишь?

— Ну… конечно.

— И она тебя?

— Я думаю.

— Что ж ты теперь наделал?

— А что?!

— Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно? И так в мире много слез и страданий…

Неужели еще добавлять надо?

— Бог знает что ты говоришь, — нервно сказал я. — Какие страдания?

— Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и… что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомить нас…

— Да что с ней случится?!!

— Влюбится.

— В кого?!

Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня:

— Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.

— Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?

Удивился он:

— Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну, рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?

— Ну, может быть, она и будет исключением.

Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль.

— Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением… Но — увы! Исключе-

ния попадаются только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.

— Пожалел бы ты ее, — попросил я.

Он пожал плечами:

— Зачем? От того, что я ее пожалею, чувства ее ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!

— Но, может быть… Если вы не будете встречаться…

— Да ведь она меня уже видела?

— Видела.

— Ну, так при чем тут «не встречаться»?

Лицо мое вытянулось.

— Действительно… Втяпались мы в историю.

— Я ж говорю тебе!

Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:

— Воздуходуев!

— Ну?

— Если не ее, то меня пожалей.

В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.

— Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, а раб своего обаяния, своего успеха. Это тяжелая цепь каторжника. и я должен влачить ее до самой смерти.

— Воздуходуев! Пожалей!

В голосе его сверкнул металл:

— Н-нет!

В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка с раз навсегда удивленными серыми глазами.

— Анна Лаврентьевна! — встал ей навстречу Воздуходуев. — Отчего вы не пришли ко мне?

— Я? К вам? Зачем?

— Женщина не должна спрашивать «зачем?». Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.

— Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того ни с чего.

— Слабеет, — шепнул мне Воздуходуев. — Последние усилия перед сдачей.

И отчеканил ей жестким металлическим тоном:

— Я живу: Старомосковская, семь. Завтра в три четверти девятого. Слышите?

Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздуходуева, на вино, которое мы пили, пожала плечами и вышла из комнаты.

— Видал? — нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев. — Еще одна. И мне жалко ее.

Барышня, дочь хороших родителей… А вот поди ж ты!

— Неужели придет?!

— Она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но по мере приближения назначенного часа роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, семь», — эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу — и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.

— Воздуходуев! Ты безжалостен.

— Что ж делать. Мне ее жаль, но… Я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. — Он горько, надтреснуто засмеялся. — Аттила, бич Божий.

— Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?

— Отчасти наружность, — задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям. — Ну, лицо, конечно, взгляд.

— У тебя синее лицо, — заметил я с оттенком почтительного удивления.

— Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже

надоедает.

— Бритье?

— Женщины.

— Воздуходуев!.. Ну, не надо губить мою жену, ну, пожалуйста.

— Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.

* * *

Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять, — и тоска щемила мое сердце.

Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.

— Ах! — вздохнул я наконец. — Если бы я пользовался таким успехом…

Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело — с каждым выпитым стаканом.

— Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?

— Ну конечно!

— У женщин?

— Да.

— Не пожелал бы я тебе этого.

— Беспокойно?

Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову ко мне на грудь и после тяжелой паузы сказал совершенно неожиданно:

— Мой успех у женщин? Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любовью… Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств… Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, а она послушала меня, послушала, да — хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак: а вдруг, мол, явится.

— Никто не является? — сочувственно спросил я.

— Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном: «Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю.

Во всем этом есть какая-то загадка И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод — а вот поди ж ты! Не везет. Умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно — прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что «вы, мол, едва только прикоснетесь к руке — я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти». А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-богу. И как странно: только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, а она сама вдруг: «Я, — говорит, — к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу». Смешные они все. Давеча и твоя жена. «От вас, — говорит, — исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует»…

После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду льнущих к нему женщин…

С некоторыми людьми вино делает чудеса.

«Новый Сатирикон», 1915, № 6

Новогодний тост
Монолог

Господа!

Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: «Поздравляю, мол, вас с Новым годом и желаю, чтобы в Новом году было все новое!»

Так сказал предыдущий оратор.

Мысль, конечно, не новая… (Саня, налей мне, я хочу говорить.) Не новая. Скажу более: мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истаскана, как стоптанный башмак, — да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? (Саня, налей мне еще — я буду говорить. Я хочу говорить.) И, вместе с тем, скажу я: почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой — да простит мне предыдущий оратор — мысли, если эта мысль верна?!! Что? Очень просто. (Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь.) То-то и оно.

Я и говорю: пусть же в Новом году будет все новое, все молодое, все свежее. (Саня! Ну?) Конечно,

всего не омолодишь… Вон у Сергея Христофорыча лысина во всю голову — что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какое-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает.

Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? (Спасибо, Саня. Осторожнее… На скатерть!) Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Мелетии Семеновны за пазухой, а у предыдущего оратора вата, может быть, в голове — борись-ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я должен нынче высказать все.)

Господа!

Да здравствует новое! Вот, например, у меня на салфетке дыра… К чему она? Куда она? Я прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя! Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки — и что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. К чему же тогда салфетка? Фикция! Оптический обм… (Саня, Саня! Ты совсем не занимаешься физическим трудом — налей!) Мне вспомнился, господа, презабавный случай с одним английским пуделем… Нет, впрочем, это не то… Гм!..

Предыдущий оратор — глуп, но какой-то нерв уловил, '[hi мне начинаешь нравиться, преды-

дущий оратор! «Все, — говорит, — в Новом году должно быть новое…» И верно!

У вас, например, — как вас там. Агния Львовна, что ли?.. — есть дети. Так? Что же это за дети? Это старые дети… Верно я говорю? К черту же их! В воду надо, в мешок, как котят. Надо новых. (Саня, не надо смеяться; надо плакать. Слезы очищают. Эх, господа!)

Я вам расскажу такую историю. У одного англичанина был пудель; и вот этот пудель… Впрочем, пардон — тут дамы… Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все, все, все, все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, но, господа! Ведь и устами паралитиков иногда глаголет истина. (Саша. Саша!..) Все новое!

Марья Кондратьевна! Я уже давно замечаю, что у вас, не при муже будет сказано, — один и тот же возлюбленный. Второй год… Боже, боже! Переменить! Пардон, пардон… Я ведь себя не предлагаю! Я говорю лишь ака… академически. Представьте себе: у одного англичанина была собака, пудель… Впрочем, к черту собаку… Чего она тут путается? (Саша, прогони!) Господа, не надо собак… Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий, несчастненький человек — его пожа-

леть надо. Саша, передай ему от меня копеечку.

Но сказано этим мозгляком хорошо! Верно! Все новое! Все. Простите, сударыня. Я, кажется, облил вам платье? Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая… Опять этот пудель? Да прогоните же, господа, ради бога, собаку! Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно!

Прекратим же все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. (Спасибо, спасибо, Саня… Там уже край стакана — больше не войдет.) Все новое! Между нами, господа, есть взяточники, шулера — бросим это! Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя… Какой пудель?! Опять эта проклятая собака тут?! Да прогоните же, черт побери!! Предыдущий оратор свинья — сделайся же ты наконец, оратор, человеком! Начнем наконец! Вот, глядите на меня: у меня в руках бутылка старого вина, напротив меня висит старинная картина… Что же я делаю! Р-р-раз! Вот теперь после этого и должно быть: новое вино, новая картина!.. Что-о? Саня, Саня! Не допускай! Не допускай, Саня!

Я еще про пуделя хочу. У одного англича…

Эх! Вывели… Вывели, как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти!

Грустно… чрезвычайно грустно! Ну, что ж… Пророков всегда гнали…

1915

Моя симпатия и сочувствие Ленину

Я очень добрый человек.

Например: у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину, Ульянову — тоже.

Мне только очень его жалко.

Чем дальше, тем больше я над ним, над его жизнью задумываюсь и чем дальше, тем больше мне его жалко.

По-моему, всякий человек имеет право на личный уют в жизни (я, например люблю уют больше всего на свете) — а у Ленина нет этого уюта.

И уюта в жизни его нет, и общественное положение его какое-то странное. В самом деле, ну что это за положение такое: «председатель советской республики». Наверное. ему от этого скучно и для самолюбия нет никакого удовлетворения.

Я еще понимаю — быть царем: это уже что-то! Я бы сам, признаться, не отказался от этой должности, и думаю, что царь из меня вышел бы неплохой.

Что такое нужно от царя? Здравый смысл и

любовь к родине. Я звезд с неба не хватаю, но здравый смысл у меня есть и любовь к родине такая, что я, может быть, часто по ночам плачу, да никто этого не знает.

Ну, так вот, царь — должность определенная, и писатель — должность определенная: знай себе платит штраф за газеты, и генерал — должность определенная: знай себе газеты продает на Невском, и князь — должность определенная: знай себе старые вещи продает.

А председатель советской республики — это неуютно. В этом нет уклада. Нет привычного.

Мне очень интересно знать — как вообще живет Ленин: что он ест, и много ли, с удовольствием ли, что читает, когда ложится спать и смеется ли?

Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него, тоже скучно живется.

Я думаю, что Ленин очень сухой человек, й если даже он прочтет эти строки, то не поймет, что я жалею его по человечеству, как брат брата, а, я думаю, немного растеряется, пожмет плечами и скажет сухим, без интонации, голосом:

— Какой странный этот Аверченко! Читаешь, читаешь и совершенно не понимаешь — какая

такая его партийная платформа?

А я безо всякой платформы, ей-богу… Ну вот, как бы два человека встретились в лесу, и один увидел, что другой спит на корявых сучьях, которые впиваются ему в бока. Ну, вот этот первый и пожалел второго, по человечеству, беспартийно и совершенно внефракционно.

Слушайте, гражданин Ленин, — неужели вы мне никогда не позавидуете? Вы знаете, например, как я провел вчерашний день? Рассказать? Расскажу.

Встал утром рано — утро хорошее, теплое, солнечное. Думаю: вчера работал и позавчера работал — никто меня не заставит сегодня работать! Поболтаюсь нынче по белому свету так просто, безо всякой работы.

Умылся холодной водой, фыркая, как молодая лошадка.

Чай выпил с белой лепешкой, которую ужилил у петроградской коммуны. Прочел две газеты — левую и правую. В обеих разделывали советскую власть на обе корки — прямо неприятно было читать. Вышел на улицу — сколько света, сколько тепла, сколько солнца! Что значит — ненормированный продукт!

Купил у торговки букетик весенних фиалок.

Нюхал. Разглядывал на дороге встречных девушек и дам. Вы знаете, господин Ленин, — прехорошенькие встречаются. Жаль, что вы никогда так на них не смотрите, без платформы. И я ведь не о каких-нибудь дурных мыслях говорю, а просто приятно посмотреть на свеженькое личико и стройную ногу, лихо обтянутую черным ажуром чулка.

Разглядывал также открытки в витринах. Очень недурные попадаются. Нынче стали хорошо их печатать — все мазки переданы в точности. Фотографии разглядывал. Заинтересовался и кинематографическим плакатом. Картина называется «Человек, который убил». Играет актриса Лещинская. Красивая. Надо пойти, посмотреть, что это за картина такая.

Завернул на Морскую. У Буша выставлен эстамп: лев огромный, с царственной гривой. Этому слово «председатель» никак не подходит — именно царь. Породистый, каналья. И вдруг потянуло меня в Зоологический сад — безмерно я люблю всяческое дикое зверье.

А кто мне указ? Набрал побольше теплого воздуху в легкие и бодро зашагал в Зоологический сад — как птица я свободен в пределах петроградской коммуны.

Обедал я в кавказском ресторанчике. Прихватил приятеля — ели шашлыки, осетрину на вертеле, и мошенник кавказец дал даже недурное винцо. Дорого только очень, ну да ничего — этим фельетоном покрою.

Кстати, господин Ленин, — частный вопрос: почему бы вам не разрешить свободной продажи вина? Ведь все равно, кто хочет, пьют, и плохо только то, что переплачивают громадные деньги. Я так полагаю, что и дороговизна вся оттого, что всем нужно много на вино заработать. Возьмите вы пьющего ремесленника. Раньше он зарабатывал пять рублей в день, и довольно, потому что полбутылки водки стоило 23 копейки. А теперь он грабит заказчика ста рублями, потому что бутылка спирту стоит 200 рублей… И хлеб будет у ремесленника, потому что хлебный мужичонко дерет 10 рублей за фунт муки по той же причине — на водку сотни уходят.

Право, уже можно бы разрешить вино — такое мое компетентное мнение.

Да и вообще, я бы пошел к вам в советчики — только ведь вы меня не будете слушать. Не стоится мне на партийной платформе — хоть кол на голове теши.

Однако вернемся к нашим баранам, как тонко

выражались наши бывшие союзники.

После обеда отправились мы с приятелем в оперетку — очень мило играли, да и музыка приятная, легкая и пьянящая, как шампанское.

Вернулся домой пешком — такая приятная белая ночь. — слегка поужинал ужиленной у коммуны телятиной и сыром, запил доброй бутылкой контрабандного нива и лег в постель.

Вы думаете, удовольствия этого привольного дня кончились? Как бы не так!

Предстояло самое главное: лежит у меня на ночном столике томик «Замогильных записок Пиквикского клуба» — вот это, доложу вам, удовольствие! Нет ему равного в природе. В комнате тихо (нынче что-то мало стреляют), мирно горит покрытая голубым колпачком лампа над головой. Доносится легкий запах свежей сирени. Букет стоит на туалете — прислала какая-то скромная поклонница моего скромного таланта. Спасибо ей, спасибо Диккенсу, спасибо рабочим электрической станции, дай им Бог доброго здоровья за то, что они освещают мне страницы Диккенса. Если когда-нибудь будет концерт в пользу электрических рабочих — обязательно выступлю в нем…

Как раз на этой мысли книга заботливо выва-

ливается из ослабленных рук. я поворачиваюсь на другой бок и… желаю и вам, господин Ленин, искренно от души такой же спокойной ночи.

Ну, вот: разве плохо прожил я этот беззаботный денек? А вы? Как вы проводите ваши дни? Наверное, сплошная толчея и беспокойство. Все эти прямые провода, доклады, совдепы, бестолочь и неурядица. С утра — ни газету толком не прочесть, ни чаю, как следует, выпить. С утра, наверное, уже какой-нибудь Свердлов или Прошьян являются со скучными претензиями, заявлениями и разными центропрокомами. А там звонят, что в пригороде голодный бунт, а тут Мирбах через Чичерина подносит какую-нибудь обсахаренную гадость.

Ни к зверям не успеете пойти, ни Диккенса почитать. До Диккенса ли, когда красноармейцы требуют прибавки жалованья и пайка, когда рабочие требуют Учредительного собрания, а тут Скоропадский, а тут корниловцы, а тут немцы.

До открыток ли в витринах, до женских ли ножек в ажурных чулках, когда один флот загнан в Неву, другой в Новороссийск, а матросы при этом никого знать не хотят и требуют реставрации Дыбенки или еще чего, на что потянуло прихотливую матросскую душу.

Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны.

Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь?

Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла.

Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, представьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я… Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса — этого доброго обывателя с улыбкой Бога на устах.

Не примите моего предложения как обиду: а исключительно доброта сердца и сердечная симпатия водила рукой автора этого произведения —

Аркадия Тимофеевича Аверченко.

«Новый Сатирикон», 1918, № 12



Трава, примятая сапогом

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом…

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?

— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи, Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоува-

жаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преуютно уселись на камушки под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах. стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет.
У грязнухи Макса
Руки точно вакса.
Волосы как швабра.
Чешет их не храбро…

— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

— Что же с ней такое?

— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти… азотистые вещества тоже в организм не… этого… не входили. Ну, одним словом — коммунистический рай.

— Бедный ты мой ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ее волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклину потеряла да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Iје там! Всю жизнь мечтал об этом — не удается.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.

— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я. прислушиваясь.

— Что ты, братец, — какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого. — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. ТЫ знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое, не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких Котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

1921

Почтовый ящик «Сатирикона»[1]

[1] Примечания: 1

Считаем нужным предупредить, что, как бы ни были дики и несерьезны цитаты из сочинений неведомых авторов — они все не выдуманы редакцией, а представляют собой подлинные осколки людского недомыслия и тупости.

В пространство. — Л. Новиц-му.

«Пока посылаю пустячки», — написали вы и приложили рукопись в триста строк.

Так, некто, которому с крыши строящегося дома посыпались на голову кирпичи, с неудовольствием сказал:

— Как нынче пыльно!

В пространство. — Дику.

Есть громадное мировое пространство… И в нем вращается маленький затерянный Дик, который сочиняет:

Целый день болтает Дума, А до дела все нейдет…

Какая унылая, беспросветная жизнь в России: плохая Дума, дубовые стихи… И серый дождь тоскливо льет в окна… Дик! Не надо стихов.

Москва. — Н.Р.К.

Можно было придумать рассказ, но не писать его. Даже можно бы и написать, но не посылать. В крайнем случае, можно было бы послать, но только не в редакцию «Сатирикона»…

В пространство. — Дьякону Н.

«Будучи обременен многочисленной семьей, хочу немного подработать на стороне и посему прилагаю стишки».

Что бы сказал о. дьякон, если бы редактор «Са-

тирикона», будучи обременен многочисленной семьей и желая подработать на стороне, начал бы служить панихиды и ходить с водосвятием?

Гороховая. — Леонардо.

«Посылаю и я стишки… Куда конь с копытом, — пишет Леонардо, — туда и рак с клешней. Не пригодятся ли?»

С благодарностью жмем вашу клешню, но стишки не подойдут. Не такие это стишки, чтобы они подходили.

Москва. — Наутилусу.

«А вот я решительно не боюсь вашего почтового ящика», — храбрится Наутилус, в доказательство чего и посылает краденые и просто слабые мелочи.

Есть люди, которых почтовый ящик запугает только тогда, когда он — из жести, и редактор запускает этим ящиком в головы неудачливым авторам.

Нижегородок., 7. — Дуд.

Слабо. Считаем долгом разъяснить вам, что глаза не могут быть конечностями человеческого тела, даже в том случае, если они навыкате.

В пространство. — Диме.

Дима пишет:

Я к вдове частенько хаживал,

И, пришедши от вдовы.

Часто я сижу и думаю:

Не сносить мне головы…

А вы перестаньте думать: тогда голове сносу не будет!

Одесса — Лукасу.

Порнографич. вещей не печатаем. Рассказ «Бомонд» разорвали пополам. Получившиеся два «демимонда» бросили в корзину.

Галерн. — Шекспиру.

Очень слабо.

Садовая, 71. — Казн.

Вы пишете как Шекспир.

Невский, 69. — Лоеву.

Лаев в препроводительном к скучнейшему рассказу письме, между прочим, пишет:

«За гонорар я молчу…»

Сообщите, за какой гонорар вы молчите? Если за небольшой, то мы, может быть, сойдемся.

Москва. — Горошин.

«Идти на компромисс» — вовсе не значит «компрометировать». В целях нашего самообразовани можем сообщить, что: компримарий, компресс, экспресс и конгресс — понятия столь же далекие от «компромисса», как и вышеуказанное…

В пространство. — Лягушонку.

Вы заняли двусмысленное положение: как для простого лягушонка — написано хорошо, а для сотрудника «Сатирикона» — очень плохо.

Б.-Московская. — Рудольфу.

Вы пишете в рассказе: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал деньги?»

Иностранных произведений не печатаем.

Калуга — Н.Н. Р-есу.

«Прочел. — пишете вы, — «Яму» Куприна. Выпуск очень интересный...»

А читали вы «Горе от ума»? Хорошенькая брошюрка.

Одесса, Пушкинская. — Зу-дзе.

«Как известно, — пишете вы, — лошади более всего предпочитают голубой и белый цвета».

Боже ты мой! Да кому же это известно? Какая лошадь могла сообщить вам об этом?

Уг. Садов, и Екатерингофск. — Ж. Ско-му.

«Горю желанием, — сообщает Ж. Ск-ий, — ознакомиться с мнением «Сатирикона» о гомосексуализме».

Почему «Сатирикон»? Почему о гомосексуализме? Почему горите? Расцвело ли уже многолетнее растение в вашем огороде, именуемое бузиной?

Как поживает ваш дядюшка в Киеве?

В пространство. — Поэтессе-юмористке.

Вторая строфа «сочинения стишки, которые я сделала»:

Так же входят бары в зал.
Заседают, судят.
Рассуждают про закон
За и против сути.

Приветствуем безжалостный бич сатиры в ваших руках…

В пространство. — А. Кузьмину.

Вы называете меня в начале письма: «Уважающий редактор!»

Кого — уважающий? Вероятно, вас, за стихи:

…Ушел домой и обещался не заходить до Ей.

А на завтра пришел опять к поскуде… Ей-ей!

Литейный пр. — *Куб-у.*

Нельзя смешивать термометр с темпераментом… Между этими понятиями — громадная разница… хотя бы в том, что за первый всегда платят деньги, а за второй иногда получают пощечины.

Москва. — П-у.

Как это говорится в русской пословице: «Слабые вещи редакции не подходят».

В пространство. — Тигренку.

Тигренковы стихи:

Обломала жена зонтик
Об его башку,
И который это годик, —
А он ни гу-гу!

Очень звучно. Стихи отпечатаны в миллион экземпляров и разосланы всем понимающим людям.

Александровск. — Б. К.

Нельзя присылать вещи в 22 страницы больш. формата. Мы попробовали разорвать ее пополам — много, разорвали на четыре части — много, разорвали еще на восемь частей… Тогда оказалось мало. Так и бросили.

В пространство. — Ст. Як-овичу.

Вы пишете, что за ваши стихи губернатор предлагал посадить вас в тюрьму.

К сожалению, мы даже этого не можем предложить.

Гомель. — Н. И. Ч-ову.

«Сострите что-нибудь в почтов. ящик». просите вы.

Можно и сострить.

Все присланное никуда не годится. Правда,

смешно?

Садовая, 83. — Бекару.

«Может быть, — предполагаете вы, — редакция преподнесет мне в ответ шиш с маслом (?)...»

Не зная способа приготовления этого странного кушанья и предполагая в вас избалованного, тонкого гурмана, редакция думает, что скромный «Сатирикон» для ваших вещей не подходит.

Одесса. — Черноморцу.

«Ужасное чудовище ползи ползи дальше», — пишете вы среди рассказа.

Так как вы написало этот рассказ безграмотно, то редактор ему уничтожила.

Минск. — *Герусову.*

Ваше предложение насчет присылки имеющихся у вас 123 стихотворений нам не подойдет. Мало. Нам около полуторы тысячи нужно. Пишите пока остальные, а там видно будет.

Мелитополь. — Самуилу.

Самуил ставит вопрос прямо:

«Может быть, моя голова и руки пригодятся к (?) вашему журналу?»

Ответ можем дать только по получении. Высылайте в спирту.

Одесса. — Круту.

Хотя вы бессовестно и льстите мне, заканчивая

каждую строфу стихотворения возгласом: «Ave Цезарь!» — но я, по своей скромности уклоняясь от этого титула, все-таки стихи нахожу слабыми.

Казанская ул., 17. — Белке.

Ваш «стих», как вы пишете, вчера получили. На нас вчера нашел скверный стих!

Загородн. пр. — М. Р.

Откуда вы взяли, что «порох стреляет»? Какой это вам Шварц сказал?

В пространство. — Литовцу.

Так вы говорите, что это ваши стихи?

Бледны, полны тупых сожалений
Потерявшие шик молодцы,
Вот по Невскому бродят, как тени.
Разоренные ею глупцы.

Можно вам ответить так:

Бледен, полон тупых сожалений
О том, что он не может сочинить
Ничего оригинального, — украл Литовец
У Некрасова стихи и прислал в «Сатирикон».

Может быть, это нескладно. Но это верно.

Невский, ООО. — Манджурцу.

Ввиду того, что странное выражение «бык те заешь» доказывает полное ваше незнакомство с зоологией, — рассказ не будет напечатан.

В пространство. — Дышловому.

Нужно же выдумать такой оборот: «…он сделал мне твердый знак» (?!)

Отчего ему бы заодно не прописать вам за русский язык и ижицы.

Москва. — Павлу Г.

Кованый стиль: «Чистя апельсин, она поглядывала на полковника и с удовольствием кусала его острыми зубками».

— Вы ели когда-нибудь полковников? — спросят Павла Г.

— Нет, — ответит Павел Г., — но героини моих рассказов частенько питались ими..

Ст. Каватин. — Гус. Э-ову.

Наш долг сообщить вам, что адажио не есть фамилия композитора и тумба отнюдь не музыкальный инструмент.

Москва. — Муссику.

«Все знакомые, — пишет Муссик, — находят Муссика очень остроумным».

А Муссик острит так: «Почему говорят «заслонка», а не «заверблюдка»?»

По-нашему, этот вопрос может интересовать только обойденного верблюда, но никак не человекоподобного Муссика…

Лиговск. — Эн-Эсу.

Товарищ Муссика по несчастию. Эн-Эс пишет:

«Если и будет отказ, то сообщите его без издевательств — в двух самых обыкновенных необидных словах!..»

Исполняем желание Эн-Эса:

— Сквер. Но.

Змиев. — П. К. Л.

Что это такое: «Бонмот о шляпе»? Где вы встречали такое слово «бонмот»? Если это по-французски, то нужно было сказать так: «бонмот о шапеаукс'е». Эх, П.К. Л., П.К. Л!!!..

Александровск. — Рип-пу.

«К вам в «Сатирикон», — пишет Рип-п, — и соваться страшно…»

Отчего же? Суйтесь.

Москва. — Бульбе.

А Бульба острит так:

«Если он сам Кук, то жена у него Кукушка, а дети — Кукиши…»

За такой виц редакция, в виде гонорара, согласна подарить автору одного из детей Кука.

Невский, 71. — Юсу.

Есть люди, которые смеются, если им показать палец. Мы нашли одного такого и прочли ему ваш юмористический рассказ. Бедняга расплакался.

Таврическая, 27. — Петербуржцу.

Лучшее стилистическое место вашего рассказа: «Вид дам, еще не успевших истратить имеющийся у них запас денег, целой толпой стремящихся в двери магазинов…»

Язык у вас — из лучшего английского сукна.

Ивановская. — А. Д. Г-ву.

«Почему Дума, — мудро спрашиваете вы, — занимается вопросом только о конокрадстве, оставляя в стороне коровокрадство?»

Да уж, знаете, эта Дума… Мало ли еще темных сторон в жизни русского крестьянина: слоно-крадство, бегемотокрадство, уж не говоря об увеличивающейся с каждым годом пропаже страусов.

В пространство. — Страннику.

Номер «Сатирикона», в котором мы выругали ваши стихи, высылаем.

Видом на жительство служить не может.

В пространство. — Иванову.

«Пуговкин, прочтя газету, сладко подтянулся…»

Не мешало бы и вам, Иванов, это сделать.

Москва — *Сай-ому Б. О.*

«По этим стихам вынесите мне приговор: может быть, мне не надо закапывать своего таланта?..»

Отдельной бандеролью высылаем лопату.

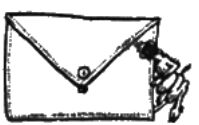
Знаменская, 7. — Воину.

«Не знаю, — пишете вы, — напечатаете вы меня или вставите перо».

Не будучи осведомленными в цели и полезности этой загадочной операции, от напечатания стихов отказываемся.

Москва. — А. Бончалов…

Боже! Что это? Рукопись в двенадцать листовых страниц?! Что они со мной делают? Они льют мне рукописи на голову? Матушка! Матушка!! Пожалей своего несчастного сына…



Николай АГНИВЦЕВ

Гимн
Е(го) В(ысоко)Б(лагородию)
Ивану Ивановичу г-ну Иванову

Гремите, бубны и фаготы,
Со всем усердием в кредит, —
Сегодня, милые, работы
Нам очень много предстоит.
Пылая жаром, что экватор.
Пою, как сотня теноров.
Тебя, коллежский регистратор
Иван Иваныч Иванов.

Обужен, сплюснут, без отметин,
В семи водах прокипячен.
Он вездесущ, хоть незаметен.
Он тот, чье имя — «легион».
И на картине Мирозданья
Он — фон гигантского холста.
На коем в дерзком сочетанье
Горят эффектные цвета…

Ах. как бы выглядели сонно
Герои шпаги и чернил,
Когда бы — собственной персоной. —
Он их в веках не отменил?!
Пусть он уйдет — и потускнеют
В один момент герои те...
Ведь звезды всех сортов умеют
Блистать лишь только в темноте!

Богат спиной, с душой ручною,
С упругим лбом — покрепче скал, —
Он создан матерью-землею
Для равновесья всех начал.
Ахиллов прытких, как омаров,
Он тянет вежливо назад.
Он ловит за ноги Икаров,
Он учит разуму щенят.
Он — то «земное притяженье»,
Он — та мифическая ось.
Без коих шар наш, в дерзновенье,
Давно б расползся вкривь и вкось.

О, славься ж ты, забытый тленьем,

Титан, засунутый во тьму,
Ты… чай с малиновым вареньем
Предпочитающий всему!..

«Сатирикон», 1913, № 34

«Шашлык на вертеле»

Без платья и белья
Лежит наука кротко.
Не видно у нея
Ни глаз, ни подбородка.

Один сплошной синяк!
«Откуда? — вот вопрос-то!» —
«Синяк? — Да просто так!
И даже — очень просто!» —

«Подбили, значит. Да-с,
Кому, а ей — нет спуску!
Наука ведь у нас
Так… блюдо на закуску…»

Покойся ж на столе,
С филе телячьим в паре.

Шашлык на вертеле.
То бишь — на циркуляре!

1913

В университетской столовке

На катар давно патент
Взял студент со злобы!
Ну-ка, где такой студент.
Без катара чтобы?!

Каша гречневая — 3,
Полбитка — 13.
Хлеб же даром! Знай бери!
Итого — 16.

Если ж вздумаешь когда
Тихо лопнуть с жиру.
То возьми еще тогда
На пятак — гарниру!

Ну, а если твой бюджет
С горя деликатно
Объявил нейтралитет,

Помни: хлеб — бесплатно!

Для студента-голяка
Много ли потребно?
Каша с хлебом, полбитка,
И — великолепно!

1913

Сказка о трех набобах

Где-то давно друг от друга особо
Жили да были три старых набоба…
Верили твердо они с давних пор.
Что, мол, спина — это пыльный ковер.
Но как-то раз их раскаянье взяло,
И порешили они для начала
Так управлять, чтоб всегда без забот
В масле катался их добрый народ.
Первый, второй и задумчивый третий…
И, опираясь десницею в лоб.
Молвил восторженно первый набоб:
«Всею душой устремляясь к народу,

Я упраздняю плохую погоду,
Зонтик огромный воткну в небосвод,
Чтоб не чихал мой любезный народ».
Было торжественно слово второго:
«Я же готов для народа родного
Соорудить грандиознейший мост
В царство далеких, загадочных звезд…
И, умиленные каждый особо.
Слушали третьего оба набоба:
«Я же, для блага отчизны родной.
Просто — возьму и уйду на покой…»

1916

Дама из Эрмитажа

Ах, я устала, так что даже
Ушла, покинув царский бал!
Сам Император в Эрмитаже
Со мной сегодня танцевал!

И мне, до сей поры, все мнится:
Блеск императорских погон,
И комплимент Императрицы.

И Цесаревича поклон.

Ах, как мелькали там мундиры!
(Знай только головы кружи!)
Кавалергарды, кирасиры.
И камергеры, и пажи!

Но больше, чем все кавалеры.
Меня волнует до сих пор
Неведомого офицера
Мне по плечам скользнувший взор!

И я ответила ему бы.
Но тут вот, в довершенье зол,
К нему, сжав вздрогнувшие губы.
Мой муж сейчас же подошел!..

Pardon! Вы, кажется, спросили,
Кто муж мой? Как бы вам сказать...
В числе блистательных фамилий
Его, увы, нельзя назвать!..

Но он в руках моих игрушка!
О нем слыхали вы? иль нет?
«Александр Сергеич Пушкин,

Камер-юнкер и поэт!..»

1923



Владимир АЗОВ

Из альбома пародий

Отчего вы не любите «Вены»?
Я боюсь какой-то измены...

.

Приходите завтра с Сапуновым, —
Вы всегда мне кажетесь новым

М. Кузмин

Я этому рифмачу
Шею наколочу.

Присловье

I

Отчего вы не любите «Италии»?

Я поглажу вас пониже талии.

Отчего вы не любите «Метрополь»?

Вы гибки, как ива, и стройны, как тополь.

Отчего вы не любите «Яра»?

О, любовь моя к вам столь яра!

Отчего вы не любите Карамышева?

Что вы прячетесь, как в камыш Ева!
Отчего вы не любите Кюба?
Я люблю вас de haut jusque en bas!
Отчего вы не любите «Квисисаны»?
Уж не метите ль вы в Мопассаны?
Отчего вы не любите «Ливорно»?
Неужель наша связь так позорна!

II

Приходите завтра с Куприным, —
Кто увлекается мужчиной, а кто — хрящиком свиным.
Приходите завтра с Каменским, —
В чем разница между мужским и женским?
Приходите завтра с Гиппиус, —
О, как женственны ваши тип и ус!
Приходите завтра с Соловьевым, —
Мы покроемся одеялом тканьевым.
Приходите завтра с Неведомским, —
Не заняться ли нам грехом содомским?
Приходите с Зиновьевой-Аннибал, —
Созовем уродов и устроим бал.
Приходите с Андреем Белым, —
Для любви он мне кажется спелым.

Приходите с Александром Блоком, —
Ваша измена выйдет вам боком.
Приходите завтра со Скитальцем, —
Ох, не кончилась бы наша связь скандальцем!
Приходите завтра с Судейкиным, —
Предадимся страстям индейкиным.
Приходите завтра с Сологубом, —
Предоставим наслаждаться solo губам.
Приходите с Константином Бальмонтом, —
Как не вижу вас, реву мамонтом.
Приходите с Ликиардопуло,
Поклонюсь вам до самого до пола.
Приходите завтра с Ауслендером, —
Я буду паровозом, а он — тендером.

Из коллективного сборника сатириконцев «Альманах молодых», 1908

Благотворительный сборник

Задумали издать благотворительный сборник.

— Нельзя ведь, в самом деле… надо оказать поддержку… необходимо реагировать… нельзя не откликнуться…

— Помилуйте, разве можно! Такое несчастье!.. Непременно надо прийти на помощь.

Пришли к большому писателю, к самому большому писателю.

— Благое дело, — сказал самый большой писатель. — Истинно христианское дело.

Самый большой писатель порылся в карманах и вытащил письмо.

— Вот, — сказал он. — Чем богат, тем и рад. Письмо, вот… А больше, извините, ничего нет… Хоть шаром покати — пусто…

Взяли письмо, поблагодарили учтиво, пошли к просто большому писателю.

— Превосходная идея! — сказал большой писатель. — Отличная идея… общечеловеческая солидарность… Народы. протягивающие друг другу руку… Я с наслаждением…

Большой писатель выдвинул самый нижний ящик своего письменного стола и достал из него перевязанную бечевочкой папку с рукописями.

— Вот, — сказал он. — Что хотите берите. Выбирайте сами. Для благого дела мне ничего не жалко.

Развязали папку, чихнули, смели носовым платком пыль, снова чихнули и взяли рукопись, лежавшую сверху.

— Ишь какие! — воскликнул большой писатель. — Самую лучшую вещь взяли — вариант…

Ну. да ладно. Для доброго дела мне не жаль…

И захлопнул папку.

Пошли к другому большому писателю.

— Чудесное дело, — сказал другой большой писатель. — На такое дело никто не откажется пожертвовать. Да и как отказаться? Сердце истекает кровью, когда вспомнишь об этаком-то несчастье.

Другой большой писатель выдвинул сундук, стоявший у него под кроватью, отпер его ключом, который он достал из связки, висевшей у него на поясе, и сказал:

— Вот… сейчас выберу вам что-нибудь… В этом сундуке я храню вещи, которые совсем решил не печатать, но, принимая во внимание благую цель, которую преследует ваш сборник…

Он достал из сундука пожелтевшую от времени рукопись, написанную гусиным пером на отличной тряпичной бумаге, какой нынче, увы, и за большие деньги не достанешь.

— Вот… получайте… Ей-ей, решил было совсем не печатать… Ну, да уж Бог с вами… цель у вас больно уж симпатичная.

Наняли ломового извозчика, поехали к средним писателям.

На легковом извозчике объехали поэтов.

Наняли фуру для перевозки мебели, поехали к маленьким писателям.

Полиция составила протокол о жестоком обращении с лошадьми.

Пришли к крупному писателю.

— Господи! — воскликнул крупный писатель. — Конечно, я дам… Такая цель хоть кого растрогает… С удовольствием дам…

Подвел к столу, на котором в строгом порядке лежали рукописи, распределенные по сортам:

500 руб. за лист.

300 руб. за лист.

100 руб. за лист.

Взял ту, на которой было написано «100 руб.», оторвал ярлычок и вручил:

— Получайте на здоровье.

Через минуту крупный писатель без шапки (хотя лед еще не прошел и было холодно) выбежал на улицу.

— Стойте! — кричал он. — Стойте! Ошибка вышла! Секретарша ярлычки перепутала! Я вам пятисотрублевую рукопись вместо сторублевой дал.

Вскочил на извозчика, помчался. Вскочили на лихача, унеслись. Доехали до типографии и засели в ней в бест.

— Слава Богу! — говорили, обнимаясь. — Слава Богу! Будет в сборнике одна хорошая вещь!

Юмористическая библиотека Сатирикона».
1912, выпуск 44



Вечерняя газета

Иван Иванович, журналист не у дел, пришел к Петру Петровичу, тоже журналисту не у дел, и сказал ему:

— Слушай, Петр, что я сейчас придумал. А? Давай издавать вечернюю газету. А?

Петр Петрович подумал с минуту и возразил:

— Давай лучше затеем понедельничную.

Иван Петрович пожал плечами.

— Экий чудак, — сказал он. — Понедельничную! Понедельничная газета отжила свой век. А? Я тебе говорю: давай издавать вечернюю газету. А? Замечается огромная потребность.

Петр Петрович, которому, в сущности, все рав-

но было — издавать ли вечернюю газету или понедельничную, подумав, «для фасона», еще минуту, согласился:

— Ну, вечернюю так вечернюю…

И оба отправились к знакомому типографу для переговоров о технической и коммерческой стороне дела.

Знакомый типограф велел сторожу подать три стакана чая, предложил посетителям по плохой папиросе, закурил сам порядочную сигару и изготовился слушать.

— Дело в том, — начал Иван Иванович. — что мы давно уже решили с Петром Петровичем издавать вечернюю газету. План издания у нас разработан детально. Сотрудники ждут знака, чтобы завалить нас материалом. Газетные артели чрезвычайно заинтересованы нашей газетой. Словом, все налажено, и остановка только за тем, что у нас не хватает денег.

— Так, — сказал типограф.

— Вы нам напечатайте пару номеров в кредит, а там мы вам вперед будем платить, — сказал Петр Петрович.

— Без сомнения, — сказал Иван Иванович. — За неделю вперед.

— Хорошо, — сказал типограф, которому, в сущ-

ности, все равно было, на чем потерять несколько десятков рублей — на вечерней ли газете или на понедельничной. — Вы бумагу себе достаньте где хотите, а я вам три номера напечатаю.

Иван Иванович и Петр Петрович поблагодарили типографа и отправились к Николаю Николаевичу, тоже журналисту и тоже не у дел.

— Вечернюю газету! — воскликнул Николай Николаевич, осведомившись о причине этого визита. — Блестящая идея! Я вам дам для первого номера передовичку, вторую передовую и фельетон. Могу еще иностранный отдел вам составить. Для литературного календаря дам вам кое-что. У вас хроника есть? Я вам дам, пожалуй, и хронику.

— Дай нам лучше бумагу, — сказал Петр Петрович, — а передовые и фельетон мы и сами достанем.

— Я вам и бумагу достану! — воскликнул Николай Николаевич.

И точно: поехал к знакомому бумажному фабриканту и привез обещание отпустить в кредит на три номера бумагу.

— Теперь поедем по артелям газетчиков, — сказал Иван Иванович, — или, лучше, пойдем пешком, так как три рубля, которые у меня име-

ются, могут понадобиться на что-нибудь другое.

— Все равно, пойдем, — сказал Петр Петрович, которому все равно было, страдать иль наслаждаться.

— С возвратом? — спросил издателей староста первой артели.

— С возвратом, конечно, — ответили в один голос Иван Иванович и Петр Петрович, — без возврата ведь вы не возьмете.

— Если с возвратом, — сказал староста, — пришлите первого номера тысяч 20, а там посмотрим — как пойдет.

Староста второй артели махнул было 50 тысяч, но его легко удалось уговорить на 10 тысяч.

К вечеру, объездив пешком все артели, издатели приняли заказов на первый номер тысяч на 80 экземпляров.

Через два дня первый номер новой вечерней газеты «Вечерняя звезда» вышел. В нем была масса заголовков, телеграммы от собственных корреспондентов, рассказ Леонида Андреева, перепечатанный из толстого журнала, и содержание нового романа Л. Н. Толстого, еще им не написанного.

А еще через три дня Петр Петрович пришел к Ивану Ивановичу и сказал ему:

— Ну, вот твоя вечерняя газета! 100 экземпляров не продали! Говорил я тебе: надо издавать понедельничную газету, а не вечернюю. Нет потребности в вечерней.

— Чего же ты раскипятился? — возразил Иван Иванович. — Понедельничную так понедельничную. Давай издавать понедельничную.

Через несколько дней вышла, вместо безвременно погибшей «Вечерней звезды», «Утренняя звезда», а еще через несколько дней Николай Николаевич сказал Петру Петровичу и Ивану Ивановичу:

— Господа, я всегда думал, что век понедельничных газет прошел. Уж если издавать газету, так обыкновенную, честную утреннюю газету…

— Господи! — воскликнули в один голос Иван Иванович и Петр Петрович. — Да разве мы против? Обыкновенную так обыкновенную… Давайте издавать ежедневную газету…

Юмористическая библиотека Сатирикона», 1912, выпуск 44

Бюджет

Режиссер четко вывел на разграфленном листе бумаги слово «расход», подчеркнул его двумя густыми линиями, поставил две точки и остановился.

— Ну, Николай Иваныч, — сказал он антрепренеру, — диктуйте мне теперь статьи расхода. Сначала мы высчитаем сумму месячного расхода, потом установим предположительный месячный приход — и бюджет вашего дела выйдет у нас как на ладони. По крайней мере, будем знать, как и что. А то ведь этак журавлей в небе считать можно до завтрева. а к результату все равно ни к какому не придешь. Шпарьте, Николай Иваныч! Расход: первое…

— Какой расход? — возразил антрепренер. — Что я. в провинции, что ли, дело затеваю? У меня в моем деле никакого расхода быть не может.

— То есть как это не может быть? — удивился режиссер. — А за театр?

— Театр я снимаю от клуба. Я им отдаю под игральные залы все фойе, а они мне за это дают сцену и освещение на проценты и прислугу на сцене. Никакого расхода на театр я не вижу.

— Позвольте, а жалованье?

— Кому жалованье?

— Да труппе!

— Жалованье труппе, — возразил антрепренер, — это статья прихода, а не расхода. Я, батенька, не в Малмыже затеваю дело. Актерам заплатят актрисы.

— А кто заплатит актрисам?

— Ну, батенька, вы наивный человек! Неужели я похож на антрепренера, который платит жалованье актрисам? Да и на что им жалованье? Иксовой нужно жалованье? Игрековой я должен платить жалованье? Я еще с ума не сошел, чтобы предложить жалованье Зетовой! Зетова платит за сезон, кроме подарков, от 3 до 5 тысяч. Пишите в приход: жалованье Зетовой в сезон 5 тысяч. Написали? Да Иксовой и Игрековой жалованье 6 тысяч. Итого доходу 11 тысяч. Четыре кассирши будут. Пишите в приход: четыре кассирши — 4 тысячи. Я процентными бумагами залогов не принимаю — с ними всегда возня, — я принимаю залоги только наличными. Итого 15 тысяч приходу. Мебель на сцену нужна. Пишите в приход: мебель на сцену — 1 тысяча. Может быть, он даст и полторы, но напишем тысячу. Я всегда считаю минимально для большей верности. Афиши и

программы. За афиши будет платить один тип, которому я сдал театр на все субботы под кабаре. Ну, пишите в приход еще тысячу. Значит, 16 тысяч приходу по статьям расхода? Батюшки, а объявления в газетах я забыл? За объявления будут платить из дохода с лото, под которое я сдал верхнее фойе. Пишите еще тысячу. Ну, теперь авторские…

— Авторские уж придется платить, — заметил режиссер. — Тут ничего не пропишешь. И еще какие авторские! Андреев, говорят, берет 10 процентов со сбора — 3 тысячи вперед авансом и гонорар в общество драматических писателей особо. Чириков и Юшкевич — те по тысяче авансом берут и опять-таки авторские особо.

— Ничего, дорогой мой, вы не понимаете, — сказал антрепренер. — Что я, в Тетюшах театр держу, чтобы мне Андреева да Чирикова ставить? Я, дорогой мой, поставлю в первую голову «Клубный мирок». Чудная пьеса, удивительная пьеса, и автор дает 500 наличными и авторские принимает на себя. Да два арапа предлагают по 100 целковых, чтобы роли, в которых они выведены, вымарать, а Настя-Хорек дает 200, чтобы ее в пьесу вставить. А вы говорите: Андреев! А после «Клубного мирка» поставлю я, дорогой

мой, «Г-жу Ольгу Штейн». Богатейшая пьеса! После второго спектакля я ее сниму за тысячу пятьсот. А потом, душа моя, поставлю я дело об убийстве фон Мерка в драматическом виде. Пишите: постановка убийства фон Мерка — тысяча рублей. А еще поставлю я пьесу одного графа в стихах. Он бедный человек и дает всего 300, но это ничего. У него зато знакомство хорошее, он обещал мне рекомендовать одного автора, тоже барона или графа, у которого 6 пьес написано, и ни одна идти не может. И тот богатый. Пишите, дорогой мой: авторские — приход 13 тысяч. А с прежним выходит ровно 30 тысяч. Теперь что еще? Буфет, вешалка? 8 тысяч. Итого 38 тысяч. Да сборов считайте хоть по триста рублей за 30 спектаклей — через месяц я прогорю, — 9 тысяч. Итого приходу по статьям расхода и по статьям прихода я ожидаю 47 тысяч рублей!

— Ну, а расход все-таки?

— Какой расход? Какой тут может быть расход?

— А жалованье мне?

— Жалованье, вам? Ну, вы ничего не будете мне платить. Так уж и быть.

— Но ведь я должен получать!

Антрепренер пожал плечами.

— Странный вы человек, — сказал он. — Что я, в Пропойске театр держу, что ли, чтобы платить жалованье режиссеру? Что, здесь мало охотников значиться на афише режиссером и платить за это? Вы подумайте только: зачем я буду вам платить, когда я могу иметь на вашем месте человека, который будет мне платить?

Режиссер подумал и беспомощно развел руками.

Юмористическая библиотека Сатирикона», 1912, выпуск 44

Так было, так будет

Христос учил любить ближнего и прощать обиды.

Когда Христос оставил эту грешную землю и воссел на небесах одесную Отца, на земле остались христиане.

Что они сделали?

Они воздвигли костры и стали жечь на них еретиков.

И если бы Христос снова воплотился и сошел бы на землю во времена Филиппа II, его, конечно, сожгли бы на костре.

А если бы он выбрал для воплощения эпоху Николая I, его бы заточили на век в Суздальский монастырь или в Петропавловскую крепость.

* * *

Магомет учил трезвости, кротости, воздержанию, терпимости, добродетели.

Когда он умер, на земле остались магометане.

Что они сделали? Они объявили священную резню и истребление райи.

И если бы Магомет воскрес и объявился в Турции или Персии, его посадили бы на кол.

Разница только в том, что в одном случае это сделали бы сунниты, а в другом — шииты.

* * *

Жан-Жак Руссо учил опрощению, возвращению к природе, любви к труду и призывал к свободе, равенству и братству.

Когда Руссо умер, на земле остались его ученики — якобинцы.

Что они сделали?

Они поставили на Гревской площади гильотину и обезглавили десятки тысяч французов.

Если бы Руссо воскрес и появился бы в Париже

в эпоху террора, и его голова скатилась бы в соломенную корзину.

* * *

Немецкий философ Фридрих Ницше учил суровой доблести, любви к дальнему и призывал к духовному и нравственному перерождению.

От шимпанзе к сверхчеловеку.

Когда Ницше умер, на земле остались ницшеанцы.

Что они сделали?

Они возвели в догмат распущенность и распутство, подменили любовь к дальнему шкурным себялюбием и, сделав один шаг по направлению к сверхчеловеку, сделали два шага назад — к шимпанзе.

Если бы Ницше воскрес и очутился в кругу ницшеанцев, его выгнали бы как филистера.

* * *

Карл Маркс учил пролетариат выдержке и терпению и призывал пролетариев всех стран к объединению и сплочению во имя великой роли, которую готовит им грядущее падение капиталистического строя.

Карл Маркс учил, что капиталистический строй, завершив полный цикл своего мирового развития, должен будет уступить место другому строю, основанному на началах справедливости и равенства, опирающемуся на обобществление орудий производства и равномерное распределение благ земных.

Карл Маркс рекомендовал пролетариату обогащаться опытом и знаниями, развивать свои духовные и нравственные силы и не поддаваться влиянию профессиональных революционеров, готовых в любой момент скомпрометировать святое дело освобождения труда.

Когда Карл Маркс умер, остались марксисты.

Что они сделали?

Вы знаете, что они сделали, и знаете, что, если бы Карл Маркс воскрес, приехал в Петроград и остановился бы в Европейской гостинице, его в тот же день забрали бы на Гороховую, № 2.

* * *

Но почему учению Карла Маркса должна была бы быть уготована на нашей грешной и тупой земле участь иная, чем та, которая постигла учения Христа, Магомета. Руссо и Ницше?

Я не знаю почему. Да и нет никаких основа-

ний.

Так было. Так будет.

«Новый Сатирикон», 1918. № 11



Леонид АНДРЕЕВ

Искренний смех
Рассказ веселого человека

Только раз в жизни я так смеялся. Это не была та натянутая улыбка, с которой мы выслушиваем анекдоты друзей и в морщинках смеха вокруг глаз прячем не веселье, а неловкость и даже стыд: это не был даже смех сангвиника — продолжительный, раскатисто-свободный грохот, которому завидуют прохожие и соседи по вагону: это был хохот, властно овладевший не только лицом, но и всем моим телом. Он полчаса душил меня и бил. как в коклюше, он выворачивал меня наизнанку, бросал на траву, на постель, выворачивал руки и ноги, сокращая мускулы в таких жестоких судорогах, что окружающие уже начали опасаться за мою жизнь. Чуждый притворства, искренний до глубины души — это был тот редкий и счастливый смех, который оставляет светлый след на всю вашу жизнь и в самой глубокой старости, когда все уже пережито, похоронено, забыто, вызывает отраженную улыбку.

Смешной случай, о котором я хочу рассказать,

произошел очень давно. Десятки лет проползли над моей головою и стерли с нее все волосы, но уже ни разу я так не смеялся — ни разу! — хотя вовсе не принадлежу к числу людей мрачных, по самой природе своей не отзывчивых на смешное. Есть такие люди, и мне их душевно жаль. Так как искренний чистый и приятный смех, даже только веселая, но искренняя улыбка составляют одно из украшений жизни, быть может, даже наивысшую ценность ее.

Нет. я совсем другой, я веселый человек! Я люблю юмористические журналы, остроумную карикатуру и крепко просоленный, как голландская селедка/анекдот; бываю в театре легкой комедии и даже не прочь заглянуть в кинематограф: там попадаются не лишенные юмора вещицы.

Но увы! Тщетно ищу я на людях и в книге тот мой прекрасный, единственный, до глубины души искренний смех, который, как солнце за спиною, озаряет до сих пор мой нелегкий путь среди колдобин и оврагов жизни, — его нет. И так же бесплодно ищу я счастливой комбинации всех тех условий, какие в тот памятный день соединились в искусный узел комического.

Конечно, я смеюсь, было бы неправдой сказать

другое, но нет уже искренности в моем смехе. А что такое смех без искренности? — это гримаса, это только маска смеха, кощунственная в своем наглом стремлении подделать жизнь и самое правду. Не знаю, как отнесетесь вы, но меня оскорбляет череп с его традиционной, костяной усмешкой — ведь это же ложь, он не смеется, ему вовсе не над чем смеяться, не таково его положение.

Даже неискренние слезы как-то допустимее, нежели неискренний смех (обращали ли вы внимание, что самая плохая актриса на сцене плачет очень недурно, а для хорошего смеха на той же сцене нужен уже исключительный талант?). А как могу я искренно смеяться, если меня заранее предупреждают: вот это анекдот — смейтесь! Вот это юмористический журнал — хохочите на весь гривенник! Я улыбаюсь, так как знаю приличия: иногда, если этого требуют настойчиво, произношу: ха-ха-ха, и даже гляжу на незнакомого соседа, как бы и его привлекая к общему веселью, но в глазах моих притворство, а в душе скорбь. О, тогда, в то утро, мне и в голову не приходило посмотреть на соседа, — я и до сих пор не знаю, смеялся ли кто-нибудь еще, кроме меня!

Если бы они, желающие насмешить, еще умели

как-нибудь скрывать свои намерения. Но нет: как придворные шуты добрых старых времен, они издали предупреждают о прибытии своими погремушками, и я уже заранее улыбаюсь — а что значит заранее улыбаться? Это то же. что и заранее умереть или сойти с ума — как же это возможно! Пусть бы они замаскировывали как-нибудь свои шутки: принесли, например, гробы или что-нибудь в этом роде, и, только что я испугался, вдруг в гробу оказывается смешное, например живой поросенок или что-нибудь другое в этом роде, — тогда я еще засмеялся бы, пожалуй!

А так, как делается, — нет, не могу!

Случай, о котором я рассказываю и который сейчас, при одном только воспоминании, вызывает у меня неудержимый хохот, не представляет собою, как увидите, что-либо исключительное. Да это и не нужно. Все исключительное поражает ум, а от ума идет смех холодный и не совсем искренний, ибо ум всегда двуличен; для искреннего смеха необходимо что-нибудь совсем простое, ясное, как день, бесхитростное, как палец, но палец, поставленный в условия высшего комизма.

Ни элементов холодной сатиры, ни игры слов, претендующей на остроумие, ни морали — и это

самое главное! — не найдете вы в «моем случае», и только потому, быть может, «мой случай» так невероятно смешон, так полно захватывает вас и отдает во власть искреннейшему смеху. И еще одна важная особенность моего смешного случая: рассказан он может быть в нескольких словах, но представлять его вы можете бесконечно, и с каждым разом ваше представление будет все ярче и смех все неудержимее и полнее.

Я знаю, что некоторые, в начале даже не улыбнувшиеся при моем рассказе, под конец изнемогали от смеха и даже заболевали: и уже не рады были, что услыхали, но забыть не могли. Есть какая-то особенная назойливость в этом комическом случае, — жаловались они: он лезет в голову, садится на память, как та всемирно известная муха, которую нельзя согнать с носа, щекочет где-то под языком, вызывая даже слюнотечение: думаешь отделаться от него, рассказав знакомому, но чем больше рассказываешь, тем больше хочется — ужасно!

Но предисловие, я вижу, разрослось больше, чем следует, перехожу прямо к рассказу. В коротких словах дело в следующем…

Впрочем, еще одна оговорка: я умышленно избегаю многословия, так как в таких случаях

одно лишнее, даже неудачное слово может только ослабить впечатление глубоко комического и придать всему рассказу характер все той же неприятной нарочитости.

Нет, дело было очень просто.

Моя бабушка, идя по садовой дорожке, наткнулась на протянутую веревку и упала носом прямо в песок. И дело в том, что веревку протянул я сам!

Да. Мало смеха в жизни и так редко встречается случай искренно посмеяться!

«Сатирикон». 1910. № 4



Алексей БУДИЩЕВ

Товарищам

Смех, яркий смех — удел немногих.
Смех — светлой правды грозный меч,
Смех — тяжкий бич для душ убогих.
Веселый вождь бескровных сеч!
Смех — шум дождя над нивой бедной,
Смех — вод весенних бодрый рев,
Смех — юной жизни гимн победный.
Смех — звон расторженных оков!
Для этих смех — улыбка брату.
Смех — лязг пощечины для тех!
. .
Но кто согласен взять как плату
Полгода крепости за смех?!

«Новый Сатирикон», 1913, № 28

Возобновление юности

Вечером я сидел в кресле у горящего камина с

газетою в руках и читал:

«Наш известный физиолог сделал удивительное открытие. Он узнал, отчего седеют волосы человека! Первый шаг к борьбе со старостью сделан. Слава ему! Ур-ра!

Виват!!! Живио!!! Можно надеяться, что в скором времени…»

Газета выпала у меня из рук.

«А ведь это, в самом деле, одна прелесть! — подумал я с восхищением. — Очевидно, мы живем накануне возобновления юности. Это восторг что такое! — думал я. — Когда перевалит этак за сорок пять, приятно освежить силы каким-нибудь вот этаким вспрыскиванием! Великолепно!»

Однако, после рассуждений такого свойства, передо мной внезапно вырос вопрос:

«А на что понадобилось тебе возобновление юности?»

В то же время мое лицо приняло выражение полнейшего недоумения и растерянности.

— Как это на что? — повторял я в замешательстве. — Вот тебе здравствуй! Хм!

Я презрительно хмыкал губами, пытался углубиться в дебри философии, дабы ответить с подобающею честью на вставший передо мною вопрос, но у меня, увы, ничего не вышло все-

таки.

— Вот тебе здравствуй! Хм! Как это на что?

Эта было все, что я достал на моих розысках.

В конце концов я сердито плюнул и крикнул на всю комнату:

— Конечно же, возобновление юности — один восторг!

После этого я тотчас же заснул на моем кресле, как сидел, у камина. От философии меня всегда несколько клонило ко сну, а философия наиглубочайшая подействовала на меня как хорошая доза опия.

Когда я проснулся, в комнате было светло, часы на камине показывали 12, а передо мной стоял совершенно незнакомый мне господин.

— Доктор Сосвятымиупокоев, — отрекомендовался он мне, раскланиваясь.

Я подумал:

«Сосвятымиупокоев! Удивительно выгодная для доктора фамилия!»

— Сосвятымиупокоев, — между тем повторил незнакомец с некоторой игривостью, — изобретатель сыворотки «Разве юность дремлет?». Явился, чтобы осуществить ваше желание освежить несколько силы. Скольких лет желаете быть? Тридцати? Двадцати пяти? Двадцати?

— Двадцати двух! — вскрикнул я с восторгом, после того как пришел в себя от изумления.

И через несколько минут я заседал в кресле, как пышный бутон среди клумбы. Я был вспрыснут, возобновлен и освежен! Мне стало 22 года! Еще раз мне разрешали отведать восторгов, уже давно не вкушаемых, с подобающим аппетитом. И я решился воспользоваться моими преимуществами сейчас же и с наибольшею для себя выгодою. Сорвав с вешалки пальто и шляпу, я тотчас же отправился в Дворянский земельный банк, чтобы перезаложить по наивысочайшей оценке мое имение, уже раньше заложенное мною в более зрелом возрасте и не столь высоко.

«Нужно исправить эту ошибку, — думал я. — смешно брать за вещь меньше, чем за нее дают! С какой стати? Разве юность дремлет?»

Итак, я помчался в земельный банк. Однако до банка я не доехал. На первом же перекрестке я увидел Марью Павловну, и, спрыгнув с извозчика, я поспешно подбежал к ней, точно меня принесло к ней бурей.

— Боже мой, какая встреча, — восклицал я, пожимая ее руку обеими руками, — как я рад! Какая встреча!

Марья Павловна обворожительно улыбнулась

в ответ. Мы пошли рядом, ибо я почувствовал внезапно непреодолимое влечение к этой женщине.

— Сегодня вы удивительно великолепны. — болтал я восторженно, — и я боюсь, что мое несчастное сердце…

— Разве? — переспросила Марья Павловна томно, скользнув по мне в то же время многообещающим взором. И она со вздохом добавила: — Бедный, бедный! Я замечаю это уже давно!

Она с сожалением покачала головой. Собственно говоря, «уже давно» она не могла замечать с моей стороны решительно-таки ничего. Марью Павловну я знал десять лет, и все время я считал ее, между нами сказать, ужасно дурой, некрасивой и совсем неинтересной. Но сейчас, сейчас она казалась мне пленительною сильфидой, обольстительным божеством необъятного ума и красоты.

— Я замечаю это давно. — снова вздохнула Марья Павловна с кротостью. — Вы даже побледнели за это время, мой бедный! — проговорила она, произнося букву «е» в слове бедный как «э». — Бэ-эдный! Бэ-эдный! — повторила она певуче.

Это было уже полнейшей нелепостью, так как мои щеки рдели в настоящую минуту, как свекла. Тем не менее я поддакнул ее соболезнующему

вздоху таким же унылым вздохом. На моих глазах были готовы выступить слезы от сострадания к самому себе и к своей бедности; и, кажется, вполне можно было ограничиться лишь/этим. Однако мои 22 года понесли меня дальше, без ума и разума, как ералашные лошаки английской артиллерии во время их войны с бурами. Я неожиданно выпалил жалобным тоном:

— Не мудрено, Марья Павловна, ведь я ничего не ем с тех пор, как узнал вас!

С тех пор, как узнал вас! Марью Павловну, как вы слышали, я знал ровным счетом 10 лет. Следовательно, я. по моему признанию, оставался без пищи целое десятилетие. Согласитесь сами, такая нелепость в состоянии убить насмерть даже слона, но я выпалил ее не сморгнув глазом, а обожаемая женщина отвечала мне совершенно серьезно:

— Ужели? Бэ-эдный, бэ-эдный!

Неизвестно, до каких крайностей договорились бы мы оба в наших излияниях, но тут Марья Павловна встретила одну из своих подруг. Однако расстаться так, попросту, без надежды на более радостную встречу, мы теперь не могли, ибо наши сердца были уже взаимно скованы «тончайшими нитями», как говорят поэты. И,

расставаясь со мною, Марья Павловна нашла возможность, прикрываясь, предварительно, со стороны подруги муфточкой, шепнуть мне:

— Сегодня вечером, в 8 часов, у нас; мужа не будет!

Я ответил ей благодарным взором, безмолвно сказавшим:

— Твоя сострадательность похвальна, и она не останется без вознаграждения с моей стороны, клянусь!

Ее взгляд в последний раз скользнул по мне. В нем я прочел:

— Жду вознаграждения и обещаю таковые же в избытке. Твоя. У-у! Ангел! Объеденье! Восторг!

Мы расстались. А ровно в 8 часов, весь сгорая нетерпением, я уже звонил в квартиру обожаемой сильфиды. Она отперла мне дверь сама.

— Мужа нет, — сообщила она мне с томностью во взгляде. — а прислугу я услала! — добавила она, шепелявя от избытка чувств и вместо «услала» выговаривая «усвава».

— Прислугу усвава, — шепнула она нежно.

И тут же она чуть не вскрикнула от изумления, а я ударился затылком о косяк. Дело в том, что в квартиру снова кто-то позвонил.

— Это муж! — вырвалось из побледневших

уст сильфиды. — Это его звонок! Впрочем, не бойся! — внезапно добавила она, очевидно, осененная остроумной идеей. — Не бойся!

И. торопливо ухватив меня за рукав пальто, она поволокла меня, еще не успевшего освободиться от верхнего платья и изумления, прямо в гостиную. Принятый, таким образом, на буксир, я вскоре благополучно прибыл к обширной тахте, украшавшей собою гостиную сильфиды. Между тем Марья Павловна приподняла ловким движением крышку тахты, и я увидел там весьма обширный ящик.

— Лезь туда! — скомандовало мое божество, кивая на зиявший передо мной ящик. — Да ну лезь же скорее!

Я шевельнулся.

Будь я теперь в первобытном своем состоянии и имей в своем распоряжении опыт сорока пяти лет, я, конечно, изобрел бы способ более остроумный, чем этот ящик, но сейчас я не нашел ничего лучшего, как подчиниться обожаемому существу. И я полез в ящик тахты, как был, в пальто, калошах и шляпе. Вскоре верхняя крышка с ехидным треском захлопнулась надо мной; я услышал торопливые шаги очаровательницы, поспешавшей навстречу к мужу как ни в чем не бывало и по

дороге шутливо напевавшей:

— Тру-ля-ля! Тру-ля-ля! Тру-ту!

А затем я услышал, как она снова появилась в гостиной уже в сопровождении мужа.

— Мумочка! Представь себе, какое счастье, мумочка, — услышал я радостный голос этого последнего, очевидно обращавшегося к супруге с ласкательным именем «мумочка». — Представь себе, какое счастье! Я променял нашу тахту на канделябры купцу Семитылову. Вот на эти самые! А-а? Хороши? Что скажешь. Муму? А-а?

Муму ничего не сказала, а я тотчас же припомнил о проклятой страсти мужа великолепной Мумы к мене.

— Ты, кажется, недовольна моей меной? — между тем зазвучал тот же голос. — А за тахтой уже идут дворники Семитылова! Слышишь? Они уже вошли! Федор, Илья! Эй! Это вы? Ужели ты недовольна, Мумочка?

Мумочка на этот раз отвечала:

— Нет, ничего. Довольна, канделябры хорошие!

Итак, обожаемая женщина променяла меня на канделябры и сказала:

— Ничего. Довольна. Канделябры хорошие!

Так была вознаграждена моя возобновленная

юность. Я чуть не расплакался в моей темной норе. А через минуту два негодяя подняли меня вместе с тахтой на плечи и понесли из квартиры жестокой изменницы в квартиру купца Семитылова. Однако я прибыл на место моего нового назначения не раньше, как часа через три, ибо негодяи, которым было вручено мое тело, ставили тахту после каждых пяти шагов на снег и, преспокойно рассевшись на моем животе, они курили папиросы, разговаривая в то же время с каждой кухаркой. В конце концов меня все же доставили по адресу и куда-то поставили; а еще через полчаса на мне завалился спать мой новый владелец, вскоре пронзительно захрапевший. Но тут я не выдержал. Сбросив со своего живота крышку, я повалил этого черта на пол и, роняя мебель, побежал вон из комнаты. За моей спиной раздался неистовый вопль:

— Ба-а-тюшки! Гр-рабят!

Когда я уже готов был выскочить на улицу, кто-то схватил меня за шиворот. Затем мне дали подзатыльник, снабдив его нравоучением:

— Не воруй!

Я расплакался и подумал:

«Завтра же найду Сосвятымиупокоева и попрошу перевести меня вновь в первобытное

(сорокапятилетнее!!) состояние!»

И тут я проснулся, ибо я спал, конечно. К счастью для человечества, наяву юность еще не возобновляют!

Юмористическая библиотека «Сатирикона».
1912, выпуск 47



Иван БУНИН

День памяти Петра

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...»

О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?

Хлябь, хаос — царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией.
Восстал на Божий строй и лад —
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Цэад,
Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деянья,

Прозрения и покаянья.
Россия! Помни же Петра.
Петр значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней».

Из «Книги стихов».
«Сатирикон», 1931, № 1

Аркадий БУХОВ

Два Наполеона

Да, были два Наполеона:
Один из книг, с гравюр и карт.
Такая важная персона.
Другой был просто — Бонапарт.

Один с фигурой исполина.
Со страхом смерти не знаком.
Другого била Жозефина
В минуты ссоры башмаком.

Один, смотря на пирамиды.
Вещал о сорока веках,
Другой к артисткам нес обиды
И оставался в дураках.

Мне тот, другой, всегда милее.
Простой обычный буржуа.
Стихийный раб пустой идеи.
Артист на чуждом амплуа.

Я не кощунствую: бороться

Со всей историей не мне…
Такого, верю, полководца
Не будет ни в одной стране.

Наполеон был наготове.
Всесильной логикой штыка
По грудам тел и лужам крови
Всего достичь наверняка.

Ему без долгих размышлений
Авторитетов разных тьма
Прижгла ко лбу печатью «гений»
Взамен позорного клейма..

Но тот, другой, всегда с иголки
Одетый в новенький мундир,
В традиционной треуголке.
Незрелых школьников кумир.

Мне и милей и ближе втрое,
И рад я ставить всем в пример,
Как может выбиться в герои
Артиллерийский офицер.

«Сатирикон», 1912, № 36

Поэтам

Пусть душа безвременьем убита:
Если в сердце алая мечта.
Не бросайте розы под копыта
Табунов усталого скота.
Замолкайте. Время не такое.
Чтобы нежность белого цветка
Разбудила гордое в герое.
Увлекла на подвиг дурака…
Все мертво. Ни песен, ни улыбок,
Стыд, и муть, и вялость без конца,
Точно цепь содеянных ошибок
Нам связала руки и сердца…
Все сейчас — моральные калеки.
Не для них ли, думаете вы.
Говорить о счастье, человеке
И о тихом шелесте травы…
Не поймут, не вникнут, хоть убейте.
Вашу святость примут за обман.
Не играйте, глупые, на флейте

Там, где нужен только барабан…
Нашим дням, когда и на пророке
Шутовства проклятого печать.
Не нужны ласкающие строки:
Научитесь царственно молчать.

«Сатирикон». 1912, № 44

Легенда о страшной книге

Сергею Горному

Ему надевали железный сапог
И гвозди под ногти вбивали.
Но тайну не выдать измученный смог:
Уста горделиво молчали.
Расплавленным оловом выжгли глаза
И кости ломали сердито.
Был стон, и струилась кроваво слеза.
Но тайна была не раскрыта.
Сидит инквизитор, бледней полотна:
«Еще отпирается?!. Ну-ка!»
Горящая жердь палачу подана,
Готовится новая мука.

«Сожгите! Но тайну узнайте вы мне —
Пусть скажет единое слово».
Шипит человеческий жир на огне,
Но — длится молчание снова.
Заплакал палач и бессильно сложил
К работе привыкшие руки.
Судья-инквизитор слезу уронил.
Как выдумать лучшие муки?!
Конвой зарыдал, и задумался суд.
Вдруг кто-то промолвил речисто:
«О ваше сиятельство! Пусть принесут
Стихи одного футуриста.
И пусть обвиняемый здесь же прочтет
Страничку, какую захочет...»
Судья предложившему руку трясет.
Палач, умилившись, хохочет.
Велели — и книгу на стол принесли:
Такая хорошая книга...
Измученный молча поднялся с земли
В предчувствии страшного мига.
«Довольно! — сказал он. — Пытали огнем,

Подвергли ненужным обидам.
Я гордо и честно стоял на своем
И только твердил вам: «Не выдам!»
Но если стихи футуриста читать —
Нет: лучше ботинок железный…
Какую там тайну вам надо узнать?!
Пожалуйста — будьте любезны…»
И выдана тайна. В глухой полумгле
Рассказана чья-то интрига.
Свершилось. И грозно лежит на столе
Кровавая страшная книга…

«Новый Сатирикон», 1913, № 24

Приятный собеседник

Набросок желчью

Мысли — как трамвайные билетики,
Жалкие, от станции до станции.
Говорит он много об эстетике,
О Бодлере, Ницше и субстанции.

Весь такой он чуткий и мистический.
Весь такой он нежный и лирический.

Не люблю его я органически,
Я при нем страдаю истерически.

Сколько он со мной ни разговаривал,
Сколько ни прикладывал старания —
Никогда его не переваривал,
И на то имею основания.

Я смотрю: за черепной коробкою
Этой тли природою положена
Смесь трухи с изжеванною пробкою
И какой-то слизью переложена.

Ничего другого. Ни горения,
Ни сердечных взрывов, ни сомнения.
Ни тоски, ни страсти, ни мучения…
Человек? Нет: недоразумение.

От портного — брюки с заворотами,
От брошюр — солидные суждения.
От кого-то — фразы с оборотами,
От себя — лишь ужас вырождения.

Лучше жить пустыми небылицами,
Углубиться в мерзость запустения,
Чем возиться с этими мокрицами…

Плюнь на них — хоть в этом утешение.

«Новый Сатирикон», 1915, № 27

Спекулянты

Какая шальная блудница
Тряхнула позорной казной?
Я плюнул бы в мерзкие лица
Людей, обогретых войной.
Ползут, пресмыкаются воры,
Где алая кровь горяча.
Их мысли — витые узоры
На красном плаще палача.
Чьи руки, чьи хищные руки
В грязи потрясенной земли
Чужие мильонные муки
Куют бессердечно в рубли?
Купается в золоте тело
Прогнившей от выгод души…
За чье-то великое дело
Мстят гадины в жуткой тиши…

О, если бы их вереница
Хоть раз бы прошла предо мной,
Я плюнул бы в мерзкие лица
Людей, обогретых войной…

«Новый. Сатирикон», 1916, № 21

Что я написал бы, если бы он умер

Ты в жизни шел походкой робкой.
Не видя часто в ней ни зги.
Под черепной твоей коробкой
Лежали мертвые мозги.
А жизнь-то вся — как на бумаге.
До заключительной строки:
Ни героической отваги,
Ни созидающей тоски…
На «нет» ты отвечал: «не надо».
На крик — согнувшись в три дуги,
С улыбкой ласкового гада
Лизал послушно сапоги.
Любовь считал пустой затеей

И убежденья — пустяком.
Ища свой хлеб и лбом, и шеей.
На четвереньках и ползком.
Одет хоть скромно, но прилично
(Где надо — смокинг, где — сюртук),
Ты жил ведь, собственно, отлично
Проворством языка и рук.
Вот умер... Что ж... Мы все там будем...
Мы все свершим загробный путь:
Когда-нибудь да надо людям
От скучных будней отдохнуть...
Но я хотел бы для порядка
Тебе в могилу кол вогнать:
Боюсь, тебе там станет гадко
И ты вернешься к нам опять.



Ласковое

Тусклый свет забрезжит очень скоро.
Но пока — здесь ласковый уют.
Темные, малиновые шторы
Полумрак спокойно берегут.
Я устал от ежедневной гонки.
Но сегодня бросил все дела.
Оттого, что — пальцы ваши тонки,
Оттого, что — кожа так бела.
Наши встречи редки и пугливы,
Точно тени около костра.
Мне приятно-странно: как могли вы
Стать так быстро нежной, как сестра.
Пусть спокойный медленный рассудок
На порывы наложил печать:
Кажется — как запах незабудок
ГЬлос ваш умею я вдыхать.
Я уйду. Я знаю: вы устало
Улыбнетесь ласково мне вслед.

Злая страсть с насмешкой спросит:
— Мало? —
Благодарно сердце скажет: — Нет.
А назавтра — в суетливом гаме
Вдруг охватит теплая тоска.
Оттого, что вашими духами
Будет нежно пахнуть от платка.

«Новый Сатирикон», 1918, № 9

Начинающие

Их тысячи.

Это они посылают в редакции нежные лирические стихи, рецензии о вчерашних спектаклях, в литературные журналы — статьи о немощеных улицах.

Это первые плоды их вдохновения, первые стремления попасть в литературу… Каждый день редакционный работник грудами сваливает их на редакторский стол для того, чтобы завтра снова убрать со стола и сложить их в дальний ящик вместе с газетными вырезками.

Это — начинающие.

Каждый из них удивительно индивидуален, у

каждого уже своя манера письма, свои захваты тем, свои требования к стилю и главным образом к редакции, которую они осчастливили присылкой толстой рукописи или стихотворения на разлинованном обрывке.

Попробуйте почитать их. И редакция представится вам огромным моргом, на одном из столов которого так уютно лежать.

Они пишут стихи.

Каждое стихотворение обязательно посвящено «Ксении М.», «Александре П.», если не прямо «Катерине Николаевне Манухиной с семейством».

Стихи всегда бьют по голове изысканностью рифмы и содержания.

Плывет по облаку луна.
Уснул и дремлет старый сад.
Уж покатилась с неба звезда,
А я весь мучительной скорбью объят.

Часто, с легкой руки литературных акробатов, начинающие полны поэтической экзотики.

Когда начинающие присылают сорокадвухстраничную повесть из личной жизни или переживаний, нужно быть ангелом для того, чтобы не только до конца, но даже до середины прочесть печальный рассказ о том, как:

«Арсений подошел к окну, которое было раскрыто к той стороне, которая выходила в сад, который сладко дремал под ясным небом, которое плакало крупными слезами, которые капали вниз».

Хуже, если начинающий изыскан. Тогда он непременно ищет образные и красивые сравнения:

«Ариадна прошла мягкая и стальная, как падающая зебра в далекой Африке. У нее была крикливая, как агат, шея, длинные, похожие на норвежский рыбачий челн, ресницы, а все лицо ее, по своему одухотворению, напоминало карабин мексиканца».

Еще хуже, если начинающий приходит в редакцию. Большей частью он робок. Войдя в прихожую, волнуется и здоровается за руку со сторожем, принимая его за секретаря редакции. Рукопись передает случайно забежавшему метранпажу; вместо приемной нелепо тычется в комнату художника и, в конце концов, дожидаться редактора садится в комнате у переводчицы, мешая ей своим разговором.

Когда его вводят в редакторский кабинет, эту святая святых каждого начинающего, он дрожащей рукой передает редактору вместо своего

стихотворения старое письмо или кусок счета от обойного мастера.

Требует чтения рукописи он сейчас же, хотя бы это заставило редактора три дня находиться без питья, без пищи, без разумных развлечений в виде сна и свежего воздуха.

Объяснить начинающему, что его стихотворение или рукопись не подходит, просто нельзя. Надо сначала в продолжение сорока минут втолковать ему, что он до ужаса талантлив, что у него должны быть гениальные родители, что у него на черепе такие же шишки, как у Льва Николаевича Толстого, что он. безусловно, затмит всех современников своим дарованием, но что именно вот эта рукопись, которую он сейчас только что принес, — скверная.

Попробуйте объяснить ему, что «игла и сковорода» не рифмы или что совершеннейшая несообразность, если героиня повести, предварительно повесившись, бежит бросаться в воду с крутого скалистого обрыва. — он не поймет.

У него от незаслуженной обиды затрясутся руки, он слезливо заморгает и, как оплеванный, уйдет из вашего кабинета. В передней будет тыкать ногами в чужие калоши; шляпу он будет держать в руках, хотя еще за полчаса до этого

был твердо уверен, что это нехитрое изобретение какого-то досужего человека приспособлено для надевания на голову.

— Эх, — будет шептать он, — вот они где, ценители! Не рифма, говорит… Мерзавцы!

А потом вечером, где-нибудь в глухой пивнушке, в компании таких же неудачников, будет рассказывать о своей обиде.

— Вот она где, кружковщина. Умерла Россия… Нет больше таланта!

А ночью, полузасыпая над столом, будет выводить на бумаге, мечтательно откидывая длинные волосы:

Она пришла ко мне вчера.
Такая горестная — дикая:
Я дожидался у окна,
А голубь пел, стыдливо пикая.

1912

Геометристы

Совершенно нормальному, здоровому человеку никогда не приходит желание написать письмо любимой женщине левой ногой, прокатиться по

речке на санках или позавтракать куском лучшего бристольского картона.

Но есть люди, которых не может удовлетворить простая житейская логика и которые стараются проявить свою жизненную волю в самых рискованных видах и формах, — они надевают хорошие костюмы для того, чтобы идти умываться: собираясь на дачу к знакомым, захватывают коньки и, садясь в поезд, требуют, чтобы им подали спасательный пробковый пояс.

Сначала о таких людях безвозмездно пекутся близкие и родные, потом за небольшое вознаграждение заботу о них принимают на себя опытные психиатры…

Нормальный талантливый художник рисует все так, как это есть на самом деле. Берет кисть, палитру, краски и, если рисует собаку, не приделывает к ней пароходных колес, к розе не привинчивает копыт и на самом обыденном подстаканнике не пытается вывести возможно отчетливее заводскую трубу или сигару.

Зачастую область такого нужного, простого художества временно затуманивается теми «новыми школами», основатели которых склонны думать, что каждая картина и каждый рисунок может быть помещен в любом иллюстрирован-

ном журнале или как загадочная картинка (на премию), или как карикатура на то, что должно быть изображено на полотне…

На грани перехода от здравого смысла к акробатизму и красочной клоунаде стоят западные импрессионисты. Представители этой школы обычно отражали на полотне все рисуемое ими в том виде, в каком оно представлялось их умственному взору… Случайно или не случайно, но среди импрессионистов было и есть много безусловно талантливых художников…

Из импрессионизма родились футуристы и кубисты… О них говорено слишком много — кто они такие, — повторять не хочется. По закону размножения и им суждено иметь потомство.

«Семен роди Ивана, Иван роди Петра… От дедушки-болвана какого ждать добра…»

Родились геометристы…

В одном из английских журналов они говорят о себе:

«Кубисты тупо однообразны, между тем как мы, геометристы, понимаем искусство гораздо шире. Художник-геометрист имеет в своем распоряжении жизнерадостно-веселый круг, злобно-дерзкий треугольник, спокойно-уравновешенный квадрат и много других форм рисунка,

из которых каждый кладет на всю картину свой особенный отпечаток».

Геометристы уверены, что каждое движение, каждую форму и настроение можно изобразить… геометрически!

Как они это делают, вы можете судить по снимкам с их картин.

Когда геометристы появятся в литературе, они непременно будут писать:

«Дорогая моя! Гипотенуза моего сердца ищет катета твоей любви. Равнобедрись! Не строй глазами сорок пять градусов… Душа моя исходит квадратом…»

Стихи у геометристов должны были быть приблизительно такого типа:

Ах, шепни любимой Кате ты.
Наклонившись над столом:
— Мы с тобой ведь, Катя, катеты
С одинаковым углом…

Вдохновись печальной музою
Точно смеренной любви
И ее — гипотенузою
Перед всеми назови…

Наша страсть ведь — не поветрие:

Раз пришла — и навсегда...
Счастье только — в геометрии.
Остальное — ерунда!..

Создавать такие художественные направления может каждый свободный от вечерних занятий молодой человек.

Только нужно ли это?

1913

Искусство юмора

Я знаю много людей, которые по целым часам простаивают во время гололедицы у окна и высматривают — не упадет ли кто-нибудь на тротуаре. Наиболее скромные из них удовлетворяются какой-нибудь старушкой, рассыпавшей яблоки, и идут к своим очередным занятиям; изысканные — дожидаются перелома костей или, по крайней мере, временного пребывания намеченной жертвы в лежачем положении. Таких людей рассмешить легко. Хорошо обваренная крутым кипятком собачонка, цветочный горшок, падающий с четвертого этажа на голову сельскому учителю, — даже и это в состоянии дать им несколько веселых и приятных минут. Такие лю-

ди чувствуют беспрерывно голод смеха, и если им попадается в руки простой бухгалтерский отчет за минувший год или вышедший из продажи каталог семян, они уже бегут запирать двери своей комнаты, чтобы никому не помешать бешеными взрывами искреннего хохота.

Несравненно хуже тот класс людей, который смеется исключительно горьким смехом даже в зверинцу и считает юмористику в литературе — гвоздем, неумело положенным в суп. Заставить смеяться таких людей безумно трудно. Прочтя сборник веселых рассказов, они сейчас же начинают сравнивать его по степени пользы с энциклопедическим словарем или домашним самолечебником; вполне естественно, что вывод получается не в пользу юмористики.

Кроме того, даже самое желание заставить читателя смеяться кажется им обидой, недальновидностью автора.

— Тоже, — холодно замечает такой читатель, — смех напал... Подумаешь, велика мудрость ржать... Нет, ты жизни не игнорируй... У нас вот водопроводная труба через три дня лопается — а ему смех. Опять же дошкольное воспитание. Нет, ты. милый, пиши так, чтобы детям показать можно было.

Веселую остроту и юмористические переходы такой читатель признает только в очередной статье о внутренней политике и повышении тарифа на сахар.

Поэтому-То редкий юморист надеется на то. что его книгу переплетут хотя бы в прошлогодние корочки от приложений к какому-либо журналу.

Путь к человеческому смеху тяжел, и юмористу приходится выбирать массу направлений, чтобы хоть каким-нибудь образом вырвать у читателя улыбку. О наиболее интересных направлениях юмористики я и скажу дальше.

Смех с насилием

Юмористы этого лагеря держатся совершенно справедливого взгляда, что чем раньше насмешишь читателя — тем ему приятнее.

Поэтому юмор у них падает внезапно и сразу, как ведро с краской на Гпупышкина. Смешат они. не давая читателю опомниться, хватая его, как волка борзые, за горло.

Разговор ведется обычно в таком тоне:

«По двору бегала собака (хвост у нее был обрублен, и кончик лежал в книжном шкафу), вдруг в это время Петр Николаевич (две ноги, большая лысина) упал на живот. Сейчас же сбежалась толпа и стали хватать собаку за лапу (а лапу кто-то

взял и переломил поленом!): та визжала, а Петр Николаевич стонал.

В это время в семье у Синицыных старший сын подошел к столу и плюнул в суп…»

Такие рассказы, по убеждениям их авторов, должны рассмешить даже мертвого. Весьма возможно, что у этой категории читателей они имеют вполне заслуженный успех. Читатели, оставшиеся в живых, прочтя внимательно ряд таких рассказов, быстро отходят от юмористики и занимаются выжиганием по дереву.

Юмор развязки

Здесь юмористу приходится быть тонким психологом для того, чтобы, дав читателю серьезную, обоснованную фабулу, внезапно поразить его совершенно неожиданным веселым концом. Ничто так не действует в жизни и в литературе вообще, как внезапный переход к другой теме или неожиданный результат…

Попробуйте прийти к своему ближнему и начать нудный, но хорошо обоснованный рассказ о том, что вас уже более двух лет выгоняют за неплатеж из квартиры, в которой вы провели свою молодость, прибавьте несколько слов о малютках детях, и ваш собеседник неминуемо развернет вам картину и своего безвыходного

положения, усугубленного недавней смертью дяди по отцу, которого не на что даже похоронить. Вам неминуемо придется идти занимать в другое место…

Но попробуйте поступить по-иному. Заговорите о последних международных событиях, возмущенно отзовитесь о падении балета, втяните его в горячий и шумный спор о шахматах — и вдруг, внезапно, стукнув себя пальцем по лбу, как будто вспомнив что-то веселое, резко просите двадцать рублей под честное слово.

На многих это действует так ошеломляюще, что они вынимают бумажник и просят принести вам пальто. Многие, впрочем, дают деньги.

По такой системе внезапности пишут и многие юмористы. Рассказы их начинаются приблизительно так:

«Была тихая беззвездная ночь — темная, как дно шахты, где работают под гнетом эксплуататоров шахтёры. По-терин ехал на пароходе и думал о том, что если бы построить громадный, изящной архитектуры дом из бумаги, то в нем нельзя было бы жить. Плескались колеса. Вода бурлилась около кормы и отражала луну, которая была где-то наверху. А вода — внизу. Потерин сидел и думал…»

Дальше идет красивый лирический рассказ о воспоминаниях Потеряна по поводу любимой девушки, ушедшей к другому, описания природы и отражения их в душе Потерина, сочно и ярко рассказанные на протяжении четырех страниц, погружающих читателя в спокойное, утешающее настроение.

И вот тут-то, когда даже самый ненаблюдательный человек вправе ждать обстановочного самоубийства, вырастает внезапное веселое окончание рассказа:

«Каково же было удивление Потерина, когда он увидел, что сидит не на пароходе, а на чужой шляпе, да еще в приемной Пупкина, которому должен восемнадцать рублей…»

Юмористика гражданская

Здесь рассказ несравненно проще и имеет явный уклон к общественной сатире.

«Чиновник Федотов сидел, пил кофе и брал взятки (когда-то исчезнет этот «варварский» обычай в России?). В это время подходит «интендант» Хапугин, который тоже брал «взятки» с сукна по 3 р. 24 к. за «штуку» (считая, что номинальная цена штуки 64 р. 86 к., а штук обыкновенно привозилось 240). Два взяточника сидели и разговаривали о фекалепроводе (скоро ли он будет в

нашем городе?). Через некоторое время…»

Заканчивается такой юмористический рассказ блестящим утверждением, что берут взятки даже почтовые чиновники, а город без приличной мостовой и правильно организованной поливки улиц — хуже скарлатины.

Есть еще юмористы, не сознающие Вложенного в их душу дара смешить. Как часто, читая критические статьи ежемесячных журналов, я думаю об этих тихих тружениках, вносящих, незаметно для себя, ценный вклад в юмористическую литературу… Как часто, вчитавшись в солидное исследование теоретика театра о современных пьесах, я думаю: какой бесценной для настоящего, здорового смеха была бы эта книга, если бы ее умело иллюстрировал хороший карикатурист.

1914

Чего не успел написать Гейне

Сказала раз Клара поэту:
«Мне надо героя в мужья;
Пойди и пространствуй по свету.
Вернешься героем — твоя».

Фриц понял, что плохи делишки, —

Хозяину продал часы.
Взял Шиллера томик под мышку
И в сумку кусок колбасы…

Немало с тех пор миновало;
Он сотни земель исходил,
И счастье поэта ласкало,
И случай ему ворожил.

Он был: музыкантом, артистом.
Врачом, полотером, судьей.
Маркёром, писцом, футуристом,
В нужде — городским головой.

Судьба не перечила хмуро.
Удаче он не был чужой:
Он стал королем Сингапура
И даже индийским раджой.

«С открытой душой паладина
И с жутко неполной сумой
В родной переулок Берлина
Фриц взял и вернулся домой.

Из окон увидевши Фрица,
Сдержавшего строгий обет,

В истерику впала девица,
Любовь сохраняя шесть лет.

В восторгах два дня пламенея.
Поэт ей событья раскрыл,
Вдруг Клара спросила, бледнея:
«А ты… в унтерах не служил?..»

«Что? Я — в унтерах?! Да к чему же:
Я так покорю тебе мир». —
«Как, — вскрикнула Клара, — быть мужем.
Не зная, как носят мундир?!.

Иди! Потеряла охоту
Быть нежной с таким дураком!»
И верите ль: в ту же оубботу
Венчалась с одним денщиком…

Фриц запил… И с видом апаша
В пивных напивался и сох,
А вежливый Кларин папаша
Кричал ему ласково: «Hoch!»[2]

---

[2] Примечания: 2
«Ура!» *(нем.).*

«Новый Сатирикон», 1914, № 12

* «Ура!» *(нем.).*

Вспомните!

Юбилейное

Много вас, в провинциальной тине
Утопивших грустно имена.
Все еще питается доныне
Распыленным прахом Щедрина.
Много вас, с повадкой хитрой, волчьей.
Под цензурным крепким колпаком
Подбирает капли едкой желчи.
Оброненной умным стариком.
Ваш читатель ласковей и проще.
Чем у нас, — он любит простоту.
Но устал: от гласных, и от тещи.
И от нравов граждан ТЯмбукту…
Знаю я: когда сосед — Европа,
Тяжело перо переломить.
Между строчек, с запахом Эзопа.
Щедриным исправника громить…

Тяжело потертые словечки
Доставать из пожелтевших книг.
Старый смех топить в газетной речке,
Потеряв свой собственный язык.
Так-то так… А все-таки берете.
В тине душ бессилье затая:
Щедриным, друзья мои. живете,
Щедриным питаетесь, друзья…
Мы рабы одной каменоломни.
Что зовется — русская печать,
И теперь одно лишь слово «вспомни!»
Мне собрату хочется сказать…
Вспомни, брат, того, кто нам когда-то
Дал слова, какие знал один…
. . .
И услышу отповедь собрата:
«Что пристал? Я сам себе — Щедрин».

«Новый Сатирикон». 1914. № 17

Яд доброты

В первый вечер нашего знакомства Шванин спросил меня, почему я сегодня в черном галстуке.

— А так просто. Забыл купить.

— А вы любите темно-зеленые с золотистым оттенком?

— Темно-зеленые? — праздно спросил я, не желая придавать его вопросу острое значение. — Очень. В них есть что-то.

— Ну так у вас завтра будет такой галстук. Ни больше ни меньше как темно-зеленый… И именно я, если разрешите, преподнесу вам его.

Он торжествующе посмотрел на меня и, не дожидаясь благодарности, отошел в сторону. На другой день посыльный принес мне шванинский подарок; а когда следующий раз я надел его и пошел в гости к знакомым, где был и Шванин, я понял, что сделал непростительную ошибку. Увидев меня, Шванин отвел в сторону хозяина дома, позвал меня и, похлопав пальцами по галстуку, спросил:

— Каково?

— Что? — удивленно спросил хозяин, погляды-

вая на нас обоих.

— Галстучек-то? Каков?

— Да, галстук, — неопределенно бросил хозяин, — зеленый, кажется…

— Не в том дело, что зеленый, а как приобретен-то… Я ведь подарил. Три часа в магазине рылся…

Я немного смутился:

— Я и забыл вас поблагодарить…

— Что тут благодарность… Приказчики, можно сказать, с ног сбились, еле нашли такой…

Через несколько минут ко мне подошел какой-то малознакомый человек и деловито попросил:

— Можно вас к свету? Вот сюда немного… Ага, хорошо… Мне сегодня Шванин с утра звонками надоел: приходите, говорит, посмотреть, какой я ему галстушонок закатил… Ничего себе…

— Мерси, очень…

За картами Шванин пришел из другой комнаты и перебил кому-то хороший ход.

— Играет? — по-отечески, шутливо спросил он, обращаясь к кому-то, обо мне, — а на галстук и внимания никакого… А я-то, старый дурак… Четыре магазина обегал… Приказчики…

— Нет, что вы, что вы… Я очень благодарен…

— Я так, к слову…

Когда все расходились и толпились в передней,

разыскивая калоши, Шванин вернулся с лестницы и, пожимая мне руку, предупредил:

— Вы его пальтецом прикройте, а то сверху еще чего, пожалуй… он нежный…

— О ком это вы так заботитесь? — с улыбкой спросила какая-то дама в капоре.

— Да вот, галстучек ему подарил, а он человек молодой, неосторожный…

— А покажите-ка ваш знаменитый галстук… Ничего, милый… У вас есть вкус, Шванин…

— Ну, еще бы… Четыре магазина… Три часа… Все приказчики…

Галстук я подарил швейцару. О Шванине почти забыл.

* * *

Встретил его только вчера. Шел по улице и думал, что в такую ночь ужасно тяжело быть одному. Бродить по улицам надоело, а дома была скука, темные обои и два книжных шкафа с намозолившими глаза корешками переплетов.

— Алексей Сергеич! Вы? Куда это?

Я оглянулся и увидел Шванина.

— Здравствуйте. Так брожу. Хмуро что-то на душе…

— Ай. бездомник, бездомник. В такую ночь

домой бежать надо, к близким… Ночь-то какая…

— Да у меня никого нет. Дома тоскливо, одиноко… Приду — сейчас же спать лягу…

— Спать? Вы? Сегодня? Да я сейчас не знаю, что сделаю, если вы не пойдете ко мне…

— Ну, что вы, право…

— Он еще думает, как бы обидеть человека. Да допущу ли я, чтобы человек один ходил здесь, когда… Извозчик, Спасская… Тридцать копеек…

Дома шванинская доброта, как вода у мельницы, пробила все плотины человеческой холодности и хлынула наружу неудержимым потоком.

— Ну, съешьте вот этот кусочек, — с дрожью в голосе говорил он, выковыривая какой-то ломтик ветчины, — ну, ради вашей молодости… Ну, я прошу…

Я ел во имя моей молодости, ради счастья шванинских детей, за грядущее счастье родины, пил кислый портвейн и затхлую мадеру за здоровье восемнадцати отсутствующих и незнакомых мне сослуживцев Шванина.

Только когда последний кусочек кулича беспомощно задержался в моей руке, не имея возможности протолкнуться через чем-то набитый рот, Шванин закидал меня сочувственными, соболезнующими вопросами:

— Скверная, говорите, комната? Холодная?

— Вода замерзает. Думаю сменить.

— И скучно одному?

— Бывает. Редко, а все-таки бывает.

— Как жалко… Такой молодой, и уже… И скверно возвращаться одному?

— Да, неважно… Ну-с, я пошел… Очень вам благода…

— Что? Уходить? И вы думаете, что в такую ночь я…

Через полчаса бесплодной борьбы с неиссякаемой добротой отзывчивого человека мне пришлось остаться ночевать у Шванина. Ночью он четыре раза осторожно заглядывал в отведенную мне комнату и шепотом справлялся:

— Спите?

— Нет, а что? В чем дело?

— Может, попить хотите, — так вот тут, на столике… Может, вам свет мешает?..

— Не беспокойтесь, очень хорошо…

— Я все-таки прицеплю еще газетку к занавеске… Dia-за молодые — они ночью темноту любят…

Когда я вернулся домой и стал переодеваться, в кармане пиджака что-то зашуршало. Я вскрыл конверт и изумленно вынул оттуда деньги.

«Не сердитесь, милый Алексей Сергеевич, — написал Шванин в маленькой сложенной записочке, — я сам был молод и знаю, что такое без денег праздник проводить.

У меня эта четвертная, можно сказать, лишняя, а когда у вас будет, отдадите».

Я сконфуженно улыбнулся и переложил четвертную к пачке других бумажек, праздно лежавших у меня в бумажнике.

* * *

Доброта Шванина начала сказываться через четыре дня.

— Алло! Слушаю вас… Слушаю.

— Это вы, Алексей Сергеевич?

— Ах, Дмитрий Михайлович! Какими судьбами?

— Вы только не сердитесь, голубчик, но мне прямо даже обидно…

— В чем дело?

— Я даже не поверил сначала. Разве у вас такие скверные обстоятельства?

— У меня? Нет, кажется, ничего.

— Ну, что там скрывать… Только почему вы не обращаетесь ко мне? Через несколько месяцев мы с вами, можно сказать, будем родственника-

ми, я так рад, что я отдаю дочь за такого милого молодого человека, а вы идете сначала к чужим людям…

— Я, право же, ничего не понимаю…

— Мне Шванин звонил, говорил, что дал вам двадцать пять рублей и даже не назначил срока…

— Дмитрий Михайлович, поверьте.

— Да я сам понимаю, дело молодое… В картишки продулись?

— Поверьте мне…

— Да вы не волнуйтесь… Мне только неприятно, что у меня в доме вы всегда говорите о хороших заработках, о свободных деньгах, а тут на самом деле…

— Я же не просил… Вы понимаете…

— Вы отдайте ему… Одолжите у меня и отдайте…

— Я очень вам благодарен, но мне не нужно ваших денег, кроме того…

— Я вам не навязываю, но мне просто неприятно… Вы извините меня, может быть, это мещанство, но что делать. Неприятно, что жених моей дочери ходит и занимает четвертные у каких-то…

— Я бы просил вас. если это возможно… Алло!

Алло… Дмитрий Михайлович… Барышня! Что вы нас разъединяете? Что? Повесил трубку… Ага… Хорошо…

* * *

— Что же, вы подыскиваете комнату себе? Мне, конечно, все равно, если моей квартирой гнушаются, я так, как хозяйка спрашиваю… Билетик надо вывесить…

— С чего, вы взяли, Мария Михайловна? Садитесь, пожалуйста.

— Ничего, я постою. Не я взяла, другие берут. Могли бы сами сказать, не через знакомых. Я не кусаюсь.

— Я же ничего не понимаю…

— Да и понимать тут нечего. Ваш же знакомый, господин Шванин… Прочитайте.

Она передала мне письмо, в котором Шванин образно и настойчиво укорял мою хозяйку в том, что она губит молодой организм своего квартиранта, не отапливая в достаточной мере комнат…

Дочитав, я скорбно посмотрел на хозяйку.

— Тут в соседнем доме комнатка хорошая есть, — уклончиво ответила она на мой взгляд.

— Тут недоразумение какое-то, — робко произ-

нес я, — я ничего не говорил…

— Если у каждого жильца свое недоразумение будет, лучше уж так как-нибудь, — хмуро возразила она, — вы подумайте и скажите насчет билетика, когда вывесить можно. Не из-за удовольствия комнату сдаешь, чтобы потом сплетничали…

— Я просил бы вас…

— Нет уж позвольте мне попросить вас… Мне это не нравится.

* * *

Верочку я встретил во время поисков комнаты.

— Ну, как Расланова? — холодно спросила она меня, небрежно подав руку. — Томитесь по ней?

— При чем тут Расланова? — удивленно спросил я.

— Да так… Убитое настроение, муки одиночества, ночевка вне дома…

— Откуда вы знаете?.. Кто вам наболтал?..

— Совершенно незаинтересованный человек… Я слухов не собирала, а просто вчера встретила Шванина, он мне и рассказал… И о ваших жалобах на одиночество, и о вашей тоске и неудовлетворенности… Мне казалось бы, что человек, который собирается начинать жизнь с другим

человеком, которого он называл любимым, не должен томиться из-за того, что какая-то артистка…

— И об артистке Шванин рассказал?

— Нет. Об артистке он не рассказал, но это томление, эта тоска, эти ночные кутежи вне дома… Недаром этот ваш знакомый рассказывал, что он целую ночь вас утешал… Сначала утешитель, потом утешительница явится…

— Верочка…

— Вера Дмитриевна.

— Оставьте это. Все вздор.

— Ну, знаете, Алексей Сергеевич, если для вас это — вздор, чего же я могу ожидать дальше?..

— Верочка…

Еще через несколько дней мне удалось восстановить прерванную чужой добротой линию своей жизни. Деньги я вернул Шванину с короткой и характерной припиской, после которой мы избегали встреч друг с другом.

Мне рассказывали, что в одном обществе, говоря обо мне, Шванин невольно прослезился при воспоминании о незаслуженной обиде и тихо сказал:

— Как тяжело, как больно быть отзывчивым… Они топчут это чувство сапогами… Так жестоко,

так холодно топчут…

С тех пор я решительно избегаю встреч с добрыми людьми.

1915



Анисьин муж

I

Я ведь не как другие жены. — ласково сказала она и поцеловала меня в голову, — иногда прямо измучаешься, все думаешь, думаешь, чтобы не перетратить твою лишнюю копейку. Ты трудишься, работаешь, и я буду работать…

— Спасибо, милая, — с тихой благодарностью сказал я, — ты у меня такая родная, такая родная… Зажги лампу.

— Вот видишь, — укоризненно покачала она головой, — а ты сам о себе не заботишься. С керосином работаешь. Электричество провести не можешь… Я тебе ручаюсь.

— Ну, проведем, — предложил я, — сходи завтра

на станцию. Скажи…

— Он говорит — на станцию, — возмущенно отвечала она, — ну, уж это извини… Сходи на станцию, там тебе дадут пьяных монтеров, драть будут… Ах ты несмышленыш… Анисью, которая у нас служила, помнишь?

— Нет…

— Ну конечно, разве мужья заботятся о доме… У этой Анисьи есть муж. Он умеет освещение проводить, хороший такой мужик… И возьмет каких-нибудь три рубля. А ты — монтеров готов звать… Я ценю твою работу и совсем не хочу, чтобы у тебя лишние деньги уходили… Ну, пиши, пиши… Позвать, значит?

— Позови, — кивнул я головой, — только чтобы скорее это. — Да ты будь спокоен… Пиши, милый…

И она еще раз поцеловала меня в голову.

II

Анисьин муж, как всякий трудолюбивый человек, не любил отказываться от работы и на другое же утро был у нас. Его пропустили в кабинет, и уже около девяти утра он вежливо потряс меня за плечо и, дождавшись, пока я открою глаза, осведомился о том, что, собственно, от него хотят.

— Ламп-то вам сколько? — спросил он, оглядывая комнаты.

— Много ламп, — нехотя ответил я. негодуя за прерванный сон, — везде.

— Так, так… Электричество, значит, — неопределенно покрутил он головой. — Ну, что же… Велика ли вещь лампа…

Через несколько минут он втащил в комнату какую-то грязную двойную лестницу и, удобно взмостившись на ней, стал бить потолок большим молотком.

— Это вы зачем? — робко спросил я, чувствуя, что всякие попытки уснуть надо совершенно бросить.

— Как зачем? — изумленно посмотрел на меня Анисьин муж, — чай электричество… Может, я сюда крюк хочу вбить…

Он еще несколько раз уверенным движением ударил по потолку, отбил порядочный кусок штукатурки и сказал, чтобы ему позвали горничную.

— У вас тут раньше-то проводили? — спросил он сверху. — Может, раньше кто работал?..

— Я недавнишняя, — сконфузилась горничная, — барыня знает…

— Ну, зови ее, твою барыню… Жена, значит, ваша, — посмотрел он на меня, — детей-то нет

еще?

— Нет… — неопределенно ответил я.

— Ну, будут. У вас это скоро. Раньше-то тут, барыня, — спросил он вошедшую жену, — проводильников этих не было?.. Может, тут старые проводы есть, вытянуть бы их… Они так всегда, замажут известкой, а потом ищи…

— Нет, не проводили, — виновато улыбнулась жена, — вы уж проведите, голубчик… мы заплатим…

— Да уж без платы какое дело, — снисходительно бросил Анисьин муж, — тут тебе без этого и керосиновую лампу не проведешь…

Когда жена ушла, он подмигнул мне сверху и опустил молоток.

— Это барыня так барыня… Вот здесь, по лестнице, у двенадцатого номера… Я уже на что рабочий человек, а и то бы не взял… Ну, я пойду, — закончил он, — обедать пойду. Время.

Во время его отсутствия мне пришлось отказать одному нужному человеку в приеме; впускать в комнату, пол которой был густо завален штукатуркой, а посредине стояла неопределенного вида лестница, — не хотелось…

Обедал Анисьин муж долго; сознаюсь, что в первые часы его отсутствия я даже подумал, что

он обиделся на то, что до него никто не проводил электричества, и ушел совсем.

К вечеру он пришел снова, благодушно и немного иронически настроенный к своей работе.

— Опоздал маленько, — пояснил он свое отсутствие, — мебель перетаскивали… Выезжают одни, комодище вытаскивал… Полтинник, скареды, дали…

Он влез на свое сооружение и методически стал отбивать штукатурку с потолка.

— Папиросочки нету? — вежливо спросил он, — курить хотца…

Я оторвался от работы и протянул папироску.

— Покорно благодарим… — Он затянулся и презрительно вытащил из потолка какой-то гвоздь… — Да, говорю, скареды… У этих ведь, разных квартирантов, один пример… Звать зовут, лошадью работать — работай, а отдать — это нет…

Я почувствовал, что краснею.

— Мы отдадим, вы не беспокойтесь, — виновато сказал я, — я вперед могу даже…

— Да уж вы-то что… за вас и беспокойства нет… Я и девушку вашу знаю. Она и ручалась. Эти, говорит, отдадут… На пишу, говорит, скуповаты, а уж рабочему человеку… Покорно-с… — дотянул

он папироску, — хороший табачок…

С точки зрения приведения комнаты в негодность с потолком было сделано все возможное; он был облуплен до балок: по-видимому. Анисьин муж предполагал проводить электричество по системе глубоколежащих кабелей. Он с любовью посмотрел на облупленное место, слез и подошел к стене.

— Здесь и пройдут, господин, — обратился он ко мне, — провода-то… — И, видя, что я тупо воспринимаю его объяснения, добавил: — Провода, говорю… Без них электричества нет. Лампу в стену не ввинтишь…

Он подошел к стене, неуверенным движением засунул палец под обои и потянул к себе. Под оторванным куском оказалось какое-то серое, мутное пятно, мало гармонировавшее с цветом мебели.

— Ишь ты. — самодовольно ухмыльнулся Анисьин муж. — Обои… Их ткнешь, а они рвутся… И чего это господа не купят… Ерунду, господин, покупали… Бумагу-то…

Через несколько минут Анисьин муж влез с сапогами на постель и стал прибивать к косяку большой, дугообразной формы, гвоздь.

— Это я для себя, — обернулся он, — прибивать

буду проволоку-то, так придержаться… Три рубля одно, а голова другое… Упадешь, разобьешься…

— Хорошо, — уныло сказал я, искоса поглядывая на трещину в косяке. — прибивайте там…

Прибив гвоздь, он вымерил расстояние рукой до потолка и сказал, что пойдет ужинать.

— Завтра уж приду… Только лестницу не убирайте, а то опять ставить… Лестница-то никого за руки не хватает…

— Ничего… Ничего, — нерешительно бросил я, — подмести только попрошу…

— Не стоит, — миролюбиво предложил он, — завтра приду, опять насорю… Тоже ведь, электричество…

III

Назавтра Анисьин муж не пришел. Приходила сама Анисья и просила рубль задатка.

— Он сам-то смирный, — таинственно пояснила она кухарке, — выспится и придет… Ничего, говорит, не сгорят без меня…

Зато на другой день он пришел еще раньше, хмурый и, по-видимому, с твердым намерением окончить работу.

— Спать-то не помешаю? — хмуро спросил он меня, кидая молоток на пол, — прощения про-

сим…

— Почему вы вчера не пришли? — недовольно ответил я.

— Вчера, чего вчера… Вчера не сегодня… — неопределенно ответил он, — сегодня и доделаю… Мудреная штука…

— Так вы уж кончайте скорей, — кисло проворчал я, — надоело.

— Самому надоело, — кивнул он. — тоже навязали… Можно сказать, с ножом к горлу…

— Монтер вы, поэтому и позвали…

— И звали бы монтеров, — огрызнулся Анисьин муж, — звали бы, коли они уж так нравятся… Им и делать-то больше нечего…

— Как зачем? — приподнялся я с постели, — да вы про-водить-то умеете?

— Велика штука… Проволоку навертел, гвоздей натыкал… Что звонок, что лампа…

— Да вы сами-то, — дрожащим голосом спросил я, — монтер?

— Я-то?..

— Ну да, вы…

— Мы слесарь… Мебелишку тоже, если где перенести… рабочему человеку пить-есть хочется… Зовут — идешь…

— А проводить-то… электричество-то, — вско-

чил я с постели, — вы умеете?.. Вы когда-нибудь проводили? А, проводили?..

— Ну, нет… — спокойно ответил он, — чего же тут… Подумаешь, труд большой… Гроздь вбил, кнопку прибил… Оно, чай, не керосин, само горит…

— Идите вон, — сдержанно сказал я, — подите к черту. Вы слышите?..

Анисьин муж молча собрал инструменты, дружелюбно посмотрел и улыбнулся.

— Бабы все… Анисья да девушка ваша… Иди, говорит, да иди… Не маленький, сумеешь!.. Тут Анисья с монтером одним путалась, так я присмотрелся… Может, комодишко там какой пообкрасить? Ну, пойду… Прощения просим…

IV

Через два часа у меня в комнате веселились четыре монтера. Ходили по столу, сваливали с этажерки книги, рассказывали друг другу профессиональные новости.

— Иди, милый, — ласково позвала меня жена в соседнюю комнату, — вот видишь, родной… Какой ты у меня глупый… Сам работаешь, а копейки своей не бережешь… Позвал монтеров дорогих… А Анисьина мужа выгнал… Дал бы ему

трешницу…

— Милая моя, — тихо сказал я. — Анисьин муж — слесарь… Понимаешь — слесарь…

— Не может быть, — возмущенно отозвалась она, — как же это… Какой негодяй…

Она негодующе прошлась по комнате и, побарабанив пальцами по подоконнику, обернулась ко мне.

— Нет, ты знаешь, какой подлец, — обиженно сказала она, — зову я его на прошлой неделе кровать починить… Он отвертел ножку, матрац расковырял, а потом извинения попросил… Простите, говорит, барыня… Какой я слесарь… Вот если, говорит, электричество провести, так через Анисью скажите — приду… Ну, а ты знаешь, — я не такая, как все жены… Я твоей лишней копейки не истрачу…

1915

Шаблонный мужчина

Когда все столпились в передней и стали искать калоши, я воспользовался случаем и, наскоро попрощавшись с кем-то из незнакомых гостей, вышел на лестницу.

— Арсений Петрович… Вы куда? Нет, нет… Так

нельзя. Я оглянулся и почувствовал, что рабочая ночь пропала.

— Нет уж, вы кого-нибудь проводите, — мило улыбнулась хозяйка, — хотите Нюрочку?..

— Пожалуйста, — кисло сказал я, — дайте Нюрочку.

— Анну Петровну, — поправил чей-то мужской голос сбоку. — Разрешите представить: моя жена Анна Петровна… Я, видите ли, остаюсь в банчок смазаться, а уж если вы будете так добры…

Анна Петровна окинула меня быстрым взглядом, всунула в капор голову и лизнула хозяйку в губы.

— Едемте… Как вас… Арсеньев?

— Арсений Петрович, — сдержанно ответил я, — Сала-мин.

— Это что такое Саламин?

— Фамилия моя, — сухо ответил я, — Арсений Петрович.

— Ах да, да… Мне о вас говорила Катя. Это у вас жена в тифе лежит? Как жалко…

— Нет. Благодарю вас. Я не женат.

— Вы настройщик? Да? Мне Катя тоже говорила.

— Врет ваша Катя, — холодно возразил я. — я журналист.

— Ах, вот как… Это интересно… Стихи пишете?..

На улице не было ни одного извозчика, и мы пошли пешком. Анна Петровна шла, опираясь на мою руку.

— Удивительные эти мужчины, — говорила ока, смеясь. — Вот сейчас видели эту толстую даму в бархатном? Нет? Ну, вот которая мне о своей квартире рассказывала… Она сейчас хотела, чтобы ее кто-нибудь проводил, — так ведь никто не согласился… А нам, у которых рожица смазливая, стоит только захотеть, и все побегут… Вот вы, например, пошли бы ее провожать?..

— А где она живет, эта ваша дама?

— Да вот тут за углом…

— Пошел бы, — сурово ответил я. — тут недалеко… Мне еще работать надо…

— Ну да, пошли бы, — снова засмеялась Анна Петровна, — это вы просто чтобы меня заинтриговать, говорите… Старый приемчик, милый мой… Я опытная… А меня так с удовольствием… И в другую сторону от дома пошли… Верно?

— В другую. — с тихим сожалением сказал я, — верст шесть от меня будет…

— Ну, вот видите… Для меня так и шесть верст пустяки, а для старухи полверсты жалко… Эх вы,

рыцари… Именно самцы, и ничего больше… Я вас всех как насквозь вижу… Дай-ка, мол. провожу, может, что-нибудь и выйдет…

Я лично смутно догадывался, что ничего хорошего из провожания на другой конец города выйти не может, кроме того, что мне придется похоронить сегодняшнюю работу и завтра подниматься в восемь утра, однако не высказал вслух этих соображений, а только обиженно возразил:

— Ну, помилуйте… Ничего, ничего… Я провожу..

— Я и говорю… Идете и думаете: скорей, мол, на извозчика, поедем… Там заведу разговорчик о том, что устал, что все равно работать сегодня не хочется…

— Хочется, — уныло вставил я.

— Ну, вы для смазливой женщины и работу готовы бросить… Не первого вижу… Начнете говорить о том, что как хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана…

— Я не пью шампанского…

— Э, милый мой, это все вы только до ресторана говорите, а потом так набрасываетесь, что не оторвешь. Послушайте, Арсеньев, это там извозчик стоит?

— Саламин, а не Арсеньев. Да, извозчик. По-

звать?

— Ну конечно, вы как все, как две капли воды… Сейчас наймете извозчика, сядете ко мне чуть ли не на колени… Больше полтинника ему не давайте… Не едет… Ну. дайте шестьдесят… Садитесь вы слева… Только, пожалуйста, без этих обниманий, я не ребенок — не выпаду из саней…

— Я не обнимаю, — тихо оправдался я, — честное слово…

— Ну, не обнимаете, так будете… Дайте сюда руку да держите крепче, я поворотов боюсь… Ну, начинайте… Рассказывайте о том, что вы одиноки, что у вас душа ищет теплоты и сочувствия, что вам так нужна женская отзывчивость… Ох, как вы все до ужаса одинаковы… Сначала, конечно, предложите немножко покататься… Я знаю это «немножко»… Да, да, да, знаю… Извозчик, сколько за час? Что? Рубль семь гривен? Много… Полтора хочешь?.. Ну, потом двугривенный прибавит… Только поезжай скорее. Ну, вот — достигли своего. Шаблонные людишки. Вырвали свое. Рады?

— Рад, — жалобно улыбнулся я. — спасибо…

— Ну конечно, — иронически засмеялась Анна Петровна, — чего же вам больше надо… Хоть бы в одном каплю оригинальности нашла… Сейчас в ресторан потянете…

— Я не люблю ресторанов, — тоскливо ответил я, — в них шумно…

— Ну, уж это слишком, господин… Малакин, — возмущенно заговорила Анна Петровна, — не смеете же вы меня к себе на квартиру звать… Помните, что у меня муж…

— Я помню, помню, ей-богу помню, высокий такой, черный, — испуганно заметил я, — только я не думаю, вы поверьте… Если я о ресторанах сказал…

— Ну вот, ну вот… Что я говорила, — торжествующе сказала Анна Петровна, — у него уже ресторан с языка не сходит… Старый, говорила уже вам, приемчик… Сидите, наверное, и обдумываете, какой бы найти ресторан подешевле. Только имейте в виду, что я в скверный ресторан поехать не могу, я вам не горничная, которую можно куриной котлетой покорить… Если уж так не можете от меня отстать… Извозчик, «Рим» знаешь?.. Что? Какой же ты извозчик… Тебе бы настройщиком быть… hx, пардон, пардон… Я оскорбила вашу профессию… Вы. кажется, сердитесь, мосье Калугин?.. Ну, хорошо, не сердитесь — я и так уступаю всем вашим прихотям… Ну что, извозчик, вспомнил?.. Только скорее… Терпеть не могу скверной езды… Ну что, добились? Эх вы…

Плотоядные…

В ресторане, упрекая меня за то. что я всеми силами стараюсь отговорить ее от ужина в общем зале. Анна Петровна велела приготовить все, что надо, в большом отдельном кабинете. Весело забегали лакеи. Я прощупывал через боковой карман унылую наличность в бумажнике. Пить Анна Петровна не хотела, но, повинуясь моему нескрываемому желанию ее напоить, чтобы она развязала мне руки для шаблонных мужских поступков, она велела заморозить две бутылки шампанского.

После недавнего ужина я с тихой обидой смотрел на красиво разложенных рябчиков, которым Анна Петровна с детской шаловливостью отламывала лапки, и мысленно складывал и устрицы, и шампанское, и кофе в один плохо утешавший меня итог. Анна Петровна пила маленькими глотками шампанское, розовела и искренне смеялась над тем, как легко она видит насквозь все мои стремления.

Хватаясь за последнюю попытку оставить себе, для срочной статьи, хоть самый маленький остаток утра, я ничего не пил и тоскливо поглядывал на часы.

— Не пьете, — вскинула глазами Анна Петров-

на, — спаиваете меня… О нет, это не пройдет… Нет, это не пройдет… А замыслы ваши… Сядьте сюда рядом… Я не могу смотреть на ваши глаза… В них что-то цинично-мужское…

— Да уж… глаза, — вежливо согласился я, — действительно, это вы…

— Не глупите… Я прекрасно понимаю… Ну, вот одно условие, — я разрешаю вам меня поцеловать, но только чтобы не было этих взглядов… Поцелуй ни к чему не обязывает, а эти взгляды… Ух, какая гадость… Ну, целуйте…

— Да нет… Что вы. — покраснел я, — я, право же, не хочу…

— Ну, милый мой… Я не из тех женщин, которых можно провести скромностью… Ну, целуйте один раз, шут с вами, только больше не приставать… Ну, вот сюда…

Я вздохнул и поцеловал ее в губы, на мгновенье почувствовав горьковатый запах рябчика и шампанского.

— Ну, будет, будет… Зверь… ну, поехали…

Прощаясь со мной около своего дома, Анна Петровна вдруг сделалась серьезной и сказала строгим тоном:

— Я сейчас всю дорогу видела, какими вы на меня влюбленными глазами смотрели. Только,

пожалуйста, без глупостей… Я знаю — завтра же с утра начнутся звонки по телефону, когда меня можно видеть, когда нет дома мужа, где я гуляю… Помните, что я не одна… Я очень прошу… Если уж вы не можете утерпеть, я лучше сама позвоню… Какой номер? Один — пятьдесят один — двадцать шесть?.. Карандаша нет… Ну, хорошо, я запомню и так… Целуйте руку и — до свидания…

Когда я приехал домой, уже светало. Со злобой взглянув на часы, я оставил записку, чтобы меня не будили часов до двух, разделся и лег спать.

Утром, около десяти часов, около уха забарабанил телефон, я сорвал трубку и стал слушать расколотившего, как стекло камнем, мой тяжелый, после бессонной ночи, утренний сон.

— Да… Алло… Станция… То есть слушаю…

— Вы? — услышал я чей-то тоненький голос. — Силякин?

— Саламин. Я. Что угодно?..

— Это Анна Петровна… А вы уж, чай, на ногах? Одел, наверное, с утра смокинг, вертится перед зеркалом и дожидается минуты, когда можно было бы поехать сюда… Эх вы… Ну да ведь верно?..

— Я еще сплю, — хрипло ответил я.

— Ну, ладно… Других проводите… Я вас всех знаю — во как… Ну-с, милостивый государь, ко

мне раньше шести нельзя. Слышите?.. Только не вздумайте раньше… Я так боюсь, что вы прилезете раньше шести, что готова сама приехать, чтобы отговорить вас…

Сон быстро вылетел из головы. Я схватил обеими руками трубку и, делая на измятом лице вежливую улыбку, стал уверять Анну Петровну, что это неудобно, и напомнил ей, что у нее есть муж.

— В шесть буду… Честное слово буду, — упавшим голосом обещал я.

— Ну, то-то же, — сказала она, — а то норовит к двум часам забраться… Так к шести жду…

В половине шестого она предупредила меня, чтобы я не вздумал приехать к одиннадцати, а в шесть я сидел у нее за столом и пил чай. Было довольно много народа, клеился веселый разговор. Анна Петровна мало уделяла мне внимания и только изредка подмигивала какой-то даме с трясущейся губой и показывала глазами на меня. Дама отвертывалась в сторону и смеялась.

А когда почему-то зашел разговор о том, что все люди неискренни. Анна Петровна мило улыбнулась и кивнула головой на меня:

— Особенно мужчины… Они неискренни до ужаса… Вот возьмите господина Саламина… Он

влюблен в одну из находящихся здесь женщин, а ведь у него никогда не хватит смелости сказать открыто… И влюблен, как кошка… И все они на один лад.

Все засмеялись обидным смехом и посмотрели на меня. Муж злобно сверкнул глазами, сделался со мной исключительно любезным и даже зачем-то спросил, играю ли я в шахматы.

Уходил я с предупреждениями, чтобы не надоедал звонками…

Вот поэтому-то теперь, когда мне показывают какого-нибудь мрачного, худого человека и говорят: «Видите вот этого господина? Он влюблен в одну даму, а та на него и внимания не обращает. Он прямо с ума сходит», — я подхожу к этому человеку и, улыбаясь внутренней, одному мне понятной улыбкой, по-братски пожимаю ему руку…

Потомки

Много лет тому назад, выходя из дому, Пушкин вспомнил, что не захватил с собой чистого носового платка.

Вернувшись домой и после тщетных поисков не найдя этого платка, великий поэт оставил

на столе записку. Тис как Пушкин писал только стихами, то даже эта скромная записка была написана звучными строками автора «Евгения Онегина»:

NN! Когда б ты приволок
Мне носовой один платок!
Тебе я благодарен буду
И сей услуги не забуду.

NN, к которому была обращена эта записка, платка не нашел, но сверху приписал и свою просьбу, тоже стихами, так как в пушкинский период даже прозу все писали стихами:

О Пушкин, друга пожалей
И оставь у прислуги семь рублей.

В течение двух дней, пока бумажка валялась на столе, на ней появлялись новые и новые фразы.

«Был у тебя. Поедем завтра к Д. Ладно?» — писало на ней какое-то незнакомое лицо.

«Хорошая тема, — набросал на уголке сам Пушкин. — Грозный. Опричники. Лес. Большой монолог. Народ. Музыка».

«Был я. Приду завтра», — писало другое незнакомое лицо. На обратной стороне скучающий гость нарисовал козу. Бумажку вымел лакей.

Потом поднял ее и вместе с другими бумажками отдал прислуге на растопку.

Коза, нарисованная опытной рукой, привлекла внимание простодушной женщины. Она взяла бумажку и положила ее к другим бумажкам, так или иначе заслуживающим внимания.

Судьба играет человеком. Кухарка вышла замуж. Через восемьдесят лет ее внук, ветеринар в одной из глухих провинций, разбирая архив бабушки, аккуратно сложенный покойницей в коробке из-под карамели, нашел бумажку, на краешке которой стояла подпись гениального поэта.

Через две недели ее вертели в руках два исследователя Пушкина, которых многие осторожно звали пушкинианцами. Это ремесло перешло им по наследству; к этой профессии они приучали и своих детей обоего пола.

— По-моему, Пушкин, — уверенно сказал один из них, прочитав бумажку, — и фамилия похожая: Пушкин, и год подходящий…

— Опять же по козе видно, — согласился другой, — кто, кроме автора «Полтавы», мог так нарисовать это простое животное? К тому же этот ритм в стихах: «Был у тебя. Поедем завтра к Д.».

— Это, кажется, проза…

— Это проза? Ну, знаете… Тут даже непоэт окон-

чание припишет: сегодня я, а завтра ты в беде… Слышите?

— Что ж, я не пушкинианец, что ли?! Слышу.

— Дополним?

— Воспроизведем.

— Издадим?

— Может быть, вы думаете, что я миллионер, что у меня по особняку в кармане, чтобы я стал спорить?..

Приблизительно через месяц в одном из журналов, печатавшем большей частью варианты ненаписанных стихов гениальных людей, появилось новое неизданное стихотворение Пушкина. Из уважения к автору оно было названо посмертным.

Стихотворение имело, после тщательной обработки его, приблизительно такой вид:

NN! Когда б ты приволок

Мне чистый носовой платок.

О Пушкин, друга пожалей

И оставь у прислуги (вариант: прислуге) семь рублей.

Был у тебя. Поедем завтра к Д.

И будем оба мы везде.

Опричник. Грозный. — Тема вот.

Лес, монолог большой, народ.
Был я. Приду к тебе опять.
Играть. Кидать. Пытать. Шагать.

Споров по поводу стихотворения почти не было. Некоторые пытались из упрямства приписать его Лермонтову, ссылаясь на нарисованную козу, так как Лермонтов был на Кавказе, где коз очень много, но пушкинианцы не выпускали добычи из зубов, и пришлось им уступить.

Когда неизданные стихи увидел режиссер большого идейного театра с повышенной платой на места, он побледнел, схватил себя за сердце и упал на стул.

— Бедные мы, — успел простонать он, — другие возьмут и сделают…

— Успеем, — успокоил его близкий человек, притворяя дверь. — инсценируем за один присест… Это не энциклопедический словарь в четыреста двух полутомах в кожаных переплетах… Сядем вместе, и пьеса будет…

Инсценировали стихотворение для большой обстановочной пьесы. Сначала хотели переделать в комедию, чему сильно способствовала развязная поза козы, нарисованной на обороте, и история с носовым платком. но для памяти

Пушкина это показалось неудобным. Решили остановиться на вполне законченной исторической драме.

«Декорации-то нетрудно сделать, — хмуро думал режиссер. — художника только хорошего надо позвать: в первом действии все на фоне носового платка, во втором можно завтрак в сукнах, в третьем монолог зеленой краской с желтыми переливами… Вот четвертое… Не то козу эту самую живую поставить, не то в духе Грозного…»

Пьесу писали заново, придерживаясь пушкинского замысла. Содержание получалось довольно яркое и, как об этом не раз высказывался в интервью с репортерами сам режиссер, выдержанное в духе творчества гениального поэта.

Молодой опричник во время чтения монолога теряет носовой платок. Появляется незнакомец в маске, который говорит, чтобы ему за платок выдали семь рублей, иначе он грозит уехать к Д. За сценой настоящий мотор гудит в настоящий рожок. Для реальности в первых рядах даже пахнет бензином. Опричник не соглашается на такую трату и уходит в лес, собрав пред этим громадную толпу народа и объявив ей. что эти семь рублей он оставляет своей прислуге, а так как у него прислуги нет, то эти деньги берет с собой коза.

Кончается пьеса выходом NN. загримированного под Пушкина, с последней краткой фразой: «Был у тебя, приду опять…»

Так как слов для всех действующих лиц не хватило, пришлось их заимствовать из других неизданных произведений разных авторов.

Диалоги получались хотя и красивые, но часто не соответствовавшие развитию фабулы.

— Была та смутная пора, — горячо говорил герой пьесы, — когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужалась гением Петра…

Героиня, не давая ему докончить фразы, возражала уверенно и сердито:

— Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть.

Ссора кончалась только благодаря вмешательству третьего лица, введенного в пьесу режиссером для заполнения пустого места, у настоящего розового куста с чудными плодами, причем это третье лицо давало резюме, мирившее всех:

— Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь.

В одном месте, где пушкинские неизданные стихи были слишком неуместны, а нужно было все же брать что-нибудь из пушкинского мате-

риала, герой пьесы читал большой монолог из ежедневной газеты о необходимости устройства лечебницы для алкоголиков имени великого поэта.

Пресса в своих мнениях о пьесе раскололась на две неравные части. Большая, не получившая контрамарок на премьеру, укоряла декоратора и вторые персонажи в чрезвычайно долгих антрактах; меньшая часть, уступившая свои контрамарки родственникам жен, наоборот, пьесу выдвигала, сравнивая ее даже с «Крейцеровой сонатой» по звучности стихов…

И только один экстерн, прочитав к экзамену «Капитанскую дочку» и сделавшийся внезапно поклонником Пушкина. — скопил от продажи старых учебников семнадцать рублей, поехал на могилу великого поэта и выразил свое мнение по поводу пьесы. Взял бумажку, прикрепил ее ржавым гвоздем к ограде и вывел большими кривыми буквами:

«ЗДЕСЬ ПЛЕВАТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!»

1915

Философские стихи

Птичка Божия не знает
Ни труда и ни забот:
Птичка сахар не скупает
И муку не бережет.

Птичка в песнях век проводит.
Ей не скучно без вина.
Птичка в лавочку не ходит —
Ей и мелочь не нужна.

Птичка спрыгает в курятник,
Пару зернышек сопрет.
Птичка Божия — не ратник
И на службу не пойдет.

Птичка Божия не плачет.
Ей нельзя газет читать.
Для других она не скачет
В кружку деньги собирать.

Завтра выберу полено —
Не забыть бы только мне —

И уверенно задену
Птичку Божью но спине.

Перед кем мне быть в ответе?
Это ж свинство бытия:
Почему на белом свете
Не родился птичкой я?..

«Новый Сатирикон», 1915, № 48

Евгений ВЕНСКИЙ

Мое копыто
Пародии

Константин БАЛЬМОНТ

Хочу на дачу… Хочу к чухонцам…
Хочу столицу скорей забыть.
Купаться в море весь день под солнцем.
Варить варенье и сливки пить…
Столичной жизни забуду вздорность,
Гозет, кузенов, жены родню.
Забью забором дверь в коридорность.
Счастливо-гордым себя возмню.
А вечер — еду винтить к соседу…
А ночью — в садик, и там кучу.
Итак, я еду на дачу в среду…
Ни слова, теща! Я так хочу.

Михаил КУЗМИН

Жалко, что вы не любите «Давыдки»[3].

---

[3] Примечания: 3
«Давыдка», «Вена» — петербургские рестораны.

В интересной драповой вы ходите накидке.

Впрочем, иногда и в «Вене»

Подают удивительно микроскопические пельмени.

Говор, шум, пахнет пивом, немножко грязно…

Как в «Свадьбе Фигаро», — пленительно-буржуазно.

Приходите завтра, — обязательно с Эйленбургом.

В этой шапке вы смотрите драматургом.

Вы замечательно талантливый и хороший…

Позвольте расцеловаться с вашей калошей…

Леонид АНДРЕЕВ

Безумие и ужас… Над всей моей жизнью тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятьем, я с младых ногтей своих нес тяжелое адское бремя злобных печалей, ужасных болезней и страшного горя, и никогда не заживали на пористом сердце моем кровото-

чащие травматические раны. Казалось, воздух губительный и тлетворный окружал меня, как невидимое прозрачное облачко. И никого не было около меня. И никакого Бога не было. И дьявола не было. И людей тоже не было. Рожи одни были. Множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи. И страшные и зловещие рожи… И вот сейчас придут они, и съедят меня, и раскусают меня на части…

Словно сотня миллионов адских экспроприаторов шушукаются у зловещего окна, и, будто злобный осенний ветер, шелестит их мрачная роковая злоба. Треск! Что это? Это ты, Серый? Я не боюсь тебя. Серый! Изменников и предателей сажают в «Кресты»! Я не боюсь тебя, Серый! Как страшно ворочает кто-то мою серую стену. Это они!.. Будто смерч, поднявшийся со дна громадного чудовищного моря, и словно самум, летящий по раскаленной пустыне, будто стадо диких черносотенных бизонов мчится по пампасам Южной Америки, так и они взломают мою стену. И убьют меня, будто щенка, отчаявшегося найти правду жизни. Но я не боюсь вас, экспроприаторы! Чу! Слышен шепот! Слышен топот! Слышен ропот!.. Идут! Словно десятки миллионов гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь.

Рата-плян, плян, плян. Трам! Трам! Трам! Идут предместья моего кабинета. Идут защищать хозяина. Разве можно удержать падающую лавину? Это Степанида бьет в заслонку. Кто осмелится сказать землетрясенью: стой, досюда земля твоя, а дальше не трогай! Это Марфа громыхает ухватом. Идут предместья. Трам, трам, трам… Гремит оружие. Это Максим точит топор! К оружию, граждане. Собирайтесь в батальоны. Максим! Будь корпусным. Рота, пли! Идем! Спасена свобода! Марфа! К шестой дивизии! Степанида! На левый фланг шестой полуроты! Играй же, музыка, труби победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит…

Будто зловещий, суровый и тяжелый рок висит над всей моей жизнью. И никогда не заживают мои кровоточащие раны и несчастья, мы убили поросенка, что чесался у моего серого зловещего окна…

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ

Formula inltlalis. После Бородинского сражения, в палатке для раненых, доктор с окровавленными руками держит одной из них сигару между мизинцем и большим пальцем, чтобы не запачкать ее.

Antecedens. Гениальный штрих, достойный

кисти Винчи, Беклина, Левитана, Айвазовского…

Connexio. В нем заключено: и непрерывность ужасной работы, и отсутствие телесной брезгливости, и равнодушие к ранам и крови, и усталость, и желание забыться. Сложность всех этих внутренних состояний сосредоточена в одной маленькой телесной надобности — в положении двух пальцев, описание которых занимает полстрочки.

Точно так же необходимо указать на такие штрихи, достойные кисти (см. каталог галерей: Третьяковской. Мюнхенской, Римской, Парижской и т. д.), — маленькая, хорошенькая, с чуть черневшими усиками, чуть-чуть короткая по зубам, верхняя губка молодой княгини Волконской; тяжесть обрюзгшего тела Кутузова, его ленивая старческая тучность, белые пухлые руки Сперанского…

Таких примеров я приведу около двухсот. Поставлю их в таком порядке и наконец представлю.

Consequens. Из сего следует, что Толстой есть величайший тайновидец человеческой плоти. Лев Толстой есть величайший изобретатель этого не телесного и не духовного, а именно телесно-духовного, душевного человека, той стороны

плоти, которая обращена к духу, и той стороны духа, которая обращена к плоти…

Достоевский в противоположность Л. Толстому…

Formula finalis. Припоминаю интересный анекдот из жизни и творчества Винчи. А в общем, Толстой и Достоевский знаменитые писатели.

1910

Остались лазейки

«Дождались мы светлого мая.
Цветы и деревья цветут…»
И, длань на печать поднимая.
Законы с угрозой ползут.

«Спокойно ложись на полати
И лапу блаженно соси…» —
Вот новый закон о печати.
Смиряющий резвость Руси.

Заснуть ли?.. Возьмутся ль за лапу?
Умрет ли навеки печать?
Опять не придется сатрапу
Вторые законы писать?

Заплачет бедняга издатель.
Редактор поплачет за ним,
За ним коновод-подстрекатель,
Передовик-аноним.

Заплачут политики кучей,
Забыв вызывающий тон;
Повоет без рифм и созвучий
Строчащий в стихах фельетон.

Корректор заплачет, читатель;
Читателев сват и свояк;
Читателев дальний приятель
И ближний читателев враг.

Там все предусмотрено строго,
Кружится кругом голова.
Но все ж, попущением Бога,
Останется пресса жива

И будет сильна и здорова, —
Ее не покроет кора.
Читателя кот и корова
Забыты в законе!.. Ура!!

В законе о них ни полслова,

О, как еще много свобод!
Читателя кот и корова
Доставят немало хлопот.

«Новый Сатирикон», 1913, № 2

Ну и времечко!

Где-то возле Брынска-града
Жил когда-то Воробей,
Распевавший средь ветвей
Слаще меда-лимонада.

То был век богатырей.
Мы теперь таких не сыщем.
Звал себя и Воробей
Сверхмогучим Воробьищем…

В наше время крупных краж
И свирепых спекуляций
Сдан в архив без апелляций
Исторический кураж.

Нет гордыни, хоть убей!
Всяк в толпу пугливо жмется,

И разбойник Воробей
Воробейчиком зовется...

«Новый Сатирикон», 1915, № 46

Обыватель

Ах, Господи Боже,
Чего же, чего же?
Не знаю, — досада.
Чего бы мне надо?

Восторга?.. Порыва?..
Подумаешь, — диво!
Нирваны?.. Не надо.
Досада, досада!..

На выставку?.. Скучно.
В театр?.. Несподручно.
На лекцию?.. Скука.
Взять книжечку?.. Мука.

Чего же мне надо?
Стакан шоколада?
Ни кофе, ни чаю, —

Убей, — не желаю.

Отрады молитвы?
Иль отзвуков битвы?
Шантанного танго
Иль яри мустанга?

* * *

Тоскливо… Тоскливо.
Стаканчик бы пива.
О, где ты, отрада?..
Пивишка мне надо!

Я душу больную
Отвел бы в пивную.
За стол усадил бы,
И пил бы я, пил бы…

О, муки надрыва!
О, где же ты, пиво?!

Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Nihil[4]

Я часто прохожу к себе во флигель
И вижу каждый раз под будкой у ворот
Собаку старую с латинской кличкой Nihil.
Студенты звали так, и дворник так зовет.

Умело брошена студенческая кличка.
Вы знаете ли взгляд, когда еще он жив.
Но в нем уже «ничто»? И если б не привычка
Дремать здесь у ворот, на лапы положив

Свою спокойную всезнающую морду.
Собака старая издохла бы давно:
Так всеми благами пресыщенному лорду

---

[4] Примечания: 4
Ничто *(лат.).*

Бывает — жить ли, умереть ли — все равно.

Я никогда не видел столько безразличья
Ко всем и ко всему. Такой покой нельзя
Напрасно нарушать, но — чудится — покличь я.
Она не шевельнет зрачком, по мне скользя.

Вдаль простирая взор и старческие скулы,
Поросшие седой лохматой бородой.
Она молчит. Слышны ль ей городские гулы,
И лай собак, и хохот дворни молодой?

Над ней рой жалящих, звенящих насекомых.
Взмахнув на них хвостом… да стоит ли того?
Она похожа на кого-то из знакомых.

Но только вспомнить не могу я, на кого.

«Новый Сатирикон», 1915, № 30

У нас всегда 1-е апреля

Ну, хоть первого апреля — в день, когда разрешено, —
Врите вдосталь, врите щедро, лейте враки, как вино!

Выходите на пороги отомкнувшихся дверей
И ревите вольным ревом разыгравшихся зверей.

Похваляйтесь тем, что ваши домочадцы, как в раю.
Не насытятся, смакуя долю сладкую свою.

Выходите, папы, мамы, выволакивайте всех
Ребятишек, чтобы миру показать их «бодрый смех».

Жены сверху, жены снизу, из квартир и этажей

Выбегайте, щеголяя буйной радостью мужей.

Ковыляйте и мужчины, затаив на сердце шрам

И с размазанной улыбкой по измученным губам.

Выползайте, журналисты, из редакций: полным ртом

Уверяйте, что в «принципах» — весь ваш «стол» и весь

ваш «дом».

Эй, художники, поэты и носители идей,

Заполняйте дыры улиц и прорехи площадей.

Шумом, гулом, визгом, звяком ваших лгущих голосов

Заглушайте правду жизни: к черту правду! На засов!

Ах, хотя бы врали смачно, врали смело, как борцы,

Если правды ваши дрянны, как гнилые огурцы.

Пусть хоть этот лживый праздник будет весел, будет пьян.

Пусть хотя б в одном обмане надоест и вам обман.

Выходите ж, выбегайте, выползайте, господа. —

Будем врать, чтоб уж навраться нам сегодня на года…

И авось настанет чудо! Солнце к завтрему взойдет

И увидит: кто-то где-то дышит, смотрит… и не врет!

«Новый Сатирикон», 1916, № 14

Владимир ВОИНОВ

Жизнь человека

Сидел в трактире. Пил и ел.
Потом внезапно заболел.
Потом упал на грудь земли.
Потом подняли, повезли.
Потом мозги окутал мрак…
Карета черная… Барак…
Носилки подали…
Кладут… Несут…
Опять кладут… Капут!

«Сатирикон», 1909, № 41

Музыкальный критик Дурной

Басня, пожалуй
Однажды, а когда — я позабыл число,
Дурного на концерт зачем-то принесло.
Окинул взором зал. взял место, где не глушит.
Уперся в землю лбом, развесил чинно уши
И принялся внимать с улыбкой на тубах

Тому, что написал когда-то немец Бах.
Ворочались смычки, аккорды трепетали.
Сердился контрабас, тромбоны рокотали,
И вот уже вошли в круг баховских идей
Все «сорок человек и восемь лошадей» —
Весь доблестный состав прелестного оркестра:
Отчаянно махал конечностью маэстро:
За звуковой волной плыла опять волна,
Мистического трепета полна.
Проснулся старый Бах. Толпа заволновалась,
И в души слушавших, как в пропасти, вливалась…
И чутко приняла великого творца
От самого начала до конца.

У входа полисмен — и тот залюбовался…
Один только Дурной сидел и улыбался.
Потом сердито встал и плюнул на паркет:
«Mon Dieux![5] какая дрянь! Ведь это ж винегрет!
Где девственность игры? Скрипичная невинность?
Где эти сладкие клубничность и малинность,
Которые в своей стыдливой наготе
Уносят нашу мысль к предвечной пустоте?

---

[5] Примечания: 5
Боже мой! *(фр.).*

Аккорды труб должны огнем вливаться в вены,
—
У вас они сверлят лишь потолок да стены
И глохнут, как старик столетний на одре.
У сцены бьется звук, как в кожаном ведре,
Теряя красоту, воинственность и зычность.
Рождая в голове одну ка-ко-фо-ничность.
О, не играйте так! Я вас молю, прошу.
Иначе я о вас такое напишу…»
Тут кто-то оборвал ворчливого Дурного:
«Послушай, борода! Да это же не ново!
Пиши об этом всем в свой «Вестник», «Голос», «Край»,
Но только знай:
Коль в критики тебя пришлось избрать судьбе.
То прежде отнесись критически к себе, —
Под черепом своим учти-ка всю наличность:
А ну, как там всего одна ка-ко-фо-ничность?!»

Сатирикон». 1912. № 10

«Жуть зеленая»

В дни «культуры и прогресса»,
Исхудавшая, как тень.
Молчаливо терпит пресса
Ото всех кому не лень.

Кроме мелких унижений,
Ничего теперь не ждешь
От различных «положений» —
Щекотливых, точно еж.
Подвозить «идею» к «массе»
Нужно, трепетно дрожа.
Будто «зайца» в третьем классе
Под тюками багажа;
А покажется наружу
ГЪлова твоих затей —
Полезай, голубчик, в лужу.
Словно в песенке детей:
«Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет,
Пиф!
Паф!
Ой-ой-ой!..»
Вмиг
Штраф!
Да такой.
Что расчетливый издатель
Станет впятеро «умней».
Унеси меня, создатель.
От «культуры» наших дней!

«Сатирикон», 1913, № 2

Рыцарю скорби и гнева

Неугасимые слова.
Мы вам споем и про наяду.
И про кипучие ключи.
Но в наших песнях много яду.
Но в наших красках есть бичи!
А рыцарь скорби, рыцарь гнева
Нас упрекнуть всегда готов
За прелесть нашего напева.
За легкость звуков и цветов:
Он любит мир, где свечи тают,
Где глухо стонут голоса,
Где над покойником читают
И рвут от боли волоса.
Он равнодушен к чуткой лире.
Он от слезливости ослеп
И видит в целом Божьем мире
Одни кресты да черный склеп…
Не нападай на нас, дружище!
Раскинь, миляга, головой:

Что хуже: «смех ли на кладбище»
Иль над «живым» надгробный вой?

«Новый Сатирикон», 1913, № 28



Георгий ВЯТКИН

Пятый

Загадочная картинка

Сошлись случайно, как бывает всегда
(Не в этом ли наша беда?),
Земский статистик.
Писатель-мистик,
Фотограф,
Этнограф,
А пятый… черт знает кто.

Постояли пятнадцать минут у буфета
И прошли в читальный зал.
Там статистик к чему-то сказал.
Что не любит поэзии Фета.
И прибавил притом.
Что поэт должен быть гражданином…
Согласились с ним молча. Потом
Пробежали газету.

Подходили к буфету.
Играли в карты, в бикс и в лото:
Земский статистик.
Писатель-мистик,
Фотограф.
Этнограф,
И пятый — черт знает кто.
Играли небрежно, всё спорили больше:
О турках и сербах, о Вене и Польше.
О русской публике,
О китайской республике
И о том, что пора бы и нам по примеру Китая…
Так, волнуясь, вскипая и тая…
. . .
И, вновь зарядясь у буфета,
Просидели почти до рассвета.
А назавтра был обыск у мистика
И статистика,
У фотографа
И этнографа.
. . .

Так всю жизнь играем,

И не только в карты, бикс и лото:

Четверо добрых знакомых, которых мы знаем.

А пятый — черт знает кто.

«Сатирикон», 1913, № 44



Сергей ГОРНЫЙ

Как можно стать знаменитостью

I

Написал рассказ.

«…И они шли оба молодые, сильные, изящные, красивые, шли беззаботно и весело.

И казалось…»

Обязательно что-нибудь казалось!

(Принес один раз рассказ, где ничего не казалось, редактор даже не стал разговаривать.)

«…И казалось, что эти две фигуры — одна стройная, легкая, в белой, плотно облегавшей ее кофточке, под которой угадывалась высокая молодая, девственная грудь, и другая, в косоворотке, с мягкими, пушистыми волосами. упрямо и задорно выбивавшимися из-под студенческой фуражки, — одно целое в этом великом празднике солнца, смеха, цветов и весеннего приволья».

«И было странно…»

(Это тоже обязательно.)

«И было странно, почему они идут рядом, разделенные тканями рубашки, кофты, а не лежат

тут же, в цветах, белые, стройные, молодые, как счастливые, смеющиеся боги.

— Сегодня жарко, — произнес он.

Я хочу тебя, означало это.

И она поняла.

— Да… жарко, — ответила она.

И это означало:

— И я.

Он понял.

И она поняла, что он понял».

(Без последних строк я не рисковал даже показать в редакции.)

Но дальше шло самое важное.

«…И оттого, что повсюду в оврагах, за зелеными, мягкими кочками верещали что-то неугомонное быстрое, неразборчивое невидимые стрекозы, становилось как-то странно и жутко, свежо и радостно. Хотелось что-то угадать, всплеснуть руками и засмеяться. Обняться обоим, таким молодым, дрожащим и радостным, и побежать по полю, по цветам, по мягким зеленым кочкам, перебирать легкими упругими ногами…»

— Ну, а «казалось, что кто-то» есть у вас?

— Как же! Помилуйте.

Я даже усмехнулся. Попробовал бы прийти без этого.

Быстро перевернул несколько страниц и ткнул пальцем.

«За окном сгущалась тьма.

Словно кто-то огромный черный, больной и страдающий припал к стеклу и…»

— Хорошо. А дальше что?

— А дальше они приходят домой. Дома обыск.

Вот здесь.

«…Из темноты послышался чей-то голос. И потом мелко-далеким, чуть слышным звоном донеслось позвякивание шпор, словно кто-то жаловался на какую-то обиду тоненьким, наивным голосом. Хотелось прильнуть к этой темноте…»

— Хорошо. Ну, а дальше?

— А дальше на его глазах насилие над нею.

«…Он увидел только измятую, изорванную сорочку, высокие, девственные, словно недоумевающие груди и рассыпавшиеся волосы. С обнаженной ноги одиноко и сиротливо свешивалась голубая, словно удивленная подвязка».

— И все?

— Да еще пара страничек, и все.

Редактор протяжно свистнул:

— Не ходовой товар.

У меня по спине пробежали мурашки. (Хозяйка. Сапоги. Долг в лавку).

— Неужели не подойдет?

— За кого же вы нас, батенька, принимаете? Нынче не в ходу… Чем вздумал удивить? Шпоры… Жандармы… Скажите!.. Старье-с.

И, заметив в моих глазах мрачную решимость, прибавил:

— Кое-что, в виде аванса, могу дать.

И незаметно сунул зеленую бумажку.

II

Пришел через две недели.

Худой, небритый, голодный.

Мрачно протянул ему небольшой сверток.

«…Бежал домой. Казалось, что бежали за ним, приседая, мигавшие желтые фонари, мчались, скаля зубы, уродливые извозчичьи лошади, и пешеходы сторонились, хитрые, знающие, и провожали его острым, беспощадным смехом.

Бежал и смех за ним.

Юркий, увертливый, острый.

Взбежал на лестницу. Остановился.

Где я?

Попробовал пульс. Стал считать.

Долго считал.

— Тридцать два… а дальше?

Долго не мог вспомнить, как дальше.

— Это она. Агарь.

— Ха-ха! Она моя сестра. Все равно.

Все завертелось. Желтые круги, словно шапки подсолнечников, лизнули воздух. Дрожащей рукой взялся за ручку двери.

— Да… я не одета…

— Ха! Все равно!..

Взметнулось близкое, белое, рванувшееся тело.

Что-то липкое, красное, горячее залило рот, щеки, уши, глаза.

— Я давно ждала тебя…»

Редактор дочитал до этого места, отрицательно покачал головой, закрыл тетрадь и. порывшись в кармане, протянул небольшой золотой кружок.

— Аванс в счет будущего. Вместе с прежними — восемь.

III

Через две недели я свернул новую рукопись в трубочку и вышел из дому.

Дворник, стоявший у ворот, скользнул по мне взглядом и вдруг покраснел.

Что это? Случайность? Или виден кусочек какой-либо иллюстрации? (Кое-что для наглядности я рисовал.)

— Срам… На заборах рисуют… А еще барин…

Дальше я не расслышал.

Прибавил ходу. Спрятал рукопись глубоко в боковой карман.

Проходя мимо ломовых извозчиков, увидел, как один из них оборвал ругательство на полуслове и потупил глаза.

Неужели на них даже на расстоянии действует новый рассказ?

Прибавил шагу. Торжествующе вбежал в редакцию.

— Ну?

. . .

Через пять минут я лежал в объятиях редактора. В кармане у меня приятно шуршали две радужные бумажки.

— Дорогой мой, вы гений. Да ведь все они, нынешние, мальчишки по сравнению с вами. Ширь… Полет… Эдак мы вдвое подписку увеличим. Вы берете быка за рога. Все слова, все понятия чисто русскими знакомыми терминами. Без ложного стыда… Долой буржуазные пережитки. Долой ветхие слова! Как мне понятно наше молодое дерзновение.

И он плакал от радости мне в жилет.

Юмористическая библиотека «Сатирикона»,
1913. выпуск 79



В жару

Над водой толкался бестолковый комар и, словно пьяный от лета, жары, солнца и веселой, зеркальной влаги, нырял, припадал к воде и взлетал, оставляя мелкие, еле дрожащие круги.

Козодоев удил.

«Шипишпер. — думал он, — тот действительно клюет с утра, но опять же, как решишь: на живца или другую приманку. Окунь, тот клев особый имеет, а минога, скажем, другой… Да. Сидишь себе в Тарховке, маленькой удочкой, лесой, крючком ловишь уклейку, где же здесь стихийная радость борьбы, хитрость человека, победа и гордость?..»

Козодоев переменил червяка и, поплевав, закинул красный, дрожащий поплавок подальше

от дерева.

Было жарко, и распаренная истома шла от деревьев, травы, желтого хрустящего песка и даже воды.

И мысли Козодоева были тоже словно пыльные, жаркие, потные и лениво цеплялись одна за другую, толкаясь, давясь и распластываясь.

«В гарпунщики бы поступить, это тебе не удочка. Или сетями. Выехать утлою лодкой. Ундину какую-нибудь встретить вроде Марьи Николаевны… Поймать бы ее в сети. От Зины уехать… В кожаной куртке, обрызганный морскими волнами, при свете ущербной луны… Почему ущербной?» — подумал лениво Козодоев, смотря на свою правую руку, где около большой жилы сидел спокойный, довольный, наливавшийся красным комар.

«Пьет мерзавец. Ему и дела нет. Кровопиец. Чистый продукт получает… Шибзик, тонкий такой, в самую центру бьет».

И Козодоев с уважением посмотрел на улетавшего, распухшего комара.

«Сома бы какого-нибудь поймать. Стоять на носу, с острогой, у костра, в дыму и пламени — и целиться в какого-нибудь усатого урода. Иди акулу где-нибудь словить… У Тарховки, под самой

дачей, большая такая. Марья Николаевна идет купаться, а чудовище тянет ее за ногу. Я в кожаной куртке, быстрый, морской, отважный, в брызгах нашей реки расшибаю голову хищнику…

Или кита бы словить. Жене на корсет. Жира на всю бы зиму хватило. Кожу Володе для ранца. Сидеть бы под Тарховкой на утлой сайманке и ждать за льдиной. Холодно, радостно, чисто. Под Сестрорецком северное сиянье. У соседних дач сонные белые медведи. А ты один между белых скал, в прохладе, весь белый… Или кашалота какого-нибудь на жерлицу поймать. Дельфины, может быть, бы клевали. Ихтиозавров бы на белый хлеб подловлял. Марья Николаевна бы русалкой была… «Рыбак младой с русалкой нежной»… Коварная женщина. Надует она меня или не надует?.. «А рыбака уж нет нигде., и только бороду седую мальчишки видели в воде»…»

Козодоев спал.

Серебряные уклейки насмешливо ныряли у лесы, и где-то на берегу, здесь, в траве, о чем-то важно, хлопотливо и задумчиво жужжал шмель.

А вечером, выспавшись, Козодоев стоял перед соседним рыбаком Василием и, держа его за пуговицу, ласково говорил:

— Пойми, исчезла из жизни поэзия очарования,

удар рыцаря, смелый подсек окуня на крючке. Вы обезличили искусство, вы омануфактурили его, ввели массовое производство. Ваши сети — это фабрика, машина, бездушный штамп, товарное клеймо. В них нет поэзии, творчества. порыва. Они тупы, упрямы, прямолинейны. Пойми, есть сладость в сиденье лунной ночью, с чуткой дрожащей лесой, когда на крючке корчится издыхающий червяк и к поплавку близится важный, задумчивый окунь. Пойми, Василий, наши деды жили на дачах ярче, гуще мыслили, смелее любили. Они знали дрожь поплавка, непонятную, тайную грусть шилишпера, кольца миноги, плоское серебро ершей, моментально взлетавшее на воздух на упругой, взвившейся лесе. У них был риск, было единоборство, была игра, опьянение крови. Они ставили «Va banque» окуню, и темная Лета глотала их поплавки. Клюнет или нет?.. Ты изгнал из себя душу, Василий. В твоих мускулах расчет, холод, анализ. Ты продаешь фунтами, пудами, десятками. Стерлась индивидуальность окуня, подвижность яркой уклейки, раздумчивая важность сигов. Ты обезличил, стер, принизил искусство. Ты исковеркал русский пейзаж. Бывало, у речки, холма, у заворота. — у Левитана, Клевера, Шишкина, — Василий, сидел я, русский

рыболов, и удил. Слышишь? Удил. Сними шляпу, когда я говорю это слово. Ты ввел мануфактуру. российско-американскую мануфактуру. Против Ницше ты выдвинул толпу, массу, стадо, мелкие ткани сетей. Ты изломал, стер удочку. Ты богохулец. Ты опрокинул Тургенева, который сидел у Малиновой Воды. На золоте заката, Василий, русский пейзаж всегда требовал, — слышишь, Василий? слышишь, черт возьми, оптовик? — требовал силуэта рыбака с тонкой, острой чертой удилища. Ты стер этот штрих. Ты плюнул на него. Жизнь без задумчивых ночей, без тихого трепета окуня, без личности, выявленной, познанной, пойманной истины одинокого угря, трепещущего на синем английском крючке фирмы Шеффильд и Монозсон. Понял?..

Жара спадала.

Василий стоял на пыльном шоссе и виновато смущенно мял в руках порыжевшую шляпу.

Юмористическая библиотека Сатирикона».
1913, выпуск 79



Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Домовой

В пыльном дыме скрип:
Тянется обоз.
Ломовой охрип:
Горла не довез.

Шкаф, диван, комод
Под орех и дуб.
Каплет тяжкий пот
С почернелых губ.

Как бы не сломать
Ножки у стола!..
Что ж ты, водка-мать,
Сердца не прожгла?

1906

Река жизни

Летят метели, снега белеют, поют

века,

Земля родная то ночи поздней, то дню близка.

Проходят люди, дела свершают, а Смерть глядит.

Лицо умерших то стыд и горе, то мир хранит.

Родятся дети, звенит их голос, светлеет даль.

Глаза ребенка то счастьем блещут, то льют печаль.

Смеется юный, свободный, смелый; мне все дано!

Колючей веткой стучится Старость в его окно.

Бредет старуха, прося заботы ей дать приют.

Судьба и Память тупой иголкой ей сердце рвут.

И все, что было, и все, что будет, — одна река,

И Лете темной душою быстрой она близка.

«Сатирикон», 1909, № 4

Конь

Я вижу сильного коня.
Он над обрывом спину гнет
И зло копытом камень бьет.
Так негодующе звеня.

Над ним просторный горный склон
И ноги силой налиты.
Так отчего ж не мчишься ты
Наверх, под синий небосклон?

Движенья верные тесня.
Стянув два крепкие узла.
Веревка ноги обвила:
Я вижу пленного коня.

1909

Коню извозчика, издохшему на Вознесенском на днях вечером

Блудниц и пьяных шалопаев
И прочих русских седоков
Ты, враг моторов и трамваев,
Возил не хуже рысаков;

И где возил, там смерть приспела;
При всех ты ноги протянул.
Чтоб всякий загнанный несмело
Об участи своей вздохнул.

«Сатирикон», 1912, № 6

Нищий

О, как мне холодно, грязно, невесело
В этой весенней, разнузданной слякоти!
Небо под звездами тучи развесило —
Клочья белесой растрепанной мякоти.

Мутно-зелеными вьется волокнами

Свет фонарей, темнотой искалеченных.

Где-то вверху, за блестящими окнами,

Светятся гнезда людей обеспеченных.

Нет, не обманете, комнаты-кладбища!

Много у нищего солнечной дерзости!

Смерти пристанища, пошлости пастбища.

Хуже вы, чистые, уличной мерзости!

1916

Валентин ГОРЯНСКИЙ

Предусмотрительный

Жена крестиком вышивает козленка…
Сегодня лампа не коптит, а горит ясно…
Где-то комар поет убедительно-тонко,
И поет совершенно напрасно…

Ход вещей ему не изменить безусловно…
Мы поужинали и напились чаю.
От колбасы и сыру не осталось ничего ровно.
Нечего пожевать, и я скучаю…

На стене портрет тетки-старухи.
Подле портрета клопиные гнезда,
А на небе, словно его загадили мухи.
Роятся зеленые звезды…

И гудит тишина в ушах моих звонко,
Я томлюсь в одуряющем сплине…

Жена! бросай вышивать своего козленка

Да не забудь иглы на перине…

«Сатирикон», 1913, № 19

Свободомыслящий

Я еще не встречал такой замечательной книги!..

Автор доказывает речью смелой и бурной.

Что цепи Гименея суть безобразные вериги.

Которых не должен признавать человек культурный.

Что прежде всего свобода, а брак — темница чувства.

Что разнообразия в любви природа требует властно,

Я читал и думал: ах, искусство, искусство!..

Как справедливо ты и как беспристрастно…

Вот и я всегда горничную Пелагею
Сменяю женой, жену — Катей Петровой...
Этим я предвосхищаю авторскую идею
И являюсь, так сказать, пророком жизни новой.

Той жизни, когда вся пошлость
современного мещанства
Отойдет в область наивного преданья.
Когда получит полное право гражданства
То, что теперь приносит одни страданья...

Но чу!.. Сюда идет жена моя Нина...
Бедовая!.. С ней нужно быть построже.
Спрячу скорей книгу за пианино,
А то еще прочтет, упаси меня Боже.

«Сатирикон», 1913, № 25

О политике

Я, знаете ли, ужасный пессимист;

В светлые горизонты мне не верится...
Вот вчера, например, один журналист
В передовице своей на что-то надеется.

«Так или иначе, — говорит, — а приплывем
К лукоморью, к разливу широкому,
Где заря горит алым огнем,
Где грани легли всему беспрокому.

Не потечет, — говорит, — река вспять.
Клянусь левой ногой Конфуция,
Через три года, или много через пять.
Будет у пас правильная конституция».

А вот я не верю ни в солнечный восход.
Ни в реформы всякие, ни в облегчения.
Знаю я, что есть пароход.
На котором можно ехать против течения!

Петров ли, Иванов ли на корме сидят, —
Одна будет команда строгая:
Нос вперед, ход назад!..

Эх, жизнь наша пассажирская, убогая…

«Новый Сатирикон». 1914, № 15

Вы любите ли сказки?

Если вам кажется наивным — пусть!
Я хочу поделиться все же:
В моем сердце прекрасная тихая грусть,
Которая всех радостей дороже…

Вы любите ли сказки?.. Не верю, что нет!
Теперь вы большие, но были дети…
О, как жаль, если и до теперешних лет
С вами вместе не дожили сказки эти.

Вы любите ли сказки? Скажите: да!
Я хочу, чтобы их любили вы, как любили.
Мне сегодня грустно, как никогда, —
Конечно, у вас тоже такие минуты были.

Грусть блеснула на воспоминанья мои.

Как свет лампады на позолоту кивота...

Прекрасные, далекие, невозвратные дни!

Господа! Я хочу вам рассказать что-то...

Я сегодня в книжный ходил магазин

Голубоглазой Тапочке купить подарок.

Слякоть, извозчики, в воздухе автомобильный бензин

И, как из раковин, гул из подворотных арок.

«Детские сказки есть?» — «Есть».

И вот на прилавке книг пестрые связки.

Ах, как приятно было прочесть

Названье старой, незабываемой сказки.

У меня такая была точь-в-точь:

«Красная Шапочка», в такой же папке.

Ласковая мать отправляет маленькую дочь

С гостинцами к старой и хворой бабке.

Вот и картинки: зеленый луг —

Так и погулять на таком лугу бы.
Дуб столетний выпятил сук,
А из-за дуба волк скалит зубы.

На первом плане махровый мак,
У девочки цветы на русой головке,
А сказка известна — и что, и как,
И чем окончились волчьи уловки.

Ах, сказка все та же, да я не тот!
Навернулась улыбка жалко и скупо.
Год за годом, за годом год,
И вот Красная Шапочка смотрит глупо...

И вот цветов таких вовсе нет.
Совсем безвкусно подобраны краски,
Черной лавиной несокрушимых лет
Стерло обаянье волшебной сказки.

Я как будто бы потерял любовь.
Сердце пястью могучей смято.
Я не могу уже творить вновь
Из ничего красоту, как ребенком когда-то.

Грустно мне, грустно, как никогда.
Ведь у вас тоже такие минуты были?
Господи! Вы любите сказки?
Скажите: да! Я хочу, чтобы вы их любили

«Новый Сатирикон», 1915, № 5



Кто победит?

О, легкомысленные женщины!
О, кружевные существа!
Над вами две рапиры скрещены:
И Дьявола, и Божества.

Кто победит — того в свой дом она
Возьмет владыкой и рабом.
Ах, Божества рапира сломана —
Повергнут рыцарь в голубом.

В глазах пчела соблазна плавала,

Курил греховностью цветок,
Когда луна узрела Дьявола
У Евиных точеных ног.

Над миром две рапиры скрещены,
О, кто решит его судьбу?
Чья воля — Дьявола иль женщины —
У мира будет на горбу?..

«Новый Сатирикон», 1916, № 15

Россия

Россия — горькое вино!
Себе я клялся не однажды —
Забыть в моем стакане дно.
Не утолять смертельной жажды.
Не пить, отринуть, не любить.
Отречься, сердцем отвратиться.
Непомнящим, безродным быть, —
И все затем, чтоб вновь напиться,
Чтоб снова клятву перейти
И оказаться за порогом.
И закачаться на пути

По русским пагубным дорогам.
Опять родное обрести,
Признаться в имени и крови,
И пожелать цветам цвести.
И зеленеть пшеничной нови,
И птицам петь, и петухам
Звать золотое солнце в гости,
И отпущенье взять грехам
В старинной церкви на погосте
У батюшки. И снова в путь
По селам, долам и деревням,
Где, в песнях надрывая грудь.
Мужик буянит по харчевням:
Где, цепью каторжной звеня
И подгоняемый прикладом.
Он зло посмотрит на меня
И, походя, зарежет взглядом;
Где совий крик, и волчий вой,
В лесах таинственные звуки,
Где ночью росною травой
Ползут нечистые гадюки;
Где рабий бабий слышен плач

И где портной, в последнем страхе.
Для палача кроит кумач
И шьет нарядные рубахи.
Ах, не хочу! Ах, не могу!
Пускай замрут слова признанья.
Пускай на чуждом берегу
Колышатся цветы изгнанья...

1926

Максиму Горькому

Зол ты был и лукав.
Господин на дорогах узких.
Горчайшая из всех трав
Горьких пустырей русских.

Испытанный лицемер,
Ты пришел полотером-франтом
И вот уже — кавалер
Ордена «Интеллигент с бантом».

Враль до искренних слез,
И даже недуг свой самый —
Хронический туберкулез —

Ловко обернул рекламой.

Продавая пафос и пыль.
Буревестника пел и тучу,
А сам копил и копил —
В сундучишко, под спуд, в онучу,

А жизнь отходит прочь...
На кого ж у тебя злоба
Кипит в соррентийскую ночь —
Ты, стоящий у гроба?

И чему ты завидуешь, тать.
Утерявший и честь и славу.
Не праву ли презирать,
Сладкому моему праву?

«Сатирикон», 1931, № 2



Александр ГРИН

Редактор и писатель
Сцены из военной жизни

Явление I

Редактор. Здравствуйте. Что принесли?

Писатель. Рассказец есть небольшой, на два листа.

Редактор. Из нынешней?

Писатель. Что из нынешней?

Редактор. Из этой войны или из японской? Из японской не берем.

Писатель. Так-с. К сожалению… на этот раз ни то ни другое. Здесь *(подает рукопись)* некоторые черты из жизни Марины Мнишек.

Редактор *(уныло).* Пи… Мнишек. Кажется, я вас понимаю. Родословная кайзера?

Писатель. М-м-м… н-н-н…нет.

Редактор. Извините, я очень занят. Потрудитесь объяснить. в чем дело.

Писатель (*задумчиво,* с *убеждением).* Оригинальный, яркий характер этой женщины, общий колорит ее личной жизни…

Редактор *(строго).* При чем же тут война?

Писатель. Я и говорю, что ни при чем.

Редактор. Милый, читатель требует военных, злободневных рассказов.

Писатель. Разве? Я не слыхал. А где вы читали об этом?

Редактор. Извините, мне некогда… *(Смотрит на писателя с ненавистью.) А* где вы видали, чтобы теперь кто-либо читал иное, чем рассказы о войне?

Писатель. Видал. При мне барышня потребовала в библиотеке Шекспира. Там пришло со мной человек десять, и один спросил даже… Лесажа.

Редактор. Это гнусные индифферентисты.

Писатель. Нет, почему? Барышня эта — моя знакомая, дочь офицера.

Редактор. Но… Лесаж?

Писатель. Его взял полковой врач.

Редактор *(барабаня пальцами).* Я вижу, куда вы гнете. Вы хотите просить аванс.

Писатель. Если б вы разрешили, я…

Редактор. Обратитесь к Марине Мнишек. И запомните, что литература стала газетой. Иван, подай этому господину галоши!

Явление II

Редактор и беллетрист Бяшко.

Редактор. А! Бяшечка! Родной! Что, принесли? Давайте, давайте скорей! Сейчас и в набор отправим.

Бяшко. А деньги есть?

Редактор. Все есть — уж вас-то уважим. Из нынешней?

Бяшко. Само собой. Останетесь довольны. Дело происходит в траншеях. Масса выстрелов.

Редактор. И пулеметы есть?

Бяшко. Все, все. Бронированные форты, пулеметы, цеппелины и даже фугасы.

Редактор *(влюбленно).* Господи! Даст же бог человеку! Роскошь пера! Пиршество красок! Быт, кровь и огонь!

Бяшко *(не расслышав).* А? Да; герой избит в кровь и брошен в огонь.

Редактор. Вот видите; а то у меня сейчас дурак был, Н. Н.

Бяшко *(презрительно).* Ну, этот…

Редактор. Он ненормальный, знаете? Нацарапал там… да говорит противно: колорит, Марина Мнишек… чепуха. Когда я служил в аптеке…

Бяшко. Извините, мне некогда. *(Барабаня пальцами.)* Я вижу, куда вы гнете. Вы хотите оттянуть гонорар.

Редактор. Да… нет… собственно… у нас вообще платежи по вторникам… хотя… я бы просил…

Бяшко. Нет-с, это вы уж с Н. Н. так поступайте, а мне деньги, деньги на стол.

Редактор. Ах! Ну. получите. Какой горячий, талантливый!

Бяшсо. Мало ли что. За фугасы деньги вперед. *(Уходит.)*

Редактор *(один). Ну-с,* вот и я написал фельетон, будто бы, якобы впечатления очевидца.

Перо редактора. Трррр!.. бум!., вззззз!.. бух! пыр-пыр-пыр-пыр… трах! ух! дзынь!.. бррр!

«Новый Сатирикон». 1914, № 45

Дайте

Дайте хлеба человеку,
Человек без хлеба — волк,
Ну — и хлеб без человека
Небольшой, конечно, толк.
Дайте чаю, он полезен,
Бодрость будит, гонит сон.

Утомлению любезен
И тоске приятен он.
Сахар с чаем неразлучен.
Дайте сахару, вобще!
Без него желудок скучен.
Монпансье ему — вотще…
Дайте мяса — в нем таится
И кузнец и кирасир…
В нем невидимо струится
Сильной жизни эликсир.
Дайте яиц, масла, гречки.
Проса, полбы и пшена.
Чтобы нервность нашей речи
Вдруг была укрощена.
Чтобы жизнь, взлетая шире.
Обернулась — нам в удел —
Не картошкою в мундире —
А богатой жатвой дел!

«Новый Сатирикон», 1917, № 3

Буржуазный дух

Я — буржуа. Лупи меня, и гни,
И режь! В торжественные дни.
Когда на улицах, от страха помертвелых.
Шла трескотня —
В манжетах шел я белых.

Вот главное. О мелочах потом,
Я наберу их том.
Воротничок был грязен, но манжеты
Недаром здесь цинично мной воспеты:
Белы, крахмальны, туги…
Я — нахал.
Нахально я манжетами махал.

Теперь о роскоши. Так вот: я моюсь мылом.
Есть зеркало, и бритва есть, «Жиллетт»,
И граммофон, и яблоки «ранет».
Картины также «Вий» и «Одалиска»,

Да акварель «Омар», при нем сосиска.

Всего… все трудно даже перечесть:
Жена играет Листа и Шопена,
А я — с Дюма люблю к камину сесть
Иль повторить у По про мысль Дюпена:
Дюма дает мне героизм и страсть.
А Эдгар По — над ужасами власть.

У нас есть дети, двое… Их мечта —
Бежать в Америку за скальпами гуронов.
Уверен я, что детские уста
Лепечут «Хуг!» не просто, нет. Бурбонов,
Сторонников аннексий я растил!
Молю Всевышнего, чтоб он меня простил.

Мы летом все на даче. Озерки —
Волшебное, диковинное место;
Хотя цена на дачу не с руки
И дача не просторнее насеста,
Но я цинично заявляю всем:

На даче! Ягоды! В блаженстве тихом ем!!!

Вот исповедь. Суди. Потом зарежь.

Я оправданий не ищу, не надо.

К «буржуазности» я шел сквозь «недоешь»,

Сквозь «недоспи», сквозь все терзанья ада

Расчетов мелочных. Подчас, стирая сам,

Я ужинал… рукою по усам.

Я получаю двести два рубля,

Жена уроками и перепиской грабит,

Как только носит нас еще земля?!

Как «Правда» нас вконец не испохабит?!

Картины… книги… медальон… дрова!

Ужасная испорченность… ва-ва!

Упорны мы! Пальто такое «лошь»

Со скрежетом купили, хоть рыдали;

За «Одалиску» мерзли без калош,

А за «Омара» полуголодали.

Вопще, оглох наш к увещаньям слух...
Елико силен буржуазный дух!

«Новый Сатирикон». 1917, № 40

Реквием

Гранитных бурь палящее волненье,
И страхом зыблемый порог,
И пуль прямолинейных пенье —
Перенесли мы, кто как мог.
В стенных дырах прибавилось нам неба,
Расписанного тезисами дня;
Довольны мы; зубам не нужно хлеба,
Сердцам — огня.
Истощены мышленьем чрезвычайно,
Опутаны мережами программ,
Мы — проповедники в ближайшей чайной
И утешители нервозных дам.
До глупости, до полного бессилья.
До святости — покорные ему.

Бумажные к плечам цепляя крылья,

Анафему поем уму.

Растерянность и трусость стали мерой,

Двуличности позорным костылем

Мы подпираемся и с той же в сердце верой

Других к себе зовем.

Свидетели отчаянных попыток

Состряпать суп из круп и топора —

Мы льстиво топчемся, хотя кнута и пыток

Пришла пора.

И крепкий запах смольнинской поварни

Нам потому еще не надоел,

Что кушанья преснее и бездарней

Кто. любопытный, ел?

О, дикое, безжалостное время!

Слезам невольным даже нет русла,

Как поглядишь — на чье тупое темя

Вода холодная спасительно текла!

Лет через триста будет жизнь прекрасной,

Небесный свод алмазами сверкнет
И обеспечен будет безопасный
В парламент вход.

«Новый Сатирикон», 1918, № 2

Николай ГУМИЛЕВ

* * *

Он поклялся в строгом храме
Перед статуей мадонны.
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны.

И забыл о тайном браке.
Всюду ласки расточая.
Ночью был зарезан в драке
И пришел к преддверьям рая.

«Ты ль в моем не клялся храме, —
Прозвучала речь мадонны, —
Что ты будешь верен даме.
Той, чьи взоры непреклонны?

Отойди, не эти жатвы
Собирает Царь Небесный.
Кто нарушил слово клятвы,
Гибнет, Богу неизвестный».

Но, печальный и упрямый.

Он припал к ногам мадонны:
«Я нигде не встретил дамы
Той, чьи взоры непреклонны».

«Сатирикон», 1910, № 19

Маргарита

Валентин говорит о сестре в кабаке.
Выхваляет ее ум и лицо,
А у Маргариты на левой руке
Появилось дорогое кольцо.

А у Маргариты спрятан ларец
Под окном в зеленом плюще.
Ей приносит так много серег и колец
Злой насмешник в красном плаще.

Хоть высоко окно в Маргаритин приют,
У насмешника лестница есть;
Пусть звонко на улицах студенты поют.
Прославляя Маргаритину честь.

Слишком ярки рубины и томен апрель.

Чтоб забыть обо всем, не знать ничего...

Марта гладит любовно полный кошель.

Только... серой несет от него.

Валентин, Валентин, позабудь свой позор.

Ах, чего не бывает в летнюю ночь!

Уж на что Риголетто был горбат и хитер,

И над тем надсмеялась родная дочь.

Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вотще!

Его нет... его выдумал девичий стыд:

Лишь насмешника в красном дырявом плаще

Ты найдешь... и ты будешь убит.

«Сатирикон». 1910, № 31

* * *

Когда я был влюблен (а я влюблен

Всегда — в идею, женщину иль запах).

Мне захотелось воплотить свой сон
Причудливей, чем Рим при грешных папах.

Я нанял комнату с одним окном,
Приют швеи, иссохшей над машинкой,
Где, верно, жил облезлый старый гном.
Питавшийся оброненной сардинкой.

Я стол к стене подвинул, на комод
Рядком поставил альманахи «Знанье»,
Открытки — так, чтоб даже готтентот
В священное пришел негодованье.

Она вошла, спокойно и светло,
Потом остановилась изумленно.
От ломовых в окне тряслось стекло.
Будильник тикал злобно-однотонно.

И я сказал: «Царица, вы одни
Сумели воплотить всю роскошь мира;
Как розовые птицы ваши дни,
Влюбленность ваша — музыка клавира.

Ах, бог любви, заоблачный поэт,
Вас наградил совсем особой меткой,
И нет таких, как вы»... Она в ответ
Задумчиво кивала мне эгреткой.

Я продолжал (и тупо за стеной
Звучал мотив надтреснутой шарманки):
«Мне хочется увидеть вас иной,
С лицом забытой богом гувернантки.

И чтоб вы мне шептали: «Я твоя»,
Или еще: «Приди в мои объятья».
О, сладкий холод грубого белья,
И слезы, и поношенное платье.

А уходя, возьмите денег: мать
У вас больна иль вам нужны наряды...
Как скучно все, мне хочется играть
И вами, и собою без пощады...»

Она, прищурясь, поднялась в ответ;
В глазах светились злоба и страданье:
«Да, это очень тонко, вы поэт,
Но я к вам на минуту, до свиданья».

Прелестницы, теперь я научен.
Попробуйте прийти, и вы найдете
Духи, цветы, старинный медальон,
Обри Бердслея в строгом переплете.

«Сатирикон», 1911, № 33

Я и вы

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам.
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине.
Что на звезды смотрит и ждет.

И умру я не на постели.

При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели.
Утонувшей в густом плюще.

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестанский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: «Вставай!»

«Новый Сатирикон», 1918, № 16

Исидор ГУРЕВИЧ

Визит

Он, не постучав, открыл дверь веранды и уже с порога протянул мне руку:

— Петренко.

— Оч-чень рад, — солгал я, цедя сквозь зубы слова, и на звал себя.

— Вижу, пишете все?

— Пишу.

— А я за вами слежу!.. Хе-хе… не по-сыщицки, а так, за вашими успехами в литературе.

Я пробурчал что-то среднее между благодарностью и всероссийски известным «адресом».

— Помилуйте, читал ваш рассказ «Налим».

— Вы ошибаетесь, это чеховский рассказ.

— Неужели? Совсем под вас написано.

Я улыбнулся этой низкопробной лести.

— Ей-богу, еще жене говорю: знаешь, Глашенька…

— Виноват, — перебил я моего незваного гостя, — чем могу быть вам полезен?

— Бог мой… Вы-то? Да каждое ваше слово надо бы золотом по мрамору… В школах — будь я ми-

нистром — заставлял бы ваши рассказы наизусть «от сих пор» «до сих пор»… Например, ваши «Вечера на хуторе близ Диканьки»…

— Гоголя, не мои.

Он нагло сощурил глаза:

— Ей-ей, если бы вы не сказали, я бы не поверил. Читаешь — и думаешь, что это вы написали. Впрочем, «моментом» чувствуется, что у вас, пожалуй, вышло бы ярче.

— Благодарю вас! — сказал я и сжал кулаки.

— Из каждой вашей строчки талант так и бьет фонтаном. Вы не подумайте, пожалуйста, чтобы я там что-нибудь такое. Нет, я от чистого сердца, из глубин души. Сколько раз я читаю, хочу сказать жене и не могу, слезы сквозь смех и смех сквозь слезы мешают сказать. Иной раз скажу: «Глашенька»… и больше ни звука! Мой младший сынишка, в Петров день три года исполнилось, тащит мне книжку вашего сочинения и лепечет: «Титяй, па-пка…» Вот шельма мальчишка.

— Та-а-ак! Дальше! — прорычал я.

Петренко почесал в затылке и спросил:

— Почему нет в продаже открытых писем с вашим портретом?

— Потому что… Потому что у меня прыщик на носу. — раздраженно ответил я, нетерпеливо

стуча пером по чернильнице.

Петренко обрадовался:

— Господи, да это пустяки! Намажьте на ночь борно-тимоловым вазелином и наутро можете идти в фотографию.

— Благодарю вас!

Наступило молчание.

— Знаете, — снова заговорил Петренко, — я уверен, что, не помешай вам Толстой, вы бы написали «Войну и мир». Вы удивлены? Совершенно напрасно: Толстой мог и не писать, вы бы написали лучше.

Я внезапно прозрел:

— Сколько?

— Два рубля, а то лучше три. Мне ваш товарищ, тоже писатель, знаете, всегда три дает. «На, — говорит, — только уходи, не порть моего настроения». Ну, вот и спасибо. Я к вам не больше раза в неделю… День можете выбрать сами. Дадите — мигом испарюсь. Многие пробовали выгонять меня, но настроение все же у них портилось. Предпочитают давать. Есть такие, которые мне домой посылают: только не ходи. Один вид мой, говорят они, портит им настроение. У меня вторники свободны, желаете…

— Да, да, да… — заторопился я.

Он благодарно пожал мне руку, сунул трешницу в карман и направился к двери.

— Уж вы извините, у каждого своя специальность!!

Юмористическая библиотека Сатирикона», 1912, выпуск 58

Комар

Я до сих пор не знаю: сколько ножек у комара. Не то четыре, не то пять... Но я прекрасно знаю, что этот кровопийца сделал меня малокровным. Да, да, меня, почти саженного верзилу, меня, четырехпудового увальня, у которого щеки спорили своей краснотой с клюквой-ягодой. Хотите — верьте, не хотите — не верьте, мне все равно. Мне достаточно испортили крови, чтобы я стал еще портить ее из-за вашего недоверия — благодарю покорно!

Мы снимали на даче две комнаты рядом. На даче — и рядом. Надо ли говорить, что мы познакомились раньше, чем наша хозяйка успела истратить полученные от нас задатки? Надо ли говорить, что мы — я и она?

Сначала мы говорили. Говорили! Наши языки

вращались со скоростью пропеллера… В первую же неделю мы высказали столько, сколько ни один, даже самый болтливый, депутат не выскажет за целую сессию.

И за все это время наши мнения ни разу не сошлись.

Я заявил себя англофилом: она (хотя носила английские блузки и английскую обувь) заявляла себя англофобкой. Я заявлял себя поклонником Канта, она — Конта. И я уверен, что дело было не в большем ее сочувствии позитивизму, нежели философскому критицизму, а в том, чтобы хоть одной гласной возражать мне. Я восхвалял моноплан, она — биплан.

К концу второй недели, незаметно для себя, я почувствовал, что при виде английского флага у меня сжимаются ладони в кулаки, что из кантианца я стал контистом и у моноплана выросла вторая плоскость.

На третьей неделе мы мало, да и как-то нехотя, говорили, но зато много глядели друг другу в глаза.

На четвертой неделе я случайно заметил у нее на щечке комара. Негодяй в буквальном смысле слова пил ее кровь. Мог ли я остаться равнодушным зрителем?

В первый момент я хотел его задушить собственными руками тут же, на месте преступления, но потом я придумал более утонченную казнь: съесть его живым.

Едва мои губы коснулись ее пухленькой щечки — комар куда-то исчез, а ее маленькие ручки обвили мою шею.

Одним словом… мы поженились.

На первой неделе после свадьбы мы вели себя так, как на четвертой до свадьбы…

На второй…

Короче… На четвертой неделе я снова был англофилом, кантианцем и монопланистом.

На пятой неделе жена моя напилила из меня два куля опилок, извела на мою голову три пуда мыла, около трех метров стальной проволоки на шпильки и высосала около ведра моей крови…

Проклятый комар, ты сделал меня малокровным!

Юмористическая библиотека Сатирикона».
1912, выпуск 58

Загадочная натура

Доктор Бронхов проводил пациента до дверей кабинета и пригласил очередного, ожидавшего в приемной.

— Садитесь, пожалуйста!.. Ваше имя, фамилия, род занятий, сколько лет? — скороговоркой спросил доктор, пододвигая к себе книгу со скорбными листами.

— Иван Гаврилович Мелюзга, 28 лет, поэт, — ответил пациент, нервно теребя жиденькую бородку.

Бронхов наморщил лоб, машинально повторил: «Поэт Мелюзга», и, после минутного раздумья, спросил:

— Ріе вы печатаетесь?

— Больше на жести, да граните… на мраморе, конечно, тоже случается, но редко.

— Так вы… — начал доктор.

— …Специалист по надгробной поэзии, — подхватил Мелюзга. — Мои стихи очень обожают среди купечества.

Он вскочил со стула, откинул назад прядь волос и надтреснутым голосом произнес:

— Под камнем сим…

— Я не сомневаюсь!.. — перебил его доктор.

Мелюзга смущенно улыбнулся, одернул блестевший по всем швам сюртук и сказал:

— У вас очень ритмическая фамилия.

— Неужели? — улыбнулся доктор.

— Бронхов... А в человеческом организме имеются бронхи, вам. вероятно, известно?

— Известно, — скромно подтвердил доктор.

— Вот и готова рифма:

Лежит здесь доктор Бронхов.

Скончался от воспаления бронхов.

— А если я скончаюсь от тифа? — пошутил доктор.

— Тогда придется взять такую...

— Не затрудняйтесь, я еще поживу. А скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь?

— На индефферентизм к лирике господ заказчиков.

— Нет, я... — улыбнулся доктор. — Что у вас болит?

Мелюзга вздохнул, погладил рукой усы и сказал:

— История моей болезни имеет характер лирического отступления от нормы. Еще в нежном, полном грез и мечтаний возрасте, когда дети, не

отмеченные печатью таланта…

— Вы кашляете? — нетерпеливо перебил его доктор.

Мелюзга покраснел, как-то весь съежился и прошептал:

— Когда поперхнусь — кашляю.

Бронхову стало неловко оттого, что он смутил пациента, и он поторопился спросить:

— Болей нигде не чувствуете?

— Так — нигде, если не считать сердечных колик, спазм в пищеводе, стрельбы в левом ухе, нытья поясницы…

— Та-ак! — протянул доктор. — Попрошу вас раздеться.

Мелюзга торопливо, обрывая пуговицы, стал раздеваться.

— Извините мое оголенное состояние! — сказал он, когда доктор принялся выстукивать грудь.

— Здесь болит?., при нажиме?..

— Да, очаг любви — сердце — у меня испепелен от частого возжигания любовного нектара музы Терпсихоры.

Доктор подавил улыбку и попросил Мелюзгу глубоко вздохнуть.

— Я часто вздыхаю, но никто не прислушивается! — вздохнув, сказал Мелюзга. — Кроме того,

мое сердце проказник Амур, очевидно, занозил своими стрелами. Не потому ли у меня колики?

— Амур тут ни при чем, а вот Бахус действительно тут замешан, — улыбнулся Бронхов.

Мелюзга густо покраснел и стал оправдываться:

— В нашем мире юдоли и печали, когда таланту преграждается широкий путь и оставляется узенькая тропа к гробницам, когда радости жизни…

— Я вас понимаю!.. Прошу лечь… Дышите свободней!

— В наше время людям таланта трудно дышится…

— Попрошу вас не разговаривать!

— Ах, доктор, вы меня не понимаете!

— Вы мне мешаете! — сердито сказал доктор, прикладываясь ухом к его груди.

Мелюзга нахмурился и умолк.

— Можете одеваться.

Мелюзга молча оделся, молча сунул в карман рецепт, молча выслушал наставления, молча простился. И только на пороге комнаты он сказал:

— Вы могли выслушать лишь бренное тело, нетленный же дух мой остался и для вас загадкой!

Доктор наклонил голову и развел руками. Мелюзга круто повернулся и ушел.

— Прошу! — крикнул доктор, высунув голову в приемную.

1913



Передвижник

Черняев лежал на диване и говорил:

— Да, Володька, мой способ — наилучший: минимум расходов и максимум удовольствий!..

— Поехать в деревню и поселиться в крестьянской хате? — спросил Назаров, сидя на столе и болтая ногами.

— Не-ет! — протянул Черняев.

— Репетитором?

— Нет, не догадаешься!

— Ну, открывай секрет! — досадливо сказал

Назаров.

— Ладно, открою, только предупреждаю: привилегия заявлена в министерстве торговли и промышленности.

— К делу! — нетерпеливо крикнул Назаров.

— Я люблю иногда хорошенько выпить. Выпить хорошенько можно у Павловых. Антон Иванович поклонник рома и коньяка, других напитков не признает. Юлия Сергеевна обожает наливки и ликеры. Ясно?

Назаров утвердительно махнул головой.

— Я люблю иногда хорошенько поесть. Поесть хорошенько можно у Ольховых. Суп-пюре из шампиньонов. Спаржа с сабайоном. Макароны с ветчиной и пармезаном. Аркас. Пудинг из шпината… Меню разнообразное. Кухарка за повара. Ясно?.. Но маленькое житейское примечание тут необходимо. Павловы живут в Парголове, Ольховы в Шувалове. Как тебе известно, это две соседние станции. Ясно?.. Ergo…

— Можно выпить на остановке у Павловых и закусить у Ольховых, — подхватил Назаров.

— Правильно!.. Я люблю иногда поболтать с девицами, конечно хорошенькими… я ведь эстет! Для этого мне приходится менять маршрут. С Финляндской железной дороги на Приморскую…

Но маленькое житейское примечание: соловья баснями не кормят, а у Сухумских молодых людей, приезжающих на дачу, в гости, считают соловьями. Ergo…

— Ergo? — нетерпеливо повторил Назаров.

— Нужно помнить о ветке Новая Деревня — Озерки, соединяющей Финляндскую с Приморской.

— Гениально! — воскликнул Назаров. — Трех зайцев одним выстрелом!

— Можно прихватить и четвертого: Сухумские живут в Коломягах, а там…

— Тотализатор?!. — с живостью воскликнул Назаров.

— Он самый! Только в этого зайца нужно метить осторожно: не то пропадет ценность, если не всех трех, то двух первых…

Черняев закинул за голову руки и продолжал:

— Главное в жизни: уметь все учесть. Это достигается выдержкой. Конечно, необходимо присутствие ума, ясного и трезвого, но без выдержки — скверно!.. Очень важно также уметь распоряжаться своим временем, уметь согласовать его с расписанием поездов всех пригородных железных дорог, с часом завтрака, обеда и ужина у тех и других знакомых… Петровское «промедле-

ние — смерти подобно» нигде так не применимо, как здесь: опоздаешь к обеду, не поторопишься к ужину — грозит голодная смерть!

— Это уж философия, к делу! — оборвал его Назаров.

Черняев презрительно посмотрел на товарища, потянулся всем телом и воскликнул:

— Эх, люблю эти скитания!.. С восторгом слежу за тем, как недовольно вытягиваются лица одних, как расплывается улыбка на лицах других при виде «нашествия дачных гостей»... Ха-ха-ха! Какой калейдоскоп переживаний у чадолюбивых родителей! «Хватит ли пломбира?», «Сделает ли наконец Иванюков предложение Лизочке?». «Не разболтает ли Севринов жене о том-то?», «Не пришли бы при гостях за долгом из лавки»... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!.. Ловить ревнивые взгляды, устремленные на аллею, по которой гуляет «он» с другой или «она» с другим... Нечаянно подслушать чей-нибудь отзыв о ком-нибудь из гостей... Нет, Володька, тебе этого не понять!.. Чтобы это понять, нужно быть убежденным передвижником!.. А появление на небосклоне грозовой тучи! Ха-ха-ха!.. Что за удовольствие смотреть на растерянные лица, на нервную торопливость движений! Как все переплетается! Ха-ха! А жен-

щины!.. Молния, корова на лугу, лягушка в болоте, пьяный в канаве — все внушает им одинаковый страх… Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!! Ха-ха-ха!!!

Назарова заразил смех Черняева.

Они долго глядели друг на друга и уже беспричинно хохотали.

Вдруг Черняев оборвал смех и вскочил на ноги.

— Куда ты так стремительно?! — воскликнул Назаров, занимая на диване место Черняева.

— Счастливо оставаться, оседлый товарищ! — вместо ответа крикнул Черняев уже с порога комнаты.

1913

История одного аванса

Издатель посмотрел на Перочернильницына и, не расслышав, переспросил:

— Аванс?

— Ну да, 25 целковых!

— Принципиально против.

— Принципиально за.

— Не дам!

— Дадите!

— Нет, не дам!

Перочернильницын встал со стула и лег на

кушетку.

— Что это значит? — несколько удивившись, спросил издатель.

— Бывают обстоятельства, когда остается одно — «ложись да помирай».

— Пожалуйста, но только не здесь!

Перочернильницын вытащил из кармана записную книжку и черкнул в ней несколько слов.

— Поймали тему? — иронизируя, сказал издатель.

— Нет, записал: «В моей смерти виню издателя».

— Послушайте, ведь это глупо!

— Даже жестоко, бесчеловечно, аморально!.. Какое право вы имеете быть виновником моей смерти?

— Полно шутить!

— Перестать шутить? Это мой хлеб!

— Да уйдите вы отсюда!

— Аванс!

— Ладно… пять рублей дам… с полным зачетом при первой получке.

— Двадцать пять… частичное — ad libitum — погашение.

— Нет!

— Как вам будет угодно… Поручаю вам заботу

о моей жене и детях. Завещаю вам все тетрадки с вырезками и долги в мясную, сливочную и мелочную…

— Благодарю! — сухо сказал издатель.

— Мое перо и чернильницу передадите в Академию наук, пусть хранятся там, пока не возникнет мысль образовать музей моего имени… Имеющиеся в портфеле редакции мои рукописи передадите в Императорскую публичную библиотеку… Дома у меня есть одна жилетка — передадите ее редакционному сторожу…

— Будьте любезны отправиться домой и лично привести в исполнение все поручения, — прервал Перочернильницына издатель.

Перочернильницын молча повернулся на другой бок.

Наступило молчание.

— Десять рублей вас устроит? — прервал молчание издатель.

— Добавьте еще пятнадцать, и я напишу о вас некролог..

— Что? Я помирать не собираюсь. Вот вы…

— Но ведь когда-нибудь помрете?

— Помру.

— Вот и закажите мне некролог! По крайней мере, прочтете в рукописи при жизни: «Покойный

был человеком отзывчивым на чужую нужду. Для сотрудников — это был не издатель, а прямо-таки отец родной. Бывало, придешь к нему… не знает, где усадить. Не успеешь слова сказать, он уже: «Голубчик, не нужен ли аванс, возьмите, не стесняйтесь, как-нибудь отпишете». Не нужно, а берешь — нельзя же обидеть такого человека! Да, для нашего брата-писателя — это был клад!» Хорошо?

— Хорошо, что близко к истине, — сказал издатель.

— А вы сделайте, чтобы было еще ближе!

— 15 уж дам… с полным зачетом…

— …За составление некролога… — подхватил Перочернильницын.

— Нет, нет, отпишете фельетоном… Некролог — только одолжение за аванс…

— Двадцать пять?

— Двадцать!..

— Двадцать пять?

— Хорошо: двадцать пять, но гарантию, что некролог будет написан и помещен!..

— Расписку выдам!

Издатель стал было писать ордер, но вдруг спохватился:

— А что, если вы умрете до меня?

— Некролог сейчас заготовлю, а помещение его завещаю, в случае своей преждевременной смерти, близким.

Когда Перочернильницын с ордером в кармане направился в контору, издатель крикнул ему вслед:

— Не забудьте вычеркнуть из книжки обвинение!

1913

Тиран

— Петя, не смей скакать!

Шестилетний Петя вскинул на отца свои голубые глаза, вытянул вперед деревянную палочку, на которой ездил верхом, и, глубоко вздохнув, сел на диван.

«Не смей скакать!» — мысленно повторил он отцовский окрик. — А как же поедешь галопом?., без скакания галопа никакого не будет!»

Нижняя губка Пети дрожит от обиды, кривятся углы рта, опускаясь книзу, и в глазах влажно. Еще одна малюсенькая мысль мелькни в его головке — и градом покатятся крупные слезы.

Но Петя — мужчина. Петя знает, что «плачут только девчонки». В качестве мужчины он судо-

рожно глотает слезы. Губка перестает дрожать. Углы рта выпрямляются. В глазах исчезает влага.

— ...Рвет ботинки, словно они из папиросной бумаги!.. Не напасешься на него!! — через несколько минут говорит мать Пети.

Пете ужасно смешно. Он ясно видит на своих ножках ботинки из папиросной бумаги. Его очень интересует вопрос: можно ли будет беспрепятственно скакать в ботинках из папиросной бумаги?

«Скакать позволят, — решает он, — а вот в лужи лезть и шлепать ногами по воде не позволят!»

— Вот куплю ему железные ботинки, будет он тогда знать, — грозит отец...

Пете безумно хочется сейчас же услышать от отца: что именно он, Петя, будет тогда знать? Но отец держит это в секрете.

— Железные! — шепчет он. — Вот, значит, как кочерга!!

Петя жмурит глаза, стараясь представить себе железные ботинки. Ничего не выходит! Кочерга никак не может принять в его воображении формы ботинок.

«На каждую ногу по кочерге», — думает Петя. Но даже две кочерги не дают ему желанного представления.

Пете скучно. Он начинает придумывать: что бы такое интересное сделать, за что бы не попало от родителей? Он придумывает. Правда, это очень интересно, но уверенности, что отец не крикнет, у него нет! Однако он начинает перебирать пальцами нижнюю губу, от этого получается своеобразная музыка на мотив: бббу-у-бббу-у-у-ббб…

На третьем аккорде отец кричит:

— Петька, перестань!

Петя вздрагивает и машинально всовывает всю пятерню в рот.

«Мне не позволяет, а сам маленькой Лизочке делает, когда берет ее у няни!» — думает Петя, кидая на отца недружелюбные взоры. Колин папа лучше, внезапно решает он и начинает мечтать о том. как было бы хорошо, если бы Колин папа стал его папой, а его папа — Колиным.

— Попало бы тогда Кольке! — злорадно усмехается Петя.

Но через секунду-другую ему вдруг становится жалко-жалко своего папку.

«Колин папа лысый, а у моего кудри, у Колиного папы нет бородки, а у моего есть: мой папа лучше!» — решает он и, под наплывом смутного горячего чувства, говорит вслух:

— Я тебя никому не отдам!

— Что?! — удивленно спрашивает отец.

— Ничего! — торопится Петя отказаться от своих слов.

— Как — ничего?! — сердится отец.

— Он стал лгунишкой! — говорит мать.

— Ты должен повторить свои слова! — настаивает отец.

Петя молчит.

— Н-ну! — понукает отец.

Петя упрямо молчит. Смотрит в пол. Углы рта понемножку начинают отвисать. Вихрем кружатся в голове мысли. Он что-то вспоминает. Вспомнил!

— А у меня сегодня, — говорит Петя деловым тоном, — из ноги кровь бежала!.. Как слезки по щекам…

Лица отца и матери Пети сразу меняются.

— Кровь?! — в один голос восклицают они.

Петя радостно взвизгивает, подымает одну штанину и показывает небольшую ранку.

— Это я в кухне об гвоздик зацепился!

— Видишь… Это все потому, что ты папы и мамы не слушаешься! — говорит отец.

— Сколько раз я тебе говорила: не смей ходить на кухню! — сердится мать. — Ну вот, очень рада: так тебе и нужно!!

Но, очевидно, она не очень рада и ранку не находит нужной, ибо принимается обмывать ее и перевязывать.

Петя же действительно и очень рад. и ранку находит нужной: ему теперь весело. Ему, в глубине души, даже жалко, что и на другой ноге нет такой же ранки.

Перевязка сделана.

— Сиди смирно! — приказывает мать.

Сидеть смирно, когда хочется побежать к товарищам и похвастать перевязкой, — ужасно трудно! Но Петя пытается добросовестно выполнить приказание.

Колька, верно, делает теперь пирожки из песку, а Манька покупает их!

Под влиянием этой мысли Петя срывается с дивана и вприпрыжку бросается к двери.

— Куда?! — останавливает отец.

— Пирожки делать, — отвечает Петя, нетерпеливо перебирая ногами.

— Опять перепачкаешься! — говорит мать.

— Играй здесь!., вот кубики, — велит отец.

Петя хмурится, но садится на корточки подле стула, на котором лежат кубики.

— Колька делает пирожки, а я должен играть в кубики... Кубики все такие же. а пирожки

сломаешь, и можно сделать новые… Очень весело! — вздыхает он, возводя какую-то постройку.

— Ну вот, хороший мальчик! — говорит мать.

Петя не любит быть хорошим мальчиком: всегда он хороший тогда, когда ему скучно.

Петя сердито ставит кубики один на другой. Постройка не выдерживает резких движений Пети и с грохотом рушится.

— Этот мальчишка меня с ума сведет! — кричит отец. — Это мой тиран!!

Петя прячется за диван. Петя сидит там, затаив дыхание.

«Как это я папу сведу с ума? — думает Петя. — Вот когда папа сказал, что сведет меня в кинематограф…»

— Я его высеку: этим кончится! — обрывает Петины мысли возглас отца.

Петя забывает, что он мужчина, что «плачут только девчонки», и заливается громким плачем, в котором доминирует гласная «о».

Отец комкает газету, швыряет ее на пол и. хлопнув дверью, выбегает из комнаты.

Учитывая этот факт, Петя сразу спускает плач на два тона ниже.

Теперь доминирует уже гласная «а».

1913



А. Д’АКТИЛЬ

Подоходное

Ужасно трудно знать доход
(Хоть разбивай с досады лоб там!)
Того, кто перепродает
Россию в розницу и оптом.

Застукать их — немалый труд
И абсолютно нету шансов:
Ах! «Патриоты» не ведут
Счетов, доходов и балансов.

Держа на привязи язык.
Расчетливы необычайно.
Не доверяют цифрам книг
Свои коммерческие тайны.

И нет того, чтоб, глупый страх
Отбросив, взяться неуклонно
И заприходовать в графах,
И подсчитать свои мильоны.

Мол, там и там-то сдан подряд

По разработке для журналов
Национальных идеалов —
По курсу «франке Петроград»...

Ах! Книг, канальи, не ведут,
А хапнут — и давай Бог ноги.
Какие ж отчисленья тут
И подоходные налоги?

Страну, подлец, распродает
Поверстно и поидеально,
А спросишь, чем и как живет, —
Вздохнет, помудрствует печально.

Всплакнет, душой беззлобно чист,
И поместит в опросный лист.
Под рубрикой: «Доходы жителей», —
«На средства родителей».

«Новый Сатирикон», 1917, № 45

Три года

Безумству трех кровавых лет,
Что мы блуждали без дороги,

Уныло подвели итоги
Обозреватели газет:

«Да, да, мы знаем: были беды!
Но близок час, но тщетен страх...»

Ах, им-то, с перьями в руках.
Легко сражаться за победы!

Август 1917

Эпитафия

Господь! Во все часы и дни
Не наказуй и не кляни
И не взирай на нас сурово:
От рабства слова нас храни,
А паки — от свободы слова!

Август 1917

Отчего не следует выставлять рам

Ай, солнечный зайчик! Уселся на кресле.
Скользнул по кушетке, вскочил на буфет...

И в сердце моем моментально воскресли

И Пушкин, и Тютчев, и Майков, и Фет.

Весенних обычаев помня программу.

Священных градаций в лирическом сне,

Я с грохотом выставил первую раму

И влез на окошко навстречу весне.

На выцветшем небе поблекшие тучи.

Обрывки афиш без начал и концов.

Гриппозные лужи.

Тифозные кучи.

Обломки панелей.

Провалы торцов.

Отборная брань подгулявшего шкета.

К галошному тресту — остатки хвоста.

Кино с вопиющим названьем «Ракета».

Кофейня с задумчивой кличкой «Мечта».

Пивная — с фанерой в проломленной дверце.

Старуха — с лотком ядовитых кон-

фет.

* * *

И тихо растаяли в раненом сердце —
И Пушкин, и Тютчев, и Майков, и Фет.

1928



ДОН АМИНАЛО

Дамы на Парнасе
Из альбома почтительных пародий

1. Любовь Столица

Носовым покрою платом
Темно-русую косу,
Пойло ласковым телятам
Самолично отнесу.
Золотую вылью юшку
В заржавелое ведро.
Встречу милого Ванюшку,
Дам ногою под бедро.
Разлюбезный обернется
И почешет, где болит;
Улыбнется, изогнется,
На солому повалит.
И, расцветшая Раиня,
Я услышу над собой:
— Не зевай, моя разиня,
В этот вечер голубой!..

2. Анна Ахматова

Ах! Я знаю любви настоящей разгадку,
Знаю силу тоски.
— «Я на правую руку надела перчатку
С левой руки!..»
Я пленилась вчера королем сероглазым
И вошла в кабинет.
Мне казалось, по острым, изысканным фразам.
Что любимый — эстет.
Но теперь, уступивши мужскому насилью.
Я скорблю глубоко!..
...Я на бедные ножки надела мантилью,
А на плечи — трико...

3. Мариэтта Шагинян

Объята сном Нахичевань.
На небе — звезды, как фисташки.
В древесных листьев прячась ткань,
Заснули маленькие пташки.
Приди, продлись, любви обман,

Лобзаньем долгим на ресницах.
Каталикосы всех армян
Недвижно спят в своих гробницах.
Никто не сможет услыхать.
До всхода солнца на востоке.
Когда ты будешь целовать
Мои пылающие щеки!..

«Новый Сатирикон», 1916, № 37

О птицах

Одно в этом мире для меня несомненно:

Погубили нас — птицы.

Буревестники. Чайки. Соколы и вороны. Петухи, поющие перед зарей. Несуществующие, самым бесстыдным образом выдуманные альбатросы. Реющие, непременно реющие, кречеты. Умирающие лебеди. Злые коршуны и сизые голуби. И наконец, раненые горные орлы: царственные, гордые и непримиримые.

Сижу за решеткой, в темнице сырой.
Вскормленный на воле орел молодой…

Что ж тут думать! Обнажили головы, тряхнули шевелюрами и потянулись к решетке: стройными колоннами, сомкнутыми рядами и всем обществом попечения о народной трезвости.

Впрочем, и время было такое, что ежели, скажем, гимназист четвертого класса от скарлатины умирал, то вся гимназия пела:

Вы жертвою пали в борьбе роковой…

Очень уж были мы чуткие, да и от орлов как помешанные ходили.

Обитали орлы преимущественно на скалах и промышляли тем, что позволяли себя ранить: прямо в сердце или прямо в грудь и непременно стрелой.

В случаях особенно торжественных стрелы, по требованию публики, пропитывались смертельным ядом.

Этой подлости не выдерживали и самые закоснелые сердца.

Орел взмахивал могучими крыльями, ронял кровавые рубины в зеленый дол, описывал столько кругов, сколько ему полагалось, и… падал.

Нужно ли добавлять, что падал он не просто, а как подкошенный.

История с орлами продолжалась долго, и неиз-

вестно, когда бы она кончилась, если бы не явился самый главный — с косым воротом и безумством храбрых.

Откашлялся и нижегородским баском грянул:

Над седой равниной моря…

Гордо реет буревестник.

Черной молнии подобный…

Все так и ахнули.

И действительно, птица — первый сорт, и реет, и взмывает, и, вообще, дело делает.

Пили мы калинкинское пиво, ездили на Воробьевы горы и, косясь на добродушных малиновых городовых, сладострастным шепотом декламировали:

Им, гагарам, недоступно

Наслажденье битвой жизни…

И, рыча, добавляли:

Гром ударов их пугает…

Но случилось так, что именно гагары-то и одолели.

Тогда вместо калинкинского пива стали употреблять раствор карболовой кислоты, цианистый калий, стреляли в собственный правый

висок, оставляли на четырнадцати страницах письма к друзьям и говорили: нас не понимают, Европа — Марфа.

Вот в это-то самое время и явились: самый зловещий, какой только был от сотворения мира, Ворон и белая чайка, птица упадочная, непонятная, одинокая.

Ворон каркнул: «Never тоге!» — и сгинул.

Персонаж он был заграничный, обидчивый и для мелодекламации неподходящий.

Зато чайка сделала совершенно головокружительную карьеру.

Девушки с надрывом, с поволокой в глазах, с неразгаданной тоской, девушки с орхидеями и с трагической улыбкой хрустели пальцами, скрещивали руки на худых коленях и говорили:

— Хочется сказки… Хочется ласки… Я — чайка.

Потом взяли и выдумали, что Комиссаржевская — чайка, и Гиппиус — чайка, и чуть ли не Максим Ковалевский — тоже чайка.

«Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.
Над озером бедная чайка летит…

А по совести сказать, так более прожорливой, ненасытной и наглой птицы, чем эта самая белая чайка, и природа еще не создавала.

Однако поди ж ты… Лет семь-восемь спасения от чаек не было.

Изредка только вотрется какой-нибудь заштатный умирающий лебедь или Синяя птица или залетят ненароком осенние журавли — покружат, покружат и улетят восвояси.

А настоящего удовольствия от них не было.

Ах, как прошумели, промчались годы!

Как быстро промелькнули десятилетия! Какой страстной горечи исполнены покаяния. Дорогой ценой заплатили мы за диких уток, за синих птиц, и за орлов, и за кречетов, и за соколов, и за воронов, и за белых чаек, а наипаче — за буревестников.

Был мужик, а мы — о грации.
Был навоз, а мы — в тимпан!
Так от мелодекламации
Погибают даже нации,
Как бурьян.

1923

Афоризмы

Любовь к ближнему

Сочувствие — это равнодушие в превосходной степени.

Бросая утопающему якорь спасения, не старайся попасть ему непременно в голову.

Будьте милосердны не только к домашним животным, но и к домашним вообще.

Протягивая руку помощи, не сжимайте ее в кулак.

Не преувеличивай значения дружбы, это уменьшает число друзей.

Если человек слышит голос совести, то у него все вопросы решаются большинством одного голоса.

Волосы как друзья: седеют и редеют.

Если ты уже вынул человека из петли, то не толкай его в прорубь.

Люби человечество сколько тебе угодно, но не требуй взаимности.

Пытай дружбу каленым железом, но не испытывай ее благородным металлом.

Философия каждого дня

Если б мы знали все. что о нас будут говорить, когда нас не будет, нас бы уже давно не было.

Ничто так не мешает видеть, как точка зрения.

Материалисты ходят на именины, идеалисты — на похороны.

Принципы пахнут щелочью, истины — кровью.

Нет ничего труднее, как выйти в люди и остаться человеком.

Начало жизни написано акварелью, конец — тушью.

Когда с человека нечего больше взять, с него хоть маску снимают.

Досадно, что самое последнее слово техники будет сказано за минуту до светопреставления.

Ничто так не приближает человека к смерти, как долголетие.

Косую сажень на сантиметры не меряйте.

Чем пьедестал выше, тем угол падения больше.

От твердого решения тем приятнее отказаться, чем оно тверже.

Юность довольствуется парадоксами, зрелость

— пословицами, старость — афоризмами.

Похвала глупости

Человек вышел из обезьяны, но отчаиваться по этому поводу не следует: он уже возвращается назад.

В Германии четыре миллиона безработных: зато все они арийцы.

Ударом кулака можно и конституцию переделать.

Министр Геббельс исключил Генриха Гёйне из энциклопедического словаря. Одному дана власть над словами, другому — над словарями.

Счастливые поколения занимаются шведской гимнастикой, несчастные — переоценкой ценностей.

И тайным голосованием можно обнаружить явную глупость.

Ложась животом на алтарь отечества, продолжайте все-таки думать головой.

Savoir vivre [6]

---

[6] Примечания: 6

Умение жить *(фр.).*

Вставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток времени проводите с людьми.

В обществе глухонемых и заика считается краснобаем.

Для того чтобы не сделать ни одного ложного шага, надо все время топтаться на месте.

Оскорбить действием может всякий, оскорбить в трех действиях — только драматург.

С тех пор как свиньи узнали про Фрейда, они всякое свинство объясняют комплексом.

Чтоб доверие было прочным, обман должен быть длительным.

Летние аксиомы

В каждом булыжнике дремлют искры, надо только уметь их высечь.

Экономный человек загорает не просто, а про черный день.

Сливаться с природой удобнее всего в дождь.

Выходя из себя, не забудьте вернуться.

Если бы Диоген вовремя женился, он бы не

дошел до бочки.

Японские танки
Вольное подражание

1.

Кузнечик скачет в зеленой траве.
Проплывает облачко в голубой синеве.
Белая хризантема цветет в саду…
— Я сегодня вечером к тебе приду.

В небе померкнул закатный свет,
С вишен осыпался вишневый цвет.
Безлиствен и гол вишневый ствол… —
Ты сегодня вечером ко мне не пришел.

2.

Надень твое шелковое кимоно,
И кинься в море,
И упади на морское дно,
И лежи на просторе.
А я буду на морском берегу
Плакать слезами.

Потому что я такой не смогу
Найти в Йокагаме.

3.

Дай мне палочку, которой едят рис,
И я проткну себе живот.
Если только палочка не сломается!

И удуши меня тугим платком.
Чтоб я стал синий, как синька,
И даже еще синей.

И прикажи дать триста ударов
Тростью из бамбука.
Пока я не вспухну!

И когда я проткнусь насквозь,
И задохнусь навсегда,
И вспухну навеки.
Попробуй тогда сказать.
Что я тебя не люблю.

«Сатирикон», 1931, № 13

Послесловие

Жили. Были. Ели. Пили.
Воду в ступе толокли.
Вкруг да около ходили.
Мимо главного прошли.



Московские празднества

Снова отдых от труда.
Праздник счастья мирового.
Снова в мире ерунда,
А трамвая никакого.

Снова факелы чадят,
Реет флагов бумазея.
Снова маршалы стоят
На ступеньках мавзолея.

Разве выразишь пером
Этот пафос с дисциплиной.
Этот русский чернозем.
Пополам с марксистской глиной?

Лишь от радости всплакнешь.
Сладкий миг переживая,
И пешком себе пойдешь
За отсутствием трамвая.

«Возвращается ветер...»

Возвращается ветер на круги своя.
Не шумят возмущенные воды.
Повторяется все, дорогая моя,
Повинуясь законам природы.

Расцветает сирень, чтоб осыпать свой цвет.
Гибнет плод, красотой отягченный.
И любимой поэт посвящает сонет.
Уже трижды другим посвященный.

Все есть отблеск и свет. Все есть отзвук и звук.

И, внимая речам якобинца,
Я предчувствую, как его собственный внук
Возжелает наследного принца.

Ибо все на земле, дорогая моя.
Происходит, как сказано в песне:
Возвращается ветер на круги своя.
Возвращается, дьявол! Хоть тресни.

Утешительный романс

Что жалеть? О чем жалеть?
Огонек горит, мигая...
Надо все преодолеть.
Даже возраст, дорогая!

Что есть годы? Что число?
Что связать нас может сроком?
Лишь бы только нас несло
Нескончаемым потоком.

Сколько раз свои сердца
Не спасая от контузий,
Мы шатались без конца

По республикам иллюзий!

Сколько тягостных колец
Все затягивалось туже!
Так уж худо, что конец.
А глядишь… назавтра — хуже.

Без названия

Был ход вещей уже разгадан.
Народ молчал и предвкушал.
Великий вождь дышал на ладан,
Хотя и медленно дышал.

Но власть идей была упряма,
И понял весь уже народ.
Что ладан вместо фимиама
Есть несомненный шаг вперед.

Куриная философия

Всем указаны скрижали.
Всем отмечена строка.
Вот и мы с тобой сыграли

В подкидного дурака.

С кучей принципов носились,
Всех учили, как им жить.
А когда остановились.
Оказалось, нечем крыть.

Дни чем дальше, тем короче.
Ночь длиннее, гуще мгла.
И выходит, между прочим.
Что и жизнь уже прошла…

Они жуют

Презрительно опущенные губы,
Жевательный и неприятный звук.
Они жуют. Их золотые зубы
Вонзаются в упругий каучук…

Они жуют на фабрике, на даче,
Восстав от сна и отходя ко сну.
Они жуют, когда природа плачет.
Когда природа празднует весну.

Они жуют в сенатах и в палатах.

На берегу и в тишине кают.
Жуют во всех Соединенных Штатах,
И в каждом штате все они жуют.

Они жуют от первого момента
До самого последнего в судьбе.
Когда они хоронят президента
И выбирают нового себе.

Они жуют от мала до велика.
Причем хранят молчания печать.
Они жуют, оглядывая дико
Глупца, который смеет не жевать.

И как они не получают сыпи,
Чумы! Всего, что сокращает век?!
Они жуют: от устьев Миссисипи
До устьев менее роскошных рек.

Они жуют, проходят дни и годы.
Они жуют, следя времен полет.
За исключеньем Статуи Свободы,
Которая, как будто, не жует.

Меняя вид всего земного шара.
Вулканы рвут несовершенный мир...

Беснуется седая Ниагара,
Таинственный задумался Памир.

Меняются и судьбы, и правленья
Народов, стран, и малых, и больших.
Они жуют в часы землетрясенья.
Когда оно касается не их.

На материк зловещим ураганом
Глухие тучи медленно ползут.
За Атлантическим далеким океаном
Они молчат, считают и жуют.

Да будет так! Своеобразна прелесть
И выводы естественных наук:
Америка — единственная челюсть,
Европа — неизбежный каучук.

«Сатирикон», 1931, № 17

О. Л. Д’ОР

Автобиографии великих, малых и крошечных писателей

Леонид АНДРЕЕВ

Как известно читателю, я родился.

Потом я поступил в гимназию, где учился плохо, так плохо, что меня каждый день выгоняли из класса.

Потом я поступил в Московский университет, где тоже учился плохо. В Петербургском университете я учился еще хуже.

В 1894 г. я плохо стрелялся, последствием чего было наложенное на меня церковное покаяние. Но каялся я тоже плохо.

Видя, что дело плохо, я стал учиться живописи и начал рисовать портреты. Последние были из рук вон плохи.

В 1897 г. я получил диплом и записался в помощники присяжного поверенного. Но из меня получился юрист невероятно плохой, и все дела в суде я проигрывал. Дошло до того, что подсудимые стали мне платить огромные суммы, чтобы я не выступал защитником по их делам.

Я стал писать судебные отчеты в газете «Курьер» — и тоже очень, очень плохо.

Свою автобиографию я написал один раз, и вышло тоже плохо: один раз в «Журнале для всех», куда я ее послал сам: другой раз — в «Литературном календаре», где ее у меня стибрили.

Михаил АРЦЫБАШЕВ

Родился в 1905 году, и с 12 ноября с. г. мне пошел третий годок.

По своим убеждениям я блондин.

Из гимназии меня выгнали, хотя я никогда в ней не учился.

Писать я начал на восьмом месяце моей жизни, хотя у меня уже тогда была борода, и клеветали родные мои, будто мне уже под тридцать лет.

Свое первое произведение я напечатал в провинциальной газете.

Какой — мне стыдно сказать, ибо эта газета была «Губернские ведомости», а мое произведение называлось «Пригульная лошадь».

Оно было напечатано в отделе объявлений и было взято из действительной жизни.

Теперь я тоже пишу из жизни пригульных животных, но отнимаю у своих героев и героинь по две ноги, и они становятся похожими на людей.

Печатаюсь в толстых журналах. Мышиные

жеребчики в восторге.

Федор СОЛОГУБ

У меня не было биографии. Когда будет, сообщу. Впрочем, обратитесь к г-же Недотыкомке. Она все знает.

Константин БАЛЬМОНТ

Первое самоубийство я совершил на четвертом году своей жизни.

Причины моего самоубийства до сих пор не выяснены. Слухи ходили разные: одни говорили, что я лишил себя жизни вследствие несчастной любви к своей младшей сестренке, которая еще в то время не родилась. Другие утверждали, что смерть мою вызвала неудовлетворенность манной кашей, которою я тогда питался. Третьи ехидно утверждали, что я вовсе не лишил себя жизни. а купил себе новые брючки, так как старые оказались запачканными вследствие моего малолетства.

На 14-м году я увидел голодного мужика, шедшего за длинным черным обозом. Был мороз, а мужик был в дырявом зипуне и стоптанных сапогах. Лицо у него было изможденное, глаза воспаленные от бессонницы. Он еле держался на ногах. Тогда я впервые почувствовал убежденность, что

всемирное счастье на земле неизбежно.

Друзей у меня нет, так как все они покончили жизнь самоубийством.

В 22 года я уже бросился через окно на камни с высоты третьего этажа. Это повредило мое тело, но так благотворно повлияло на мою душу, что я сразу стал гениален.

Воображаю, что вышло бы из меня, если бы я бросился вниз с пятого этажа или с колокольни Ивана Великого.

Вообще для поэта «полет» необходим для расцвета его таланта.

Мой любимый поэт — Бальмонт.

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Несмотря на мою непростительную молодость (я намерен родиться лишь в 1910 г.), я уже имею честь состоять вторым председателем в «Кружке молодых».

По словам критиков, у меня нос Асархаддон, а сам я — сын египетской пирамиды. Только это неправда. Я родился в русской деревне. Откуда же могли там появиться пирамиды? Да если бы и появились, то их немедленно выслали бы на родину этапным порядком.

Вначале я поклонялся Яриле. Но у Вячеслава Иванова встретился с фавнами, сатирами и кое

с кем из греческих богов, и я изменил ради них Яриле.

Больше же всего я люблю шоколад и «Кружок молодых». Особенно любим мною самый младший — из членов кружка — покойный Петр Исаевич Вейнберг.

Александр БЛОК

К стыду моему, я должен признаться, что кончил университет.

Вообще мне сильно не повезло в жизни. Из гимназии меня не выгоняли. На улице не ночевал. Никогда не знал сладости голода и холода.

В участке меня тоже никогда не били, хотя я принадлежу к одной очень опасной партии.

К партии «П. Д.», то есть «Прекрасной Дамы».

Написал несколько драм, из которых все непонятны мне самому.

Но больше всех мне непонятен «Балаганчик».

Сколько я ни ломал себе голову над этим произведением, но никак не могу постичь его тайного смысла.

Несколько раз В. Мейерхольд пытался мне объяснить, что я думал сказать в своем «Балаганчике», но безуспешно.

Иногда ему на помощь приходила Вера Федоровна Комиссаржевская. Она горячилась,

доказывая, что странно не понимать такой простой вещи, как «Балаганчик».

Но по глазам этой Прекрасной Дамы я видел, что она сама смутно понимает сущность моей пьески.

Веду теперь критический отдел в «Золотом руне» и пишу в нескольких газетах.

Обо мне же пишут во всех газетах и ругают меня во всех журналах.

Александр РОСЛАВЛЕВ

Родился голодным.

За два года до моего рождения я потерял мать.

В гимназию не успел поступить, как уже был дважды исключен.

Каждый год при переходе из класса в класс получал волчий билет. Иногда даже по два сразу.

Голодал в Москве. Голодал в Казани. Голодал в Твери.

Не испытывал я голода в штате Огайо. Должно быть, потому что никогда там не был.

Аппетит же у меня всегда был хороший, и желудок варил исправно.

Ночевал в ночлежках. Теперь пишу стихи. Авансы принимаю ежедневно от 10 утра до 4 вечера. Конечно, когда дают.

Георгий ЧУЛКОВ

Я — Георгий Чулков! Полагаю, что всякая автобиография или биография здесь излишни.

Россия обязана знать, сколько мне лет, где я родился, зачем родился и т. д.

В 1902 году я был арестован за хранение декадентских журналов и сослан в Якутскую область.

Жил я в тайге, на берегу пустынной реки Амги.

Но природа стала оживать под пламенем моих стихов и прозы.

Белые медведи приходили слушать мои стихи, и слезы капали из их глаз, превращаясь в светлые льдинки.

Косые зайцы замирали в восторге, слушая мою проповедь о мистическом анархизме.

И становились мудрыми, как Вячеслав Иванов.

Но меня возвратили в Россию, и опять заглох край. Опять сковал холод Амгу. Стали жестокими медведи, и омещанились косые зайцы.

В настоящее время я живу прошлым.

Живу теплыми воспоминаниями о холодной Сибири. Пишу книги. Но люди не понимают их.

Они доступны лишь уму мудрых зверей, пресмыкающихся и насекомых.

Дмитрий ЦЕНЗОР

Я родился без отца, без матери, лишь с помо-

щью одной акушерки.

И с самого раннего детства я — один.

Знал много тоски и тосковал по тоске, когда тоска уходила от меня, не будучи в состоянии вынести моего тоскующего лица.

Тоски больше всего в моей жизни.

Я много страдал и от коварности женщин, и от узких сапог, и от крахмального воротника, который всегда вылезал не вовремя, когда я читал на вечерах.

С детства занимаюсь живописью и пишу стихи.

Что у меня выходит хуже, трудно решить. Кажется, оба хуже.

В общем, вся моя жизнь — бульбочка в воде.

Это грустно!

С малых лет я люблю один предмет — женщину.

Мне хочется об этом сказать как о главном.

Люблю женщину во всех видах — в брюнетном, в блондинном и шатенном.

Любят ли они меня — не знаю.

Я же всегда влюблен, честное слово!

Из-за меня даже сложилась знаменитая пословица, что влюбленные — глуповаты.

Я много пережил. Я всегда горел (теперь я за-

страховал себя от огня и не боюсь сгореть, ибо получу премию) и мучился от зубной боли.

Но не знаю более сладостного, как носить зимой глубокие калоши и молиться весной женщине.

И если жизнь моя богата тенями и солнечными пятнами, если она так хороша (я каждый день ем сдобные булочки) и красива (я ежедневно моюсь мылом), так это потому, что рядом с тупыми мужчинами существуют женщины.

Не будь на свете женщин, не стоило бы родиться.

О, если бы все женщины в мире превратились в одну женщину!

И если бы эта великая женщина погладила бы меня по головке и сказала: «Дмитрий! Бросься в воду с колокольни или с Петра Потемкина, и я полюблю тебя», — я бы не задумываясь бултыхнулся в воду.



История России, обработанная «Сатириконом»
Главы из книги

Смутное время

I

Борис Годунов

До Бориса почти царствовал Федор Иоаннович.

Но…

Наконец его похоронили, и стал царствовать Борис.

Во время венчания на царство Борис сказал:

— Клянусь, что у меня не будет ни одного бедняка.

Он честно сдержал слово. Не прошло и пяти лет царствования Бориса, а уж ни одного бедняка нельзя было сыскать во всей стране с огнем.

Все перемерли от голода и болезней.

По отцу Борис был татарин, по матери русский, а по остальным родственникам неизвестно кто.

Но правил он, как полагалось в те времена, благополучно. Давал обещания, казнил, ссылал и искоренял крамолу.

Но ни казнями, ни ссылками, ни другими милостями ему не удалось снискать любви народа.

Имя «Борис» произносилось с иронией.

— Какой он Борис, — говорили про него втихомолку. — Борух, а не Борис. Борис Годун или, еще вернее, Борух Годин. Знаем мы этих Борисов…

Многие уверяли, что своими ушами слышали, как Борис разговаривал с ГУрляндом и Гурьевым по-еврейски, когда он еще был премьером.

— Только и слышно было, что гыр-гыр-гыр, — рассказывали бояре. — Потом все трое пошли в синагогу.

Когда появились первые слухи о самозванце, народ тайно стал изменять Борису.

Узнав про самозванца, Борис позвал Шуйского.

— Слышал? — спросил царь.

— Слышал! — ответил Шуйский.

— Это он, Дмитрий?

Шуйский отрицательно покачал головой:

— Никак нет. При мне убивши. Это не тот.

— Кто же, по-твоему, этот самозванец?

— Мошенник какой-то! — ответил Шуйский — Мало ли нынче мазуриков шляется.

Борис отпустил Шуйского и велел созвать бояр. Бояре пришли. Борис вышел и обратился к ним белыми стихами:

— «Достиг я высшей власти…»

Бояре переглянулись. Послышался шепот:

— У Пушкина украл! У Пушкина украл!

Борис сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал:

— «Седьмой уж год я царствую…»

Тут чей-то негодующий голос резко прервал Бориса:

— Это грабеж! Своего же поэта грабить!

— В самом деле! — послышался другой голос. — Иностранного поэта хоть ограбил бы, а то своего.

Сразу зашумели все:

— Посреди бела дня белые стихи красть!

Борис стоял бледный, как полотно железной дороги.

Кто-то закричал:

— Пойдем вязать Борисовых щенков!

— Это тоже из Пушкина! — закричали точно из-под земли выросшие Венгеров и Лернер[7]. — Не смей трогать!

Но их никто не слушал. Все бежали душить семью Бориса.

Сам Борис чрез знакомого фармацевта, которому он, пред тем устроив правожительство в

---

[7] Примечания: 7

Имеются в виду редактор собрания сочинений А. С. Пушкина С. А. Венгеров и известный пушкинист Н. О. Лернер.

Москве, достал арбуз с вибрионами и отравился.

II

Лжедмитрий I

Первый самозванец был родом из Одессы. Его настоящее имя до сих пор неизвестно, но его псевдоним Лжедмитрий I был в свое время не менее популярен, чем псевдонимы Максим Горький, Сологуб и др.

В приказчичьем клубе он научился грациозно танцевать мазурку чем сразу расположил к себе сердца поляков.

— От лайдак! — восхищались поляки. — Танцует как круль!

Последнее слово сильно запало в душу Лжедмитрия.

«Разве уж так трудно быть королем? — думал он, лежа у себя на убогой кровати. — Нужна только удача. Ведь Фердинанд и Черногорский князь стали королями. Нужно только заручиться поддержкой сильной державы».

Тут он невольно начинал думать про Польшу:

•Сами говорят, что танцую, как круль. Пойти разве и сказать им, что я действительно круль… Они всему поверят».

Лжедмитрий не ошибся. Когда он объявил по-

лякам, что он царевич Дмитрий, они бросились его обнимать.

— Ах, шельма! — кричали поляки, целуя Дмитрия во все, не исключая лица. — Как ловко прикидывался конюхом!

— Поможете мне овладеть моим царством?

— А что дашь?

— Все, что понравится вам, — обещал Дмитрий.

— Отлично! Нам нравится Белоруссия.

Дмитрий добродушно сказал:

— Возьмите ее.

— Нравится нам еще Великоруссия, Малороссия, Сибирь.

— Что же у меня останется? — с испугом вырвалось у Дмитрия. Поляки утешили его:

— А тебе, братику, ничего и не надо. Ведь ты конюх. Купим тебе хорошего лошака, ты и уедешь на нем из Московии, а править будем мы сами.

— Ладно! — сказал Дмитрий. — Спасибо, что хоть лошака одного мне оставите.

С помощью поляков Дмитрий и взял Москву. Народ московский и верил и не верил, что это настоящий Дмитрий.

— Как же ты спасся? — спрашивал с любопытством народ.

— Очень просто! — объяснил самозванец. — Увидел, что меня начали резать, и убежал. Вместо меня и зарезали другого.

Народ качал головой, кто-то предложил:

— Позовем Шуйского. Он был тогда в Угличе. Спросим его.

Позвали Шуйского и спросили:

— При тебе убили царевича Дмитрия?

— Какого Дмитрия? — удивился Шуйский. — Никакого царевича Дмитрия не убивали. Все Борис выдумал. Дмитрий — вот.

Шуйский указал на самозванца.

— Спросим еще мать царевича! — решил народ.

Позвали мать царевича и спросили, указав на самозванца:

— Твой это сын?

— Мой, мой! — ответила печальная мать. — Тот Дмитрий был только черненький, а этот рыжий. Только это оттого, что он вырос. Мой это сын! Мой!

Лжедмитрий стал царствовать. Человеком он оказался добрым, никого не казнил и не наказывал плетьми.

Это показалось подозрительным боярам.

— Он не настоящий сын Грозного, — роптали

бояре. — До сих пор никому из нас голову не отрубил. Нет, он самозванец!

А Дмитрий не исправлялся и продолжал не казнить. Бояре не могли снести этой обиды и убили его.

— Он был обманщиком! — заявили они народу. — Он не Дмитрий.

Народ верил и не верил словам бояр.

— Спросим Шуйского! — решил народ.

Шуйского привели.

— Убитый был Дмитрий? — приступили к князю.

— Какой убитый? — переспросил Шуйский.

— Вот этот, что лежит пред тобой!

— Этот? Какой же он Дмитрий? Мошенник он, а не Дмитрий. Царевича Дмитрия при мне в Угличе убивали. Этот самозванец.

Позвали мать Дмитрия и спросили:

— Твой сын?

— Не мой! — ответила мать. — Мой был маленький, восьмилетний, а этот, вишь, какой балбес.

Народ после этих слов поверил.

III

Лжедмитрий II

Второй самозванец неизвестно откуда появил-

ся.

— Я вторично спасся! — сообщил он народу. — Видите, какой я ловкий. Изберите меня царем.

Народ недоумевал.

— Как же ты спасся? — удивлялся народ.

— А очень просто. Подкупил человека, чтобы за меня принял смерть, а сам удрал.

Народ думал, думал и решил:

— Спросим Шуйского.

Привезли Шуйского из монастыря, в который он за царствование был заключен, и спросили:

— Вот человек выдает себя за Дмитрия. Ты что скажешь — Дмитрий он или не Дмитрий?

— Дмитрий! — твердо ответил Шуйский.

— Но ведь Дмитрия убили!

— Какого Дмитрия? — удивился Шуйский. — Никаких Дмитриев не убивали. Этот Дмитрий настоящий.

Народ решил:

— Позовем мать Дмитрия.

Позвали и спросили:

— Твой сын это?

— Мой! — последовал ответ. — И глаза те, и волосы те. Раньше он был рыжим, а теперь черный, но он мой сын.

— Позовем еще Марину Мнишек! — решил

народ.

Позвали Марину, показали Лжедмитрия II.

— Это мой муж! — заявила гордая полячка. — И брюки такого же цвета, и столько же рук, ног и глаз, как у того… Это мой муж.

Однако Лжедмитрию второму царствовать не удалось.

Дав ему проходное свидетельство, его выселили из Москвы, кажется даже не впустив в нее.

IV

Междуцарствие

Между тем смелых людей становилось все меньше и меньше на Руси и некому стало царствовать.

Даже самозванцы отказывались от Москвы.

— Поцарствуешь день, — говорили самозванцы, — а потом целый месяц тебя будут за это убивать. Себе дороже стоит.

Наступило междуцарствие.

Поляки увидели, что царя нет в России, и пришли все в Москву и заявили:

— Мы все будем царствовать над вами. В компании веселее и безопаснее.

— Царствуйте! — разрешили бояре. — Кому прикажете присягать?

— Всем присягайте! — приказали поляки.

На это бояре резонно ответили:

— Вас так много! Если каждому в отдельности присягать, то человеческой жизни не хватит. Выбирайте уж одного.

Поляки поняли, что бояре правы.

— Присягайте сыну нашего короля Владиславу! — приказали они.

Бояре присягнули. Когда присяга кончилась, поляки вдруг заявили:

— Мы ошиблись. Присягайте не Владиславу, а самому королю Сигизмунду.

Бояре присягнули Сигизмунду.

— Можем идти? — спросили они.

— Нет, нет! — ответили поляки. — Не уходите. Может быть, еще кому-нибудь нужно будет присягать.

Бояре сели на крылечко и стали ждать. Народ оставил их ждать и стал действовать на свой риск и страх.

V

Минин и Пожарский

Однажды на площади появился человек в форме мясника и закричал:

— Заложим жен и детей и выкупим отечество!

— Заложим! — загудела толпа.

Кузьма Минин (впоследствии оказалось, что это был он) заложил, пересчитал деньги и сказал:

— Маловато!

И, воодушевившись, снова воскликнул:

— Продадим дворы и спасем отечество!

— Продадим! — снова загудела толпа. — Без жен и детей дворы ни к чему.

Тут же наскоро стали продавать дворы и вырученные деньги отдавали Минину.

Кто покупал дворы — никому из историков не известно. А может быть, известно, но из стыдливости они это скрывают.

Полагают, что была основана тайная патриотическая компания по скупке домов и имущества.

«Странно, — замечает один иностранный историк, имя которого мы дали слово держать в секрете, — всех принуждали продавать дома; кто не хотел добровольно продавать дом, того принуждали. Как же в такое время могли появляться люди, которые осмеливались покупать дома?»

Не будем объяснять иностранным историкам то, чего они по своему скудоумию понимать не могут, и вернемся к Минину.

— Теперь хватит! — заявил он своим гражда-

нам. — Возьмите оружие и пойдем на поляков.

Во главе рати стал Пожарский.

— А казаков под Москвой не будет? — спросил новый полководец.

Казаки были на стороне поляков.

— Не будет! — ответил Минин.

— Тогда я пойду!

Пожарский оказался храбрым полководцем и освободил Москву от поляков.

Большую помощь оказал ему при этом голод, любезно согласившийся поселиться в Москве на время осады.

Поляки, питающие с малых лет отвращение к голоду, отдали Москву русским.

С тех пор голод не расставался с русским народом, поселившись у него на правах бывшего союзника и друга дома.

VI

Иван Сусанин

После изгнания поляков из Москвы бояре и народ избрали на царство Михаила Федоровича Романова.

В то время прославился крестьянин Иван Сусанин.

Однажды в дом Сусанина ворвалась банда

польских воинов и потребовала, чтобы он их повел к Михаилу Федоровичу, которого поляки хотели убить.

Сусанин выбрал такое место, куда ворон костей не заносил, и завел туда поляков.

Сусанина поляки умертвили, но и сами погибли…

Русь — империя

I

Петр Великий

Петр Великий был гигант на бронзовом коне.

До Петра Русь была непроходимо-бородатой страной. У всех — от первейшего боярина до последнего конюха — был волос долог.

Один из знатных иностранцев, выписанный в Россию как искусный плотник, но сделавшийся впоследствии историком, так описывает тогдашнюю Русь.

«…Эта большая страна, — тешет иностранный плотник, — вся густо поросла бородой. Из-за бород не видно голов. Русский думает бородой, пьет чай бородой, ест клюкву бородой и ею же обнимает и целует жену».

Итальянский писатель, живущий на Капри, уверяет, что Россия — государство уездное. Какое глубокое заблуждение!.. «Россия попросту — государство бородатое».

Петр Великий решил прополоть страну и приказал немцам изобрести для этой цели соответствующую машину.

Немцы, не долго думая, изобрели ножницы и бритву, что произвело сильный переворот в законах физики и химии.

В первый раз на улицах Москвы раздалась впоследствии столь знаменитая четырехчленная формула — «Стригут, бреют, кровь отворяют».

Кто не хотел стричься и бриться, тому «кровь отворяли».

Ужас объял бояр, привыкших с малых лет носить длинную седую бороду. Одни из них бежали, бороду свою спасая, в свои далекие вотчины. Другие пускались на разные хитрости.

Отправлялись к царю с докладом бритыми.

Пришедши же домой, они отращивали себе длинные бороды и самодовольно гладили их, радуясь, что обошли молодого Петра.

Так поступали они ежедневно.

Однако обмануть зоркого Петра было нелегко. Хитрецов накрывали и наказывали…

Когда все бороды были отрезаны, обнаружилось, что под бородами высшие сановники носили широкие длиннополые кафтаны.

«Половые проблемы» боярских кафтанов были также решены посредством ножниц.

Когда все стали безбородыми и бесполыми, Петр сказал:

— Теперь за дело! Довольно баклуши бить и у соседей смех вызывать. Начнем лучше соседей бить и слезы у них вызывать.

Вздохнули бояре, но делать было нечего. Стали учиться, в угоду Петру, бить соседей.

II

Воспитание Петра

Петр получил воспитание домашнее. Учил его сначала дьяк Зотов. Но вскоре обнаружилось, что дьяк Зотов неграмотный и не только писать, но и читать не умел по-русски.

Стали искать других учителей, но не могли найти грамотного.

— Учителей много, а грамотных мало! — жаловались бояре.

Но Петр уже с младенческих лет проявлял громадную настойчивость и силу воли.

Голова грамотного человека была оценена в

десять тысяч.

Гонцы разъезжали по стране, собирали сходы и спрашивали:

— Кто грамотный, поднимай вверх руку!

Но с опущенными руками стояла пред молодым, жаждущим знания царем неграмотная Русь.

— Кто грамотный? — мучительно раздавалось на Руси.

И в один прекрасный день послышалось:

— Мой немношко грамотна.

Голос шел из Немецкой слободы. Вскоре вышли оттуда три иностранца: голландец Тимерман, шотландец Гордон и француз Лефорт.

Петр стал учиться у этих иностранцев разным наукам…

Окружающие были вообще недовольны тем, что Петр вздумал учиться грамоте.

— Не по обычаям поступает! — ворчали в свои бороды бояре и народ. — От заветов старины отступает.

III

Стрельцы и «потешные»

Когда Петр подрос и стал юношей, он начал интересоваться государственными делами.

Первым долгом он обратил внимание на стрельцов.

Это были люди, увешанные бердышами, самопалами, ножами, кривыми и прямыми саблями, дубинами, царь-колоколами и царь-пушками.

— Вы воины? — спросил их Петр.

— Воины! — ответили стрельцы.

— С кем воевали?

Стрельцы гордо ответили:

— Поди, царь, в Замоскворечье, погляди на купцов, приказчиков, людей служилых и неслужилых, и сам увидишь, с кем воевали. Чай, ни одного целого носа там не найдешь. На лице каждого жителя Москвы написано про нашу храбрость.

Молодой Петр насмешливо посмотрел на стрельцов.

— А с врагами чужими так же храбро драться умеете?

Стрельцы обиделись.

— Что ты. государь, сказать изволил, — сказали они с горечью. — Чтоб мы поганым басурманам свое национальное лицо показывали? Много чести! Мы им больше всего национальную спину показываем в битвах…

И прибавили, подумав:

— Да и как с ним, басурманом, воевать будешь, когда у него оружие есть? Это не то что свой брат, приказчик.

После этого разговора Петр призвал начальников стрелецких и спросил их:

— Много под Москвою огородов?

— Много, — ответили стрелецкие начальники.

— Хватит по стрельцу на каждый огород?

— Хватит.

— В таком случае приказываю вам: разместить стрельцов по огородам в качестве пугал.

Стрельцы наконец оказались на своих местах, по крайней мере — на первое время. Потом и птицы перестали их бояться.

А Петр начал создавать новое войско из «потешных» рот.

Так как «потешными» заведовали не инспектора народных училищ и не начальники пробирных палаток, то дело пошло быстро на лад.

«Потешные» из кожи лезли, чтобы вырасти скорее, и в примерных битвах здорово колотили стрельцов.

Петр радовался, на них глядя, и думал:

«Скоро мы покажем себя!»

И действительно показал.

IV

Первая победа Петра

Первую победу Петр одержал над турками. Это в одинаковой степени изумило и победителей, и побежденных.

— Неужели мы побиты? — удивлялись турки. — Не может быть! Это судебная ошибка!

— Побиты, побиты! — показывали все народы Европы и Азии. — Сами видели, как вы бежали.

Турки продолжали допрашивать свидетелей:

— Может быть, мы бежали позади, а русские впереди?

Но народы стояли твердо на своем и показывали:

— Нет. вы бежали впереди, а русские бежали сзади и лупили вас в спины. Посмотрите, там еще, вероятно, синяки сохранились.

Турки посмотрели друг другу на спины и вынуждены были признаться:

— В самом деле синяки…

Они грустно опустили турецкие носы на турецкие сабли, потом сами опустились на турецкие ковры и с горя стали пить турецкий кофе.

Русские также не верили, что победили, и осторожно допытывались у очевидцев:

— Мы бежали впереди турок или сзади?

Очевидцы успокоили их:

— Не сомневайтесь! Вы гнали турок и ловко трепали их!

Солдаты приободрились.

— Побеждать, оказывается, легко! — говорили они друг другу.

— Гораздо легче, чем быть побежденными.

— Много способнее. Тут ты бьешь, а тебя хвалят. А так тебя бьют и еще ругают.

После первой победы последовала вторая, потом третья, четвертая и все остальные победы.

Война кончилась отнятием у турок Азова.

Последний вскоре научился говорить и писать по-русски.

Впоследствии он совершенно растуречился и начал писать фельетоны в русских газетах, подписываясь полным именем: «Вл. Азов».

Петр очень гордился победой над турками и отнятием у них Азова.

Духовенство стало роптать...

V

Петр — мореплаватель

До Петра русский народ был народом-рекоплавателем.

Плавали русские весьма отважно, купаясь летом в реке. Плавали недурно и на спине и на животе.

Но о судах имели понятие весьма слабое.

Однажды Петр, осматривая амбары Никиты Ивановича Романова, увидал там «дедушку русского флота».

Дедушка был весь изъеден червями, и труха сыпалась из него, как из члена Государственного совета.

— Что это такое? — спросил Петр.

Приближенные Петра не могли дать верного ответа.

— Это корыто! — сказал один приближенный.

— Корыто? Для чего?

— В таких корытах наши праматери купали своих новорожденных детей. Народ в те поры был рослый. Каждый новорожденный имел по пяти сажень росту.

Петр недоверчиво качал головой. Другой приближенный, желая потопить первого приближенного, сложил губы в ехидную улыбку и горячо произнес:

— Не верь этому льстецу, государь! Он хочет выслужиться, а потому и говорит, что сей незнакомый ему предмет — корыто. Не корыто это, а

старинное ружье.

— Врет он! — закричал первый приближенный. — Это не ружье, а корыто!

Долго бы спорили русские люди, но в эту минуту явился немец Тимерман и разъяснил, что найденный предмет — английский бот.

Петр немедленно принял англичанина на русскую службу, велел его починить топором, пилой и рубанком.

«Дедушка русского флота» вскоре поплыл по Переяславскому озеру, управляемый могучей рукой Петра.

В короткое время у дедушки появились товарищи, которые весело понеслись по волнам.

Приближенные молодого царя с укоризной смотрели на новую затею молодого Петра и, качая бородами, вздыхали:

— Статочное ли дело русскому человеку на судне плавать? Земли у нас мало, что ли? Зачем еще вода нам понадобилась?

Петр сначала пробовал возражать:

— А ведь англичане плавают…

Но ему отвечали:

— Так то англичане. У них земли два аршина. Им и понадобилось море. А нам на что?

Народ также роптал:

— Вода нам для питья и для бани дана. Грех плавать на ней в каких-то ковчегах.

Петр продолжал строить суда. Паруса все чаще и чаще стали мелькать на Яузе и Переяславском озере. В народе стали распространяться слухи, что Петр — антихрист.

Мореплавание слишком уж претило религиозным душам…

VI

Война со шведами

За что возгорелась война со шведами, неизвестно. Историки в подобных случаях постоянно скрывают истинную причину.

В Швеции тогда царствовал Карл XII.

— Хоть ты и двенадцатый, а побью тебя! — сказал Петр.

Карл принадлежал к секте бегунов. Всю жизнь он к кому-нибудь или от кого-нибудь бежал.

Бежал к Мазепе в Полтаву, но Ворскла и русские солдаты произвели на него удручающее впечатление, и он убежал из Полтавы к татарам.

У татар он остался недоволен кумысом и бежал к султану.

Узнав, что у султана много жен, Карл XII поспешил бежать от соблазна к себе на родину, где у

него не было ни одной жены.

Из Швеции бежал к полякам. От поляков снова куда-то убежал.

Смерти, преследовавшей Карла по пятам, еле удалось настигнуть его в какой-то битве, и она поспешила воспользоваться этим случаем.

Петр же все время стоял на одном месте и занимался делом — строил, стругал, пилил, тесал.

В результате Петр остался победителем.

VII

Полтавская битва

Горел восток зарею новой. Уж на равнине по холмам гремели пушки. Дым багровый клубами всходил к небесам навстречу утренним лучам.

Не по доброй воле гремели пушки. Их каждый раз заряжали с казенной части и вынуждали палить по шведам.

Шведы тоже палили, но плохо. Карл XII после очередного бегства повредил себе ногу и не мог ходить.

При самом начале битвы Петр приказал войскам своим одержать победу, и войска не смели ослушаться.

Карл же XII не догадался это сделать, и войска его не знали, как вести себя: одержать победу или

потерпеть поражение.

После небольшого колебания шведы из двух зол выбрали меньшее — поражение…

Много способствовало поражению шведов присутствие в их войсках малороссийского гетмана Мазепы.

Гетман был человек весьма образованный и до конца своих дней сохранил сильную любовь к женитьбе.

В искусстве жениться Мазепа не знал соперников, но воевода он был плохой. Неуменьем воевать он перезаразил все шведское войско, и оно не выдержало натиска петровских войск.

Шведы бежали. Те же, которым было лень бежать, сдались Петру.

Карл и Мазепа не поленились и бежали.

После Полтавской битвы шведы повесили носы на квинту. Так они и висят до сих пор.

Русские же под предводительством Петра высоко подняли головы.

Гордые возвратились войска в Петербург под звуки музыки.

Народ наружно радовался и кричал «ура», но внутренне роптал на Петра.

VIII

Окно в Европу

Победив кого следует, Петр задумал прорубить окно в Европу.

— Пора, — сказал он, — на людей посмотреть и себя показать!

Сановники светские и духовные принялись увещевать царя.

— Не богоугодное ты дело затеял! — говорили сановники духовные. — Окно — дело грешное. Не по святой старине поступаешь, царь.

Светские сановники подходили с дипломатической стороны и вещали:

— Окно, государь, вещь опасная. Прорубишь окно, а в него швед влезет.

— А мы ему в шею накладем! — смеялся Петр. — Он и уйдет.

— Уйдет швед, пролезет в окно немец.

— Немцу зачем в окно? Мы его и в дверь пускаем.

— Тогда немец из окна вылезет.

— Зачем же ему вылезать?

— А уж такая у немца привычка. Не пустишь в дверь, он в окно влезет. Пустишь в дверь, он в окно и вылезет. Характер такой.

Петр смеялся и продолжал прорубать окно.

Петр прорубал, а сановники мирские и духовные приходили по ночам и заколачивали окно.

Петр не унывал и настойчиво продолжал свою работу.

Когда работа была окончена и новый свет хлынул в прорубленное окно, сановники опьянели от ужаса и завопили:

— Горе нам! Горе нам!

И началась между ними и Петром тайная борьба.

Сановники каждую ночь упорно затыкали подушками прорубленное окно в Европу.

По утрам Петр вынимал подушки, а уличенных сановников ссылал и даже казнил.

Но ночью приходили новые сановники и приносили новые подушки.

И до самой смерти Петра продолжалась эта тайная борьба.

Русскому народу так и не удалось при жизни Петра увидеть как следует Европу.

IX

Петр — редактор

А. С. Суворину в то время было всего лет десять, и «Новое время» еще не существовало.

А газета была необходима.

Русский народ искони славился тем, что не мог жить без газеты.

Гостинодворцы невероятно скучали, лишенные удовольствия давать взятки репортерам бульварной прессы.

Министры горевали:

— Некому восхвалять наши действия. Полцарства за коня… виноват, за писателя!

Великие люди плакали:

— Когда мы умрем, кто напишет о нас некрологи! Помрем и, как говорят хохлы, «некролога не побачим».

Тогда сам Петр решил издавать газету. Не долго думая, он подал прошение о разрешении ему газеты под названием: «Куранты о всяких делах Московского государства и окрестных государств».

Газета велась довольно смело. В ней задевались не только полиция, Германия и духовенство, но и высшие сановники.

Однако газета ни разу не подверглась конфискации и редактор ни разу не был оштрафован и даже не посажен в «Кресты».

Можно смело сказать, что во время «Курантов» газетные работники пользовались полнейшей

свободой слова.

Это был лучший период в периодической русской печати.

Народ роптал.

X

Науки и искусства

От наук и искусств милосердный Бог спас допетровскую благочестивую Русь.

Географией интересовались только извозчики. Историей — тоже извозчики.

Люди высших классов считали ниже своего достоинства заниматься науками.

Искусством ведали уличные мальчишки — лепили из снега замысловатые фигуры и рисовали на заборах углем не хуже других.

К литературе русский народ спокон веков чувствовал призвание, и при Петре литература, хотя и устная, сильно процветала.

Народ-творец изливал свою душу в лирических произведениях, хватавших за душу как русских, так и иностранцев.

Некоторые из этих элегий дошли до нас. Одна из них начиналась так:

Не тяни меня за ногу,

Ай, Дид! Ой, Ладо!
Из-под тепленькой перины.
Ай, Дид! Ой, Ладо!

Из прозаических сочинений к нам дошли превосходные сказки, в которых говорилось о первой русской авиаторше Бабе-Яге, летавшей на аппарате, который был тяжелее воздуха, — в ступе.

Петру все это показалось мало.

— Народу много, — сказал он, — а науки мало! Вы бы поучились немножко.

Он начал с министров, усадив их за азбуку. Министры плакали и не хотели учиться.

Петр колотил их дубинкой и в короткое время достиг неслыханных результатов — почти все министры всего в два-три года научились читать и писать.

Петр наградил их за это чинами и титулами, и только тогда они поняли, что корень учения горек, а плоды его сладки.

К концу царствования Петра почти не было ни одного придворного генерала, который подписывался бы крестом.

В его царствование был заложен первый камень русской письменной словесности — по

приказу Петра был рожден Вячеслав Иванов[8], прославившийся в то время под фамилией Тредьяковского.

Об искусстве также много заботился Петр.

Народ, видя это, потихоньку плакал с горя и горячо молился об избавлении от науки, искусства и литературы святой Руси.

В то время народ русский еще пребывал в истинном благочестии.

XI

Сотрудники Петра

Сотрудников себе Петр выбирал долго, но, выбрав, не вешал их зря, а заставлял заниматься делом.

В первые годы своего царствования он окружил себя сотрудниками из бояр.

Но когда последним обрили бороды, Петр увидел, что они для службы России непригодны, и принялся выбирать сотрудников из простых людей.

Бояре также не были довольны царем. В особенности им не понравилось то. что молодой царь

---

[8] Примечания: 8

С поэтом XVIII века В. К. Тредьяковским сравнивается поэт и критик Вячеслав Иванов (1866–1949). весьма склонный к архаизмам в поэзии.

колотил их дубинкой.

— Сколько на свете Русь стоит, — ворчали бояре, — нас били батогами, а Петр дубинку завел. Обидно.

И патриотическое сердце бояр так страдало, что даже плаха не утешала их.

— Ты раньше постегай, — говорили они, — а потом казни. А то дубинкой… Что мы, англичане либо французы, чтобы нас дубинкой били? Ты нам батоги подавай…

Среди сановников, выбранных из простых людей, выделился Меншиков.

Петр взял его за то, что тот пирогами торговал.

— Хоть пирогами торговать умеет! — сказал Петр. — А бояре даже этого не умеют.

Меншикову сановничье ремесло показалось гораздо более выгодным, чем ремесло пирожника, и он ревностно принялся за новое дело.

Видя, что опыт с Меншиковым удался, Петр еще больше налег на простой народ. Каждого нового кандидата в сановники Петр спрашивал:

— Из бояр?

И если спрошенный отвечал утвердительно, Петр говорил ему:

— Ступай, брат, откуда пришел! Мне белоручек не надо.

Когда же кандидат отвечал отрицательно, Петр приближал его к себе и давал работу.

Впоследствии много графов и князей переодевались простолюдинами и поступали на службу к Петру.

Когда обман обнаруживался, Петр не сердился.

Так, под видом рабочих, поступали в сановники к Петру князья Долгорукие, Шереметьевы, Толстые, Брюс и др.

Меншиков на склоне лет своих заскучал по ремеслу пирожника, и однажды у него блеснула мысль:

«Чем Россия не пирог?»

И он потихонечку стал продавать этот сладкий пирог…

И среди остальных сотрудников нашлись подражатели Меншикову.

Петр вешал понемногу «пирожников», но даже эта крайняя мера редко исправляла их.

Считать Россию пирогом и продавать ее тайно по частям сделалось второй натурой у многих сановников почти до наших дней

XII

Царь — плотник

Петр Великий часто ездил за границу.

Вечно озабоченный государственными делами, он однажды в Саардаме дал пощечину одному честному голландцу.

Жители Саардама еще до сих пор гордятся этой исторической пощечиной и задирают нос пред жителями остальных голландских городов.

— Мы не какие-нибудь! — говорят с гордостью саардамцы. — Сам Петр Великий избрал для пощечины физиономию одного из наших граждан.

Осчастливив саардамцев, Петр уехал в Амстердам, где стал учиться плотничьему искусству.

Теша бревна, он неоднократно думал:

«Вот так я обтешу бояр».

Впоследствии Петр должен был сознаться, что обтесать бревно гораздо легче, чем обтесать боярина…

Все-таки до конца жизни Петр не выпустил из своих мозолистых царственных рук топора и рубанка.

И до конца своей жизни он остался великим царем-плотником…

Умер Петр, простудившись при спасении утопавших солдат.

Великий мореплаватель не утонул, спасая солдат. Только чрез двести лет потопил его скульптор Бернштам своим памятником на Сенатской

площади…[9]

Русь сильно была продвинута вперед могучей рукой гениального великана.

Но… не все было сделано.

Петр застал Русь бородатою и оставил ее взлохмаченною.

Преемники Петра

I

До Екатерины Второй преемники Петра были отчасти похожи на редакторов современных русских газет: подписывается редактором один, а редактирует другой…

После Петра была провозглашена императрицей Екатерина Первая.

Управлял Меншиков.

После Екатерины Первой взошел на престол малолетний Петр Второй.

Управлял Меншиков, а потом Долгорукие.

Петр II умер. Была коронована Анна Иоанновна.

---

[9] Примечания: 9

В начале века скульптор Л. А. Вернштам «украсил» Адмиралтейскую набережную скульптурными группами, изображавшими события из жизни Петра I. Статуи не сохранились.

Управлял Бирон.

Анну Иоанновну сменила Анна Леопольдовна.

Управлял Остерман.

Анна Леопольдовна была свергнута Елизаветой Петровной.

Управлял Лесток, а потом Разумовский.

После Елизаветы на престол взошел Петр Третий.

Управляли все, кто жил при Петре и кому только было не лень.

Вельможи делились на две партии: 1) ссылающих и 2) ссылаемых в Сибирь.

Очень часто в одну ночь ссылающие переходили в партию ссылаемых и наоборот.

Меншиков ссылал, ссылал, пока нечаянно не был сослан в Сибирь Долгорукими.

Долгоруких сослал в страну, куда Макар телят не гоняет, Бирон.

Бирона сослал Миних, хотя он сам был немец.

Миниха сослал Лесток.

Лестока сослал перешедший из партии ссылаемых в партию ссылающих Бестужев-Рюмин.

У самых сильных вельмож чемоданы были постоянно завязаны — на случай неожиданной ссылки.

Летом в самую сильную жару шубы и валенки

в домах временщиков не прятались далеко.

— В Сибири и летом холодно! — говорили вельможи.

Сделавшись временщиком, сановник старался как можно больше сослать в Сибирь народу.

Делалось это не от злости, а от практичности ума. Каждый временщик думал:

«Чем больше сошлю в Сибирь вельмож, тем веселее мне потом будет».

Так понемногу стала заселяться Сибирь.

Пионерами в Сибири оказались временщики, что дало повод тогдашним острякам острить:

— Как видите, и временщики могут на что-нибудь пригодиться…

II

Екатерина Великая

При дворе Екатерины человек был похож на орла.

Каждый генерал, каждый придворный был орлом. Так они и вошли в историю под сборным псевдонимом «екатерининские орлы».

Главный орел был близорук и прославился тем, что постоянно грыз ногти. Звали его князь Потемкин-Таврический.

«Таврическим» его прозвали за то. что он жил

в Таврическом дворце на Шпалерной, где теперь помещается Государственная дума.

Происходил Потемкин из очень бедной семьи, что его и выдвинуло.

Как орел, он любил иногда питаться живой кровью, но живой крови уж почти не было на святой Руси. Бирон последнюю выпил…

Сама Екатерина обладала недюжинным литературным талантом, и при более счастливых условиях она сделала бы блестящую карьеру писательницы.

Но для блага страны она не пошла по усыпанному розами пути писателей, а избрала путь другой.

Однако всю жизнь императрица любила читать и знала современную ей литературу лучше любого нынешнего критика.

В свободное от государственных и прочих дел время Екатерина писала повести, комедии и шутливые фельетоны.

Но благодаря тогдашней цензуре произведения Екатерины Великой не могли увидеть свет и были только напечатаны лет пятнадцать тому назад, когда цензура временно стала немного либеральнее.

Кроме литературы, Екатерина Великая еще

вела весьма удачные войны с турками и не менее удачно устраивала внутренние дела государства.

III

Первые законодатели

С самого начала своего царствования Екатерина принялась за проект нового государственного устройства.

— Созову народных представителей! — решила Екатерина. — Пусть сам народ решит, как ему лучше жить.

Стали созывать законодательную комиссию из народных представителей.

Жены с воплем провожали своих мужей в Петербург.

— В законодатели беру-у-ут! — выли жены. — Пропали наши головушки…

Старики молитвенно шептали:

— Дай вам Бог отбыть законодательную повинность благополучно.

Депутаты прибыли в Москву и были невероятно удивлены, что их не бьют и не сажают в крепость.

Наоборот, императрица приказала оказать им ласковый прием и посадила их не в тюрьму, а в фановитую палату.

Императрица выработала «Наказ», в котором депутатам предлагалось выработать законы.

Депутаты горячо принялись за дело с утра до ночи и наконец заявили:

— Кончили!

Обрадованная Екатерина спросила.

— Что сделали?

Депутаты заявили:

— Много сделали, матушка государыня. Во-первых, постановили поднести тебе титул «Мудрая»…

Екатерина была изумлена:

— А законы?

— Законы?! Что ж законы. Законы не волк — в лес не убегут. А если убегут, тем лучше: пусть живут волки и медведи по закону…

Подавив досаду, Екатерина спросила снова:

— Что еще сделали?

— Постановили, матушка государыня, поднести тебе еще один титул: «Великая».

Екатерина нервно прервала их:

— А крепостное право уничтожили?

— Крепостное право? — ответили депутаты. — Зачем торопиться? Мужички подождут. Им что? Сыты, обуты, выпороты… Подождут.

— Что же вы сделали? Зачем вас созывали?

Депутаты важно погладили бороды.

— А сделали мы немало. Работали, матушка государыня. И выработали.

— Что выработали?

— Выработали еще один титул для тебя, матушка: «Мать отечества». Каково?

Екатерина увидела, что чем больше законодательная комиссия будет заседать, тем больше титулов и меньше законов она будет иметь.

— Поезжайте домой! — сказала она депутатам. — Поезжайте, Тймошки. Без вас плохо, а с вами еще хуже.

IV

Губернии и сословия

В 1775 году Екатерина Великая разделила Русь на губернии.

Сделано это было так. Собирали несколько сел и заявляли им:

— Отныне вы не села, а города!

Села чесали затылки и мямлили:

— Ишь ты, города!.. А мы думали, что селами родились, селами и умрем.

Но, почесав сколько полагалось затылки, села становились городами.

Потом брали немца и назначали его губернато-

ром. Пред отъездом немцу сообщали:

— Будете править губернией.

Немец не возражал. Наоборот, он кивал головой и с достоинством отвечал:

— Гут! Мой с малых лет на губернатор ушился… Буду харош губернатор.

В новых губерниях разделили народ на три сословия, причем строго придерживались брючного и сапожного ценза.

У кого были целы сапоги и брюки, тот был зачислен в купеческое сословие.

Тот, кто имел рваные сапоги, но брюки целые, попадал в мещанское сословие.

Лица же, у которых сапоги просили каши, а брюки были с вентиляцией, составили сословие ремесленников.

Всем трем сословиям была дарована свобода давать взятки четвертому сословию — дворянству…

Последнее сословие в то время составляло и полицию, и милицию, и юстицию в стране. Давать ему взятки было необходимо…

К счастью, дворяне восемнадцатого века были люди умные: не упускали того, что плыло к ним и руки, и все остальные сословия чувствовали себя сравнительно недурно.

V

Войны *с* турками

Много лет Екатерина вела войну с турками. В сущности, воевала только Екатерина. Турки только кричали «алла! алла!» и отступали. Перед каждой новой войной турецкие полководцы любезно осведомлялись у русских полководцев:

— Какие города хотите у нас отобрать?

Русские называли города.

— А нельзя ли списочек составить?

Русские полководцы составляли список городов, которые собирались взять у турок, и посылали пашам.

Паши прочитывали список и немедленно отдавали приказ своему войску бросать оружие и бежать в паническом страхе.

С турками уже тогда было легче воевать, чем со студенческой демонстрацией.

На студенческих демонстрациях хоть кричат, а турки в большинстве случаев при бегстве не нарушали тишины и спокойствия.

Завоеванные земли Потемкин застраивал деревнями и заселял крестьянами.

С течением времени оказалось, что и деревни и мужики были декоративные.

Деревни ставил Станиславский из Художественного театра, а мужиков играли Чириков, Юшкевич и Дымов.

Поговаривали даже, что и турки, с которыми воевал Потемкин, были декоративные.

Однако земли, которые были завоеваны при Екатерине, были настоящие, сочные и давали прекрасные плоды.

VI

Сподвижники Екатерины

Все сподвижники Екатерины были очень талантливы от мала до велика.

В первые годы царствования Екатерины был очень популярен Григорий Орлов.

Это был великий государственный ум. Он одной рукой поднимал тяжелую придворную карету.

Брат Григория Орлова. Алексей, был блестящий дипломат. Он одной рукой мог удержать на месте четверку лошадей.

Все-таки удержать своего влияния при дворе он не мог, и вскоре его власть перешла к Потемкину.

Последним орленышем был граф Зубов, прославившийся тем, что никакими талантами не обладал.

— Это у нас фамильное! — говорил не без надменности молодой орленыш. — Мы, Зубовы, выше таланта.

Больше всех из «екатерининских орлов» прославился Суворов.

Между Суворовым и другими полководцами была существенная разница: Суворов был чудаком в мирное время и героем на войне…

Суворов отлично пел петухом, а этого даже Наполеон сделать не мог.

Однажды суворовское «кукуреку» разбило наголову неприятеля и спасло наше войско от позорного поражения.

Произошло это следующим образом.

Атакуя неприятеля, Суворов заметил, что его армия втрое больше нашей.

Не надеясь на победу, Суворов подлетел верхом к самому носу неприятеля и запел «кукуреку».

Неприятельское войско остановилось и заспорило.

— Это петух, назначенный генералом! — кричали одни.

— Нет, это генерал, назначенный петухом! — спорили другие.

А пока они спорили, Суворов велел перевязать всех и взять в плен.

И еще был один орел, судьба которого была весьма печальна, — он писал оды.

Питаясь мертвечиной, сей орел жил долго и кончил дни свои почти трагически — министром народного просвещения.

Имя этого орла, иногда парившего под облаками, иногда пресмыкавшегося по земле, было Державин.

VII

Наука, искусство и литература

При Екатерине наука и искусство сильно продвинулись вперед.

Был изобретен самовар.

По изобретении его немцы пожелали перенять устройство самовара, но никак не могли дойти до этого.

И напрасно иностранные правительства приказывали своим послам в России:

— Во что бы то ни стало узнайте секрет приготовления самовара.

Как послы ни старались, ничего не могли добиться. Русские хранили строго эту тайну.

Потом были усовершенствованы кнут и дуга.

Было много художников, скульпторов, рисовавших и лепивших во много раз лучше нынешних.

К сожалению, ни имена этих великих людей, ни их великие творения не дошли до нас.

Громадные успехи сделала литература. Все писали. Профессора, генералы, молодые офицеры сочиняли стихи и прозу.

Лучшими русскими писателями были Вольтер и Жан-Жак Руссо.

Лучшими русскими поэтами были Вергилий и Пиндар.

Все остальные — Ломоносов, Сумароков, Фонвизин и другие — постоянно подражали им.

Самым выгодным ремеслом в литературе было писать оды.

Этот благородный род поэзии не только хорошо кормил, одевал и обувал поэтов, но и в чины производил.

Одописцы блаженствовали, но и другие писатели процветали.

Вообще все процветало.

Павел Первый

Павел Первый не любил шуток. Несколько дней спустя после восшествия на престол он отдал команду:

— Россия, стройся!

Не все были подготовлены к этой команде, и, естественно, произошла заминка…

Но прежде чем Русь научилась маршировать и ходить в ногу, Павел Первый скончался, и на престол вступил Александр Первый.

Отечественная война

I

Нашествие Наполеона

После мирной кончины Павла Первого на престол взошел Александр Первый. Это сильно обидело Наполеона.

— Я не могу допустить, — заявил он, — чтобы на одном земном шаре были два первых государя! Или я, или Александр.

Наполеон приказал французам одеться и пойти на Москву. Французы неохотно одевались. Застегивая пальто, они ворчали:

— Зачем нам Москва? Нам и дома хорошо. Сыты, одеты, обуты. Каждый из нас француженку на содержании имеет… Чего еще недостает?

Французы решительно сели. Видя, что дело плохо. Наполеон крикнул:

— Барабанщики, вперед!

Вышли барабанщики и забарабанили поход. Французы дрогнули и пустились в путь.

Как Наполеон ни скрывал своего намерения напасть на Россию, но лишь только он перешел русскую границу, в Петербурге узнали об этом.

Народ русский вскипел.

— Как? — гремели по России негодующие голоса. — Какие-то французишки смеют идти на нас войной? Да мы их шапками закидаем!

Шапки страшно вздорожали в один день. Все патриоты спешили накупить себе шапок для закидывания французов.

Александр собрал двести тысяч солдат и разделил их поровну между генералами: грузином и немцем.

Но вышло разногласие между генералами. Пылкий грузин, защищенный при этом спереди большим грузинским носом, рвался вперед, а холодный немец приказывал отступать.

Тогда Александр назначил главнокомандующим русского князя Кутузова.

Приехав в армию, Кутузов с изумлением заметил:

— Разве с такими молодцами можно отступать?

Но приказал продолжать отступление.

II

Бородино

«Но вот нашли большое поле».

Поле это называлось село Бородино.

Кутузов построил свою армию с таким расчетом, чтобы французы потерпели поражение.

Наполеону не удалось так удачно построить своих французов.

Он, по обыкновению, конечно если Иловайский не врет, устремил свои главные силы на то, чтобы прорвать наш центр, а нужно было сделать наоборот.

Наполеону нужно было устремить свои главные силы на то, чтобы прорвать свой собственный центр.

Прорвав себе центр, Наполеон должен был сесть на левое крыло и улететь в Париж.

Но император французов продолжал делать ошибку за ошибкой.

Кутузов же ошибок делать не желал, а приказывал только стрелять.

Это очень огорчало Наполеона.

— Некультурная нация! — жаловался он своим генералам. — Я их завоевать хочу, а они еще стреляют.

Обратившись к маршалу Даву, Наполеон предложил:

— Ты бы их подавил немного.

Но Даву отрицательно покачал головой:

— Пробовал давить, ваше величество, да они не даются. Непонимающий народ.

После десятичасового рукопашного боя атаки прекратились: стреляли только из пушек.

К вечеру, одержав победу, Кутузов отступил.

Побежденные французы с горя заняли Москву.

III

Пожар Москвы

Генерал-губернатором в Москве был в то время граф Ростопчин.

Предвидя пожар Москвы, он не растерялся перед французами и до прихода их как прокламациями, так и личным примером воодушевлял жителей московских.

— Ополчимся против врага! — взывал граф. — Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа аржаного.

— Что верно, то верно, — отвечали москвичи. — Француз не тяжеле снопа аржаного. Много даже легче…

— И наверное легче.

— Только…

— Что только?

— Только аржаной сноп не стреляет, а французишка — он хитрый. Ты его по-благородному на вилы-тройчатки, а он по-свински — бац! — в тебя из ружья.

Граф Ростопчин горячо доказывал, что, наоборот, аржаной сноп стреляет, а француз даже любит, когда его поднимают на вилы-тройчатки.

Однако в день вступления в Москву французов граф переменил свои взгляды и вместе со всеми прочими оставил Москву.

— Мы их выкурим! — сказал он многозначительно, покидая Первопрестольную. — Огонь действительнее вилы-тройчатки…

И начались пожары. Французам стало жарко. Они сняли с себя платье и в дезабилье вышли на улицу.

Не успели они сделать пяти шагов, как стукнул мороз и уложил на месте добрую половину французов.

Оставшиеся в живых еле добежали до своих квартир и, наскоро одевшись, попросили есть.

Но увы! Тут оказалось, что русские, уезжая, забрали с собой весь хлеб.

Осталось одно сено, но не было между французов г-жи Нордман Северовой[10], чтобы сварить им из сена бульон, курицу и компот.

И половина оставшихся в живых французов в тот же день умерла мучительной голодной смертью.

— Бежать! — молнией пронеслось по всему французскому лагерю.

— Бежать! Бежать!

Тот, кто первый произнес это спасительное слово, был тут же произведен в маршалы великим и благодарным Наполеоном.

IV

Бегство французов

Французы в бегстве выказали большую сметку.

Впереди всех был Наполеон. Для скорости он бежал на лыжах. Остальные бежали пешком.

— Ишь, прыткие! — удивлялись наши мужички. — Как ловко бегут! Только пятки сверкают. Сейчас видно, что грамотные.

Наши войска преследовали французов по пя-

---

[10] Примечания: 10

Имеется в виду Н. Б. Нордман-Северова — писательница и фактическая хозяйка усадьбы И. Е. Репина «Пенаты», постоянно кормившая художника супом из свежего сена.

там и полегоньку поколачивали.

У реки Березины казаки чуть-чуть не взяли в плен самого Наполеона.

Один казак уже схватил было за фалды самого Наполеона. Но Наполеон навострил лыжи и ушел от казака.

Говорят, что спасением своим у реки Березины император обязан петуху.

Было это так.

Когда казаки уже совсем было настигли французов у Березины, кто-то из французов увидел впереди петуха и закричал:

— Братцы, пища!

У не евших уже более месяца французов силы удесятерились, и они быстрее лани помчались за петухом.

Расстояние между ними и казаками сразу увеличилось, и таким образом французы спаслись от плена.

Вот почему у французов до нынешнего дня петухи пользуются большим почетом.

Один из виднейших французских поэтов уже спустя много лет в честь петухов сочинил пьесу, назвав ее «Шантеклер»[11].

---

[11] Примечания: 11

Речь идет о пьесе Э. Ростана (1868–1918) «Шантеклер», что по-французски означает «петух»

V

Россия — великая держава

После нашествия французов, а главным образом после бегства их, Россия еще больше окрепла и стала одной из самых великих держав в мире.

Галлы же и пришедшие с ними «дванадесять язык» влачат до сих пор жалкое существование под названием немцев, итальянцев, французов и т. д.

Год, в котором французы бежали из России, в честь чудесного избавления от них назван Двенадцатым.

* * *

Составлено по заслуживающим и не заслуживающим доверия источникам.

1911



Осип ДЫМОВ

Драматург

Летом все отдыхают: барин, чиновник, депутат.

Работает один только драматург. Он готовит пьесу.

Кряхтит, но пишет. Обливается потом, но пишет.

Впрочем, вы думаете, это он сел писать пьесу? Нет! До пьесы еще далеко.

Он пишет письмо г-же Эн, примадонне театра. Он просит, то есть он осмеливается просить, принять его завтра в любое время дня и ночи.

Но, подумав, «ночи» вычеркивает.

Наутро драматург надевает сюртук и едет к г-же Эн.

Г-жа Эн не в духе. Ах, оспа! Ах, жара! Ах, к чему столько страданий на свете! И любовь! Что такое любовь? Все умрем. Смерть. Кладбище. Розы. Молодость. Любовь. Неправда, оставьте мою руку…

Но драматург не оставляет. Он говорит, что сейчас ломается современная душа и новая актриса должна воплотить этот излом!.. Конечно, смерть

— это верно. Но, между прочим, какую бы она хотела роль на случай, если бы муза посетила его, драматурга, убогое жилище?

Ах, роль? Но стоит ли? Кладбище. Любовь. Цветы. Оспа. Но если бы это случилось — насчет музы то есть, она нетребовательна. Она играет все. Она не возвращает ролей, как длинная г-жа Энен — бездарность. Свои вставные зубы она на ночь опускает в банку с керосином. Одним словом, роль должна быть такая: монолог в конце первого акта, монолог в конце второго акта, монолог в конце третьего акта, в конце четвертого, пятого, шестого, седьм… что? Только пять актов? Ну, пусть пять. Дальше: декольте до восьмого ряда… Что? Нет, это не низко. Остается самоубийство, убийство, два любовника, ну, и еще что-нибудь, что придется. Это уж не ее дело. Она не может заказывать ролей. Она этим никогда не занимается. Может быть, кто другая, которую боятся целовать мужчины, потому что их примут потом за служащих керосиновых магазинов.

Драматург оправляет сюртук, целует руку г-же Эн и едет к г-же Энен.

Она полулежит на кушетке, и ее лицо грустно. Этот сюртук? Да? Она помнит. Она все помнит, если речь идет о человеке, человеке, который…

Ах, любовь! Кто ее придумал? Вселенная. Шекспир, электричество… Да, конечно. но отчего не пользоваться жизнью? Если имеешь скверный желудок, как другая, то это, конечно, трудно. Другие — ну, те, которые должны выпрашивать роли и строить все свое благополучие на монологах. Как будто порядочная пьеса может состоять из одних только монологов. Ведь это абсурд. Диалог гораздо интереснее, живее, занимательнее. Если бы ее спросили, она бы сказала: диалог. Диалог в конце первого акта, в конце второго акта, третьего, четвертого, пятого, шест… ах да. только пять актов. Затем желательно, чтобы в пьесе была только одна женская роль. Не потому, чтобы она боялась соперничества — ха-ха! — это смешно, а просто потому, что разбивается внимание. Зато можно больше мужских ролей. Скажем, так: взамен каждой женской роли — две мужские. Впрочем, это не ее дело. Она не может заказывать ролей. Она этим никогда не занимается. Может быть, кто другая, которая…

Драматург раскланивается и едет к директору театра.

Директор театра сначала говорит, что его нет дома, но потом, подумав, действительно, соглашается, что он дома.

Начинают обсуждать ту будущую пьесу, которая еще не написана.

— Голубчик, — говорит директор, — конечно, я не вмешиваюсь, но не пишите вы ничего о политике.

«Не о политике», — отмечает у себя драматург.

— Политика надоела. Не касайтесь также гомосексуальности — это старо.

«Гомосексуальное», — отмечает драматург.

Исключите также еврейский вопрос.

«Еврейский вопрос».

— Забудьте совершенно об армии и флоте.

«Армия и флот».

— Не нападайте на бюрократию.

«Бюрокр…»

Не касайтесь проституции.

«Прост.».

— Не выводите на сцену писателей, скульпторов, борцов, кокоток, сыщиков, спиритов, студентов.

— Постойте, сейчас.

— Вдов, инженеров, депутатов, крестьян, миссионеров.

«…онеров».

— А дайте слушателям здоровую, свежую пищу.

«Пишу».

— К чему вы «пишу» записываете? Это уж явится само собой.

«Само со…»

— Тьфу!

— А главное: не слушайте никаких советов. Пишите то, что Бог на душу положит. Пишите, как и что хочется, и выйдет очень хорошо. Я уверен, что выйдет прекрасно.

Драматург благодарит за совет и раскланивается…Летом все отдыхают: барин, чиновник, депутат. Работает один только драматург.

1911

Слова

Пора перебираться в город. По утрам становится холодно, роса не высыхает до десяти часов утра. Мясник уже дважды приходил со счетом. Увядают цветы.

Лето прошло и — ничего не случилось. Уж который раз! В мае, когда перебирались, думалось, что случится нечто необыкновенное. И ожидалось это со дня на день, с недели на неделю.

«Вот сегодня! Вот вечером…» — смутно думалось Ольге Федорове.

Она взбивала волосы перед зеркалом, брала кремовый с кружевами зонтик и шла.

Шла, — но ни в роще, ни около озера, ни за мельницей ничего не было, кроме пыли, духоты и длинных мыслей.

Так прокатилось лето.

Теперь близка осень, и через несколько дней переедут в город. Что-то там будет?

— Повтори слова, — советует ей мать, пожилая женщина в пенсне. — Александр Романович тебе поможет.

— Какие слова? Я хорошо помню.

— Все лето не повторяла. Нельзя же. Приедем в город, и начнется.

Ольга Федоровна вытаскивает из-под груды книг толстую. изрядно растрепавшуюся тетрадку в синей обертке и. вздыхая, усаживается повторять.

Александр Романович, молодой человек с длинными волосами, невероятно много курящий, тоже садится и приступает к работе.

— Надоела мне эта тетрадка, — замечает она и начинает: — Проблема пола. Проблема наготы. Мужской элемент в женщине. Портрет Дориана Грэя. Любовь не имеет ничего общего с деторасположением.

— Деторождением, — хладнокровно поправляет Александр Романович и затягивается.

— Разве?

Она всматривается и соглашается:

— Да. вы правы: «с деторождением». Свобода пола. Свобода встреч. Кстати, я встретила Ниночку: она выходит замуж за Полозова.

— Неужели?

— Факт. Повезло этой дуре!

— Но ведь Полозов и сам не умен.

— Не умен, а все же… Культ красоты. Половой вопрос. Профессора Фореля.

— Форель сюда не относится. — замечает длинноволосый юноша, — это пример.

— Нет. это слова.

— Пример к словам.

— Ну, все равно. Надоело.

Она зевает и передает синюю истрепанную тетрадку собеседнику.

Тот делает серьезное лицо и слушает.

Ольга Федоровна начинает говорить, считая по пальцам и наклоняя при каждом слове голову с взбитыми волосами:

— Проблема пола. Проблема наготы. Любовь не имеет тра-та-та. Портрет Дориана Фореля… то есть нет. Я слова знаю, — говорит она, — а приме-

ры хуже, бог с ними, с примерами.

В это время входит мать.

— Повторила? — спрашивает она дочь.

— Да, знаю.

— И позапрошлогодние?

— Зачем позапрошлогодние? Они не нужны.

— Действительно, — вмешивается юноша, — позапрошлогодние слова никому не нужны. Их совсем уже не слышно.

— Мало ли, что не слышно, — возражает мать, — неизвестно, о чем теперь будут говорить, какие темы на очереди. Надо быть готовым ко всему.

Ольга Федоровна, лениво раскидывая руками, достает из-под ног тетрадку в коричневой обложке.

— От нее несет мышами! — брезгливо замечает она и морщит хорошенький носик.

— Действительно несет, — соглашается юноша. — Отчего бы оно это?

— Потому что залежалась, — объясняет мать, — если бы выветрила летом, то…

Но дочь раскрывает тетрадку и начинает нараспев повторять:

— Избранники народа. Планомерная работа. Равноправие народностей. Осада власти.

— Осада власти — вычеркнуто. — говорит юноша.

— Да, верно.

— Если вычеркнуто, не надо учить.

— Власть исполнительная да подчинится… неразборчиво кому подчинится.

— Если неразборчиво, тоже не надо, — соглашается мать.

— Нужды крестьянства.

— Кого? — изумленно спрашивает молодой человек.

— Крестьянства! — повторяет дочь.

— Это что же такое? — спрашивает он.

— Не знаю. Может, болезнь такая?

— Не болезнь, а занятие, — солидно замечает мать. — Было такое занятие.

— Ну, бог с ними. Наказ. Оппозиция. Комиссия. Блок.

— Блок как сюда попал? Ведь это из прошлогодних слов.

— Это другой блок.

— Неужели в твое время тоже так было, мама?

— В мое время, конечно, все было иначе. Да, очень нервный век.

— Легко отстать от века, — говорит молодой человек, — уедешь куда-нибудь недели на две,

потом вернешься и надо нагонять.

— Повтори также и четвертого года слова, — произносит мать.

— Мама! — протестует дочь. — Но ведь это такое старье!

— Необходимо! — настаивает мать. — Никто не знает, какая мода будет зимой.

— Я не помню, где тетрадка, — сердясь, говорит дочь.

Искать приходится долго: в комоде, под диваном, даже на кухне. Наконец она нашлась в спальне, в ящике, вместе с грязным бельем.

— Фу, какая гадость! — говорить дочь. — Да это в руки нельзя взять.

— Только пересмотри — успокаивает мать, — потом опять бросишь.

— Я не могу, держите вы, — просит Ольга Федоровна юношу.

Тот перелистывает пожелтевшие страницы, а Ольга Федоровна из-за его плеча читает:

— Диктатура пролетариата. Забастовка. Электричество. Всеобщее, прямое, равное и тайное…

Юноша покровительственно улыбается и произносит:

— Не правда ли: как смешно читать?

— Мама, ну к чему я буду это повторять? Ведь

это никому не нужно.

— Ну, про всеобщее и тайное действительно можешь забыть, но другие слова интересны.

— Какие же? Все скучны.

— Историческое вспоминание. — сгоняя улыбку, замечает юноша.

— История есть священная книга народов, главная, необходимая, — начинает дочь барабанить по Карамзину.

Мать ласково смотрит на нее и говорит:

— Пойдем обедать, довольно заниматься.

И потом добавляет огорченно:

— А Полозова ты все-таки прозевала…

1911

Дело Зудотешина

Однажды случилось следующее.

Петр Зудотешин, внук того, известного, выпустил в свет необычайную книгу, в которой все листы были совершенно белые и только на обложке была нарисована голая женщина с рыбьим хвостом и надписью:

«Сочинение Петра Зудотешина. Посвящаю памяти моего дедушки. СПбург. 191* год. Издание первое. Цена 1 р.».

Судьба этой странной книги оказалась совершенно оригинальной; против всякого ожидания, автор сразу получил громадную известность не только в России, но и далеко за ее пределами.

Начать с того, что газета «Вчера» жестоко разбранила автора, во-первых, за стиль, во-вторых, за дерзкий выбор тем и, в-третьих, за национальность. «Развязность автора, безграмотные обороты, порнографические сюжеты и полное незнакомство с русской жизнью слишком явно выдают национальность писаки. Доколе же оборотливые иноплеменники будут скрывать свои специфические имена под русскими фамилиями?»

Газета «Послезавтра», напротив, отнеслась к книге благожелательно. «Мягкий юмор и искренность подкупают читателя; лучшим рассказом бесспорно надо считать первый; что же касается остальных, то нельзя не пожалеть о некоторой торопливой небрежности автора, по всей вероятности, еще юного».

Остальные газеты хранили молчание. Автор уже собирался огорчиться, как вдруг…

Как вдруг книга была конфискована.

— На основании положения и т. д.

Это означало решительный успех. В тот же день

было продано в одном Петербурге более двухсот экземпляров, и прибыли несколько телеграмм из провинции: «Высылайте наложным».

Потом в надлежащих сферах стали совещаться, как быть с этой странной книгой.

— Собственно говоря, за что мы конфисковали?

— Как за что? Она вредная.

— Пи… Вы говорите про рыбий хвост? Конечно, это про-ти-во-естественно, но в наше время, когда… словом, это даже пикантно.

— Суть не в том. Содержание книги, к сожалению, касается политики.

— По-ли-ти-ки? Скажите пожалуйста! Но ведь там одни белые страницы!

— Вот в этом-то и вся суть. В прежние времена, когда общество было незрелым, газеты все крамольные мысли помещали между строчками.

— Помню.

— Страшно не то, что напечатано, а то. что не напечатано. Тогда так прямо и говорили: читайте между строчками.

— ГМ… что же из того?

— А то, что главная крамола находится именно в белой бумаге, в междустрочии, междубуквии.

— Положим. Дальше?

— А что же мы имеем в этой книге? Одну сплошную белую бума!у, так сказать, одно сплошное междустрочие.

— Я начинаю понимать вас!

— Эта книга, по-моему, опаснее самой революционной статьи. Ибо в статье догадки читателя ограничены строчками, текстом, смыслом статьи, а здесь — пожалуйте! Никаких пределов!

— Вы думаете, что его следует привлечь?

— Конечно, привлечь. Немедленно.

— Да, но за что именно?

Вот это было не легко решить.

Чтобы не терять времени, у автора произвели тщательный обыск и не нашли ничего предосудительного. Это еще более убедило в том. что он человек опасный.

Долго и экстренно совещались: кто должен привлечь?

— Если решить кто, то уж легче потом узнать за что, — вполне резонно рассуждали в надлежащих инстанциях.

Думали: может быть, железнодорожное ведомство должно привлечь его за клевету? Потому что такая громадная клевета могла быть направлена именно против железных дорог.

Но здесь выручило интендантство и сказало,

что, так как вообще за последнее время часто возбуждает обвинения в клевете, оно, так и быть, согласно возбудить и против г. Зудотешина.

Между тем книга все более и более шла в гору. Предприимчивые издатели заготовляли уже пятнадцатое издание. Появились некоторые весьма удачные подделки. Публика брала книгу нарасхват. Автор получал много писем, и все от женщин. Причем доплачивал за марки.

На литературных вечерах лучшие декламаторы читали отрывки из книги Зудотешина. Однажды выступил брат автора (ибо он сам был изъят) и имел колоссальный успех. В течение месяца книга была переведена на немецкий, французский, английский и испанский языки. Хотели было перевести ее и на португальский, но в той стране царит такой хаос, что было не до переводов. В Нью-Йорке даже ухитрились переделать эту книгу в драму, и она тоже имела большой успех. Автор попробовал было переделать эту драму в драму для русской сцены, но ее моментально прихлопнула цензура.

Прокуратура была поставлена в весьма затруднительное положение, ибо отыскать параграф закона, который соответствовал бы в полном объеме преступлению г. Зудотешина, было нелегко.

Наконец, через два года, все устроилось, был отыскан гражданский истец, и параграф закона, и даже свидетели.

Лучшие юристы страны вызвались совершенно безвозмездно защищать подсудимого и проводить его до места ссылки, буде это окажется необходимым.

Места в суд брались с бою. Дума (тогда в стране еще была Дума) объявила перерыв на все время судопроизводства…

Дело началось слушанием.

1911

Оппозиция

Голоса слева: — Ого!»

(Из думского отчета)

В первый раз с левой стороны раздался этот голос:

— Ого!

И все встрепенулись. Словно это было сигналом. Крайний правый, говоривший об армянской интриге, на минуту замолчал и с тоскою подумал: «Попадет мне!»

Председатель инстинктивно взялся за колокольчик, чтобы изо всей силы замахнуться на

левого, который, конечно, сейчас начнет громовую речь.

«Опять ссора с эсдеками, — неприветливо подумал депутат-профессор, печаловавшийся за русский народ на семи иностранных языках. — Всю музыку испортит».

Правые, ожидая громовой отповеди, присмирели, и некоторые так даже сказали:

— Позвольте выйти!

И вышли.

Но…

Крайний правый окончил говорить. Председатель был так заинтересован тем. что сейчас произойдет, что забыл удалить его на пятнадцать заседаний. Удивленный и озадаченный правый стоял на пороге в ожидании, что ему скажут: «Вон!»

Но никто его не гнал. Он еще подождал и, недоумевая, вернулся на место.

— Что же это такое? — громко спросил он товарища по фракции.

— Непонятно! — ответил тот и развел руками.

— Тише, дайте говорить!

— Кому говорить?

— Левому оратору.

— Где же он?

— Вы же слышали: он сказал «ого!». Ну, теперь держись.

— Экие эти левые. Только бы скандалить!

— Дисциплина! Долг перед страной.

Но, странное дело, никто не просил слова, никто не пытался говорить.

Председатель даже приподнялся.

— Господа! Не хочет ли кто возразить? — спросил он и довольно определенно глянул влево.

Подождали некоторое время, и заседание покатилось дальше.

После этого через два дня монархист говорил о субсидии на патриотизм. Говорил очень логично. Приблизительно так: патриотизм продукт дорогой: в сущности, его следует отнести к предметам роскоши. Изготовлять и насаждать его стоит дорого. Между тем народ нуждается в патриотизме. И посему необходимо лицам, занимающимся патриотической промышленностью, выдавать субсидии от начальства.

В то время как он так говорил, с левой стороны, в восточном направлении — как потом удалось выяснить, послышался прежний голос:

— Ого!

«Опять! — досадливо подумал профессор с семью языками. — Ну что им стоит промолчать!

Если левые по каждому вопросу будут три дня разговаривать, то мы никогда отечества не спасем».

Опять поднялся среди правых переполох, и опять некоторые сказали:

— Позвольте выйти!

И ушли — подальше от греха.

И председатель взялся за колокольчик.

И стенографистки навострили уши.

И… опять тишина!

Никто не просил слова. Никто не возражал.

Субсидия была Думой решена. Что-то около пяти миллионов — на первое время.

Тут даже профессор не выдержал… Во время перерыва он отправился упрекать левых.

Шел он долго, потому что расстояние надо было пройти большое.

Наконец дошел, поздоровался.

— Послушайте, господа, — начал ученый профессор. — Почему вы не возражали? Ведь вы — оппозиция.

— Конечно, мы оппозиция!

— Я и говорю. Чего же вы не возражали? Ведь пять миллионов ассигновано на поддержку патриотизма. Чего же вы молчали?

— Как мы молчали?! Мы не молчали, — сказал один.

— Еще как не молчали, — добавил второй.

— Но…

— Разве вы не слышали: он сказал «ого!».

— Кто?

— Да вот тот, с бородой: он сказал «ого!».

— Я сказал «ого!» — отозвался с бородой.

— Еще как сказал: «ого!» — добавил второй.

Профессор ушел удовлетворенный.

— Они сказали «ого!», — успокоительно объяснил он своим единомышленникам, вернувшись через некоторое время (ибо расстояние было велико). — Еще как сказали «ого!» Потому что они — оппозиция.

— Конечно, они оппозиция, — согласились свои, — ведь они сидят налево.

После этого все в Думе уже знали, что оппозиция не дремлет и в нужное время непременно заступится за народные интересы и скажет:

— Ого!

Правые ораторы, настаивая на какой-либо крупной и рискованной ассигновке, делали соответствующие паузы и передышки, чтобы оппозиция могла высказаться и вставить «Ого!».

Выходило это приблизительно так.

— Господа народные представители! От имени правых имею честь внести предложение об

увеличении содержания господ тюремных надзирателей… (Передышка, взгляд налево).

— Ого!

— …И их помощников. Тюремная стража выбивается из сил. На них возложена тяжелая, подчас непосильная задача возродить заблудшие души и направить их на путь истины… на путь истины…

Тут оратор останавливался, потому что ждал, чтобы произнесли «ого!».

— На путь истины! — в третий раз, уже сердясь, повторял правый депутат.

— Ого! — неслось слева.

— Наконец! — успокоительно бормотал правый и продолжал свою речь: — Поэтому я полагаю, что…

В стране тоже знали, что можно быть спокойным, ибо вовремя будет сказано «ого».

Иногда какой-нибудь недогадливый человек сердился и говорил:

— Как странно: опять обсуждался важнейший вопрос, а оппозиция молчала!

Такого чудака, конечно, ничего не стоило пристыдить. Надо было только раскрыть стенографический отчет и указать:

— Смотрите, вы. чудак! Видите — в скобках

сказано: «Голос слева «ого!».

— Да, теперь вижу. Спасибо.

— И даже курсивом! Вот, батенька, еще есть порох в пороховницах, как говорится.

— Как же они курсивом кричат «ого»?

— Так и кричат!

— Удивительно. Никогда не слышал, чтобы курсивом кричали.

— На то, батенька, оппозиция!

И когда однажды по вопросу о водочных этикетках один из левых попросил слова для обстоятельного доклада, председатель Думы наотрез отказал ему, сказав:

— Вы там и так без конца разговариваете.

На что тотчас же явственно послышалось:

— Ого!

1911



Сказка города

В восемь часов еще было темно.

В половине девятого вяло рассвело, и наступал северный декабрьский день.

В десять часов он еще спал. В одиннадцать послышался телефонный звонок.

Он медленно и лениво подошел к аппарату, так как не ждал ничего интересного.

— Алло! Кто говорит?

— Как не стыдно так долго спать?

— Гм... Я поздно лег.

— Кутили?

— Как вам сказать? Пожалуй.

— Конечно, с женщиной?

— Почему «конечно»? Позвольте, однако, узнать, кто со мной говорит?

— Ведь вы слышите, что женщина.

— Да. Но я не узнаю голоса.

— Это не мудрено, так как вы никогда не слышали меня.

— И не видел?

— Может быть, и видели, да не обратили внимания.

— Следовательно, как бы не видел.

— Следовательно, не видели. Вероятно, вам часто звонят незнакомые женщины.

— О нет! Во всяком случае, у них нет такого

удивительного и нервного голоса.

— Мерси.

— Неужели я вас видел и прошел мимо?

— Представьте!

— Это крайне безрассудно с моей стороны. Послушайте, милая барышня, у вас светлые волосы?

— Вы уверены, что я барышня?

— Да. Во всяком случае, я вас так воображаю. Скажите, зачем мне звоните, хотя, конечно, я этому безмерно рад.

— Затем, что вы мне нравитесь.

— Это очень откровенно, милая девушка.

— Единственно: зачем вы брюнет? Это нехорошо с вашей стороны.

— В душе я блондин.

— Прекрасно! Это декадентское выражение надо запомнить: в душе я блондин.

— В вашем смехе чувствуется много опыта.

— В чем я опытна?

— Это я вам скажу при встрече.

— Вы надеетесь меня встретить?

— А то как же? Алло! Вы слушаете?

— Слушаю. А что?

— Почему же вы молчите? Вы не хотите меня видеть?

— Кажется, нас хотят разъединить.

— Я прошу вас… Я должен вас увидеть. У вас светлые волосы, неправильное лицо, смеющиеся глаза и широкий рот. Вы в длинной черной мешковатой шубке и… Где я вас увижу?

— В четыре часа я буду…

— Алло! Где вы будете?

— . . .

— Алло! Вы слушаете? Где? где будете? Где?.. Что такое?

— . . .

— Барышня! Нет, я совсем не кончил… Зачем вы разъединили?.. Я не знаю номера… Вы должны помнить номер, черт вас возьми… Ладно, жалуйтесь хоть самому дьяволу! Пожалуйста! Вы никогда не выйдете замуж — вот увидите. Бог вас накажет.

В четыре часа он гулял по Невскому. Уверенность, что телефонная барышня никогда не выйдет замуж и весь век останется старой девой, уже не была так сильна. Он просидел все утро дома, ожидая вторичного звонка. Но аппарат притворялся глухонемым. Он смотрел на его тонкую ножку, на изогнутую трубку, на чашечку электрического звонка приблизительно так же, как голодная собака смотрит на нарисованную

колбасу. Казалось таким простым делом: звонок! А вот поди ты: молчит. «Хоть бы ошибся кто-нибудь! Хоть бы Петя позвонил!» — думал он, отлично помня про свой долг Пете.

Незаметно сгустились сумерки: день продолжался семь часов — северный, зимний день огромного города… Вечер начинался задолго до обеда и сейчас же за завтраком: приходится время мерить по меню, если так занят, что ничего не делаешь.

На Невском уже шла своя жизнь, непохожая ни на что на свете и возможная только здесь, в пространстве этой широкой колдовской улицы. Он думал: «Кто не понимает Невского, не понимает Петербурга». А потом мысленно добавлял, уже сердясь: «Тот вообще ничего не понимает!»

Он был уверен, что знает, понимает, постигает Невский. Он служил Невскому так исправно, как не служил ни один чиновник. Только серьезная болезнь или решающее любовное свидание могли помешать ему появиться между четырьмя и шестью на Невском. Здесь день — северный, зимний день огромного города — достигал своего кульминационного пункта. Здесь были все начала и все заключения.

Он думал, что если где-либо может встретить

свою незнакомку, оборвавшую разговор в самом интересном месте, то, конечно, только на Невском. Ему казалось, что он узнает ее — в длинной черной мешковатой шубке, со светлыми, слегка рыжеватыми волосами, выбивавшимися из-под меховой шапочки, с широким ртом и смеющимися, задорными глазами на неправильном, породистом лице…

Несколько месяцев тому назад скрылось солнце, о нем забыли и, по правде сказать, не вспоминали. Под низким сводом неба в морозном, свежем воздухе шла своя жизнь, опушенная снегом, рождались другие мечты и мысли, которые совершенно непонятны непетербуржцу. И широкий, колдовской Невский проспект, меняющий свое лицо с каждым часом, вбирал и рожал из себя сказочную жизнь северного, семичасового дня.

Он шел и вглядывался. На Невском только смотрят — улыбкой, глазами, всем лицом, всем существованием… Шли мимо сотни и сотни людей — почти все молодые, все живущие колдовской жизнью Невского — от четырех до шести…

— Простите, что я останавливаю вас. Ради Бога, не подумайте… но… — начал он.

Она не ответила. Он пошел рядом.

— Вообразите! Утром мне позвонила девушка,

внезапно нас разъединили. Возможно, что она сама повесила трубку. Она блондинка, извините…

— Но у меня черные волосы…

— Да, я вижу, что черные. Но это не меняет сути дела. Кстати, вы завтра не будете на балу инженеров? Пожалуйста, придите.

В шесть часов он уже был на катке. Быть может, незнакомка со светлыми волосами там. Судя по сильному, мягко вибрирующему голосу, она молода, жизнерадостна. Почему бы ей не кататься на коньках?

Над городом и над всем севером стоял неподвижный, тревожный, ласковый вечер — так казалось ему, «блондину в душе». Огромный фонарь, словно гигантский глаз, вырванный из черепа исполина, висел над льдом, и лиловый свет освещал лица. Гремела медными голосами музыка, и сквозь пелену бодрости и веселья прорывалась меланхолия и беспривычная, важная грусть. Почему от бодрой, яркой музыки вдруг становилось печально — он не мог объяснить. Сразу вспомнилось детство и те детские — также зимние — мысли, которые были десять — пятнадцать лет назад и… котор…

— Виноват, — проговорил какой-то голос и толкнул его вправо.

— Виноват. — сказал другой голос и толкнул влево.

— Ах, извините, — сказала девушка, толкнула и, улыбнувшись, исчезла, наклоняя тело в стороны.

У девушки были карие глаза и каштановые волосы; на ней была не черная, мешковатая шубка, а рыжая меховая жакетка. Словом, это была другая; тем не менее он стал следить за нею и ждал, пока она, сделав круг, вернется.

— Извините, — проговорил он, нагоняя ее, — быть может, вам и покажется странным, но сегодня утром мне позвонили по телефону и…

— Какой телефон? — быстро и не сердясь ответила девушка. — Я не знаю.

Она поспешно отскочила, потому что издали за нею следил юнкер.

Гремела томной печалью веселая музыка. Своеобразным. бодрым зимним звуком звучал лед под коньком; посыпался мелкий снежок. Тени лилового фонаря ложились на молодые лица. Он следил за девушкой в рыжей жакетке. Несколько раз улавливал ее взгляд, но тут же сбоку, спереди, сзади, слева вертелся бесом высокий юнкер. «Кому нужны юнкера? — с тоской подумалось ему. — Жениться бы ему на той телефонной барышне», — продолжал он мечтать, но вспомнил,

что обрек телефонистку на безбрачие и что таким образом противоречил себе.

Снег посыпался гуще, поднялся легкий ветер. Юнкер с грохотом прокатился мимо: девушка с каштановыми волосами, воспользовавшись моментом, шепнула:

— Приходите послезавтра на вечеринку воронежского землячества. Придете? Я буду одна.

И проскользнула мимо.

* * *

Дальше шел холодный декабрьский вечер севера. Го-рели холодным светом фонари, всюду чуялась жизнь, ушедшая от солнца, спрятавшаяся в дома, под крышу, в театры и рестораны. Снег перестал сыпаться: серая, плотная муть, застилавшая небо, потемнела, почернела и нависла тьмою над городом.

Изящные, легкие кареты, автомобили, сани, запряженные взволнованно дышащими лошадьми, подъезжали к театру. Женщины, одетые как на бал, быстро поднимались по каменным ступеням, по которым прошли ряды поколений. И опять, среди старых величественных стен, ожили тени снов, призраки мыслей, видения ума человека, чьи кости давно истлели в могиле. Шла

старая-старая опера; ее мелодии волновали мозг наших прабабушек, когда они были молодыми девушками и, одетые как на бал. быстро поднимались по каменным ступеням…

Человек с темным цветом волос, но «блондин в душе» слушал рассеянно оперу и ждал антрактов. Ему мерещилась незнакомая девушка с нервным голосом и смеющимися глазами на неправильном породистом лице. Быть может, она сидит в этой ложе. Или в той? Или он встретит ее в фойе?

Но девушки не было. Тоска, кислая и беспредметная, зашевелилась в сердце. Какая-то дама с усталыми глазами обронила перчатку и прошла мимо. Его сердце встрепенулось, он поднял измятую, нежно и таинственно пахнущую перчатку и подал. Дама небрежно поблагодарила, рассеянно и деланно улыбнувшись.

— Извините, — сказал он ей, — но сегодня утром… по телефону… виноват!

Дама так удивленно взглянула на него, что он прикусил язык, смешался и быстро отошел.

Последнего акта он не слушал. Кислая тоска увеличивалась. Он оделся и вышел. Строгий холод ударил по глазам и по лбу. У театра и дальше, на площади, молчаливыми рядами черных при-

зраков стояли экипажи, пролетки, сани. Сонные лошади и сонные люди ждали нарядных и сытых людей — ждали уже третий час на морозе и ветре. Многие из них были голодны, другие пьяны. И всех их окутала северная ночь.

Он шел по пустынным улицам. Были заперты все двери, все ворота. Ночное одиночество — зимний сон охватил город. В темном, черном, как бы уставшем небе вырисовывались шпицы башен, строгие контуры колоколен. однообразные, теперь уснувшие силуэты фабричных труб. Невский проспект — чудесный и колдовской днем — теперь был во власти ночных, темных сил. Ровной. широкой, пустынной рекой тянулся он от Невы до кладбища. Человеческие волны высохли в его русле, и по широким тротуарам, которые были шире провинциальной улицы, бродили жалкие, разряженные, уставшие, обмерзшие женщины… Так на песчаный берег отлива море выбрасывает умирающих улиток и сохнущих медуз… Кому нужна их жизнь? Или немая их смерть?

При свете ночных, равнодушных фонарей из глаз женщин, выброшенных ночным отливом на холод тротуарных плит, глядело само великое одиночество…

Он вернулся домой очень поздно, прошел в кабинет и опять увидел перед собой глухонемой аппарат телефона. Голос девушки, которую он искал весь день, чудился ему… Ее не было, она ушла. Вместо нее. словно из земли, выросли другие. Одна завтра будет на балу инженеров, другая послезавтра — на вечеринке воронежского землячества, третья прошла мимо, надменно улыбнувшись. О, счастливая тоска молодости, похожая на улыбку!

От выпитого вина слегка шумело в голове, и на сердце была томная, меланхолическая грусть. Думалось, что провалился еще один день молодости и теперь в ночной, поздний час, когда четко стояли предметы в комнате, казалось, что погибло что-то дорогое.

Он подошел к телефону и, хотя никто не звонил, снял трубку и приложил ее к уху. Странное молчание услышал он. Где-то далеко ударил колокол; ему почудилось, что это говорит с ним — как и сегодня утром — душа города, голос северной зимы, который толкнул его на улицу, к людям, к снежной, меланхолически улыбавшейся сказке…

Юмористическая библиотека «Сатирикона».
1912, выпуск 77

Математик

Гениальныи математик, которого знал весь свет, был приглашен на гастроли и вечером должен был выступить перед переполненной аудиторией.

Он приехал накануне поздно ночью и остановился в гостинице. По обыкновению, ему снились цифры.

Снилось, что он в каком-то зале на эстраде. Зал переполнен (удивительно, что ему никогда не снился пустой зал!), и на черной доске мелькают многомиллионные цифры. Он во фраке и со всеми своими двенадцатью орденами и медалями извлекает корень кубический из огромного числа и… ошибается.

— Неверно! Ошибка! — кричит кто-то над его ухом.

Математика пронизывает холод, он стонет во сне и просыпается.

В дорогом номере все тихо. Тишина и за дверью в коридоре. Математик поднимается, сердце его колотится. Он напрягает память и явно вспоминает девятизначное число, из которого он только что во сне извлекал кубический корень, — 947

673 702.

— Девять… семь… шестнадцать, — бормочет он и находит решение.

Бежит к столу, хватает карандаш. Верно! Совершенно верно! Он не ошибся и во сне извлек корень совершенно правильно!

Засыпает он с мыслью и с желанием опять увидеть тот же зал и ту же публику, чтобы доказать им свою правоту.

Но вместо этого снится груда кирпичей, которую надо возвысить в квадрат, т. е. помножить на себя же. Множить, однако, надо не кирпичи, а только число их. Предварительно необходимо сосчитать их в две секунды… Во сне математик опять начинает ощущать приступ страха. Он живо изобретает для себя какую-то новую формулу и, точно аршином, измеряет ею кучу кирпичей.

— Ошибка! Неверно! — насмешливо кричат и хохочут ему в уши.

Опять просыпается бедняга. Уже мутнеет ночь, рассветает, близок серый северный день, который длится… Сколько секунд он длится?

Математик невольно задумывается. В его мозгу, точно черви, зашевелились цифры — тысячи, миллионы, биллионы… Он нервно хватает себя за голову, за сердце, вычисляет, комбинирует и

на этом засыпает.

Когда он окончательно просыпается, уже совершенно светло — насколько вообще может быть светло в конце сентября в северном городе, в гостинице, при условии, что электрические лампы силою в 16 свечей зажигаются в девять часов утра.

Математик щупает свою голову — цела ли? — потому что сегодня вечером сеанс. Затем до умывания он на всякий случай складывает все те числа, которые ему приснились за ночь: 947 673 702 + извлеченный отсюда кубический корень + груда кирпичей, возведенная в квадрат, + количество минут и секунд северного сентябрьского дня + еще что-то… Но делает он это легко, свободно и меньше чем в секунду уже знает итог.

Тогда он мылит лицо и руки и довольный улыбается, причем мыло № 9911 попадает ему в глаза и щиплет.

Не растерявшись, он множит количество секунд на 9911 и хватается за полотенце.

Потом звонит и пьет чай.

Одевшись, он гуляет по улицам. Его еще не знают в лицо — узнают только сегодня вечером, — и он доволен. Никто не подглядывает за ним, никто не шепчется за спиной, никто не спрашивает в

54 742-й раз:

— Как вы это делаете?

Можно свободно ходить по улицам, не прятать лица, бормотать и размахивать руками. Если не размахивать руками и не хвататься за голову, труднее извлекаются кубические корни и медленнее возводятся пятизначные числа в квадрат.

Математик гуляет и наслаждается свежим, бодрым осенним утром. Наслаждается он своеобразно: не видит ни неба, ни домов, ни изящных женщин в модных шляпах. Не замечает шума города и свежести воздуха. Его глаза ловят номер мимо проехавшего извозчика.... Он складывает все эти цифры и множит на 54 742 — цифру обращенных к нему вопросов:

— Как вы это делаете?

И извлекает кубический корень... Ему попадается на глаза объявление о папиросах № 5.

«Ага, — думает математик, — ну-ка, возведу квадрат общей суммы в седьмую степень».

Хватается за голову, за сердце, моргает глазами, бормочет и через минуту произносит вслух такое длинное число, что должен на пути его дважды перевести дыхание.

Проделав это. он несколько успокаивается и решает зайти в гастрономический магазин ку-

пить фруктов.

Приказчик вежливо кланяется раннему посетителю и спрашивает, что угодно.

— Дайте мне яблок… и слив… и груш, — произносит гениальный математик, мысленно прикидывая, сколько букв во всех этих произнесенных словах. Приказчик показывает, а математик в это время присоединяет куб этого числа к корню квадратному из приснившихся кирпичей.

— Вам десяток яблок? — осведомляется вежливый приказчик.

— Да.

— Шесть гривен десяток. А слив сколько?

— Почем сливы? — спрашивает математик и продолжает вычисления. Ему надо узнать, делится ли получаемая сумма на 113.

— По сорок. Извольте, уступлю за тридцать пять. Груш сколько?

— Пяток. Почем?

Приказчик заворачивает товар, что-то говорит и советует. Математик хватается за голову, кажется, не делится… Но каков остаток?

— Пожалуйте, — произносит приказчик и выжидательно изгибается над прилавком.

Математик вынимает трехрублевку и подает. Приказчик относит ее в кассу, держа бумажку

так, словно он поймал бабочку.

«Семьдесят тысяч девятнадцать миллионов… четырнадцать биллионов», — кишит в мозгу математика. И он опять в царстве триллионов.

Приказчик приносит сдачи, но по дороге ловко зажимает пятиалтынный между средним и указательным пальцами.

— Пожалуйте, — говорит он с удвоенной любезностью и протягивает деньги.

Посетитель бегло взглядывает на монеты, в секунду перемножает их, возводит в восьмую степень и извлекает корень пятой степени. Он берет свои покупки и, бормоча, уходит.

Приказчик затворяет за ним тяжелую стеклянную дверь и спокойно опускает в карман свой честно заработанный пятиалтынный…

— Никогда так рано не зарабатывал, — говорит он другому приказчику и смеется.

Юмористическая библиотека «Сатирикона», 1912. выпуск 77



Николай ЕВРЕИНОВ

Слон за роялем
Музыкальная юмореска

Однажды в одном обществе,
Где — как это ни странно —
Случайно находился слон.
Шла речь о музыке.
Говорили о Чайковском,
О Шопене,
О Вагнере
И о великих виртуозах.
«А вы играете?» — спросили слона.
«Немного», — ответил он.
«Сыграйте, пожалуйста! Сыграйте, пожалуйста!» —
Раздалось со всех сторон.
Слон сел за рояль…
Но едва он взял несколько аккордов,
По его серым щекам
Из его маленьких глаз
Потекли две жемчужных слезинки…
«О чем вы плачете?» — спросили слона.
«Как же мне не плакать? — отвечал слон, —

Когда, быть может, я играю
На костях моей бедной матери!..»

«Сатирикон», 1931, № 1



Ефим ЗОЗУЛЯ

Лакей

Утро. Кафе только, что открылось.

Только что прикрепили к палкам газеты. Посетителей почти нет. Лакей, о котором я хочу написать, угрюм, морщинист и сед.

На затылке у него торчит кончик галстука. Почему-то этот кончик галстука часто торчит на шеях неудачников. как маленький черный флаг на траурном судне.

Он читал газету стоя. Что-то сильно заинтересовало его в военных сообщениях. Лицо почти влипло в газету. Рот раскрылся. Салфетка выпала из-под мышки на столик.

Вдруг к этому столику подошли два посетителя. Они о чем-то горячо беседовали.

Один из них, нелепый, грубый, весь какой-то косой и толстый, разговаривая, машинально забрал у лакея газету.

Лакей, увлеченный чтением, оторопел. У него забрали газету на самом интересном месте чтения. Он инстинктивно подался вперед и простер руку…

Но опомнился, встряхнулся, кашлянул, отошел на шаг, вскинул на разгиб руки салфетку и, не зная, что еще сделать, низко поклонился…

1916



Что-то такое

Я зарабатываю немало, но почему-то часто выходит так, что денег нет. И в этот вечер, когда я был полон беспричинной радости, у меня было всего пятьдесят копеек. Хотелось есть. Мучительно. Но есть можно было только в кафе. Все остальное было закрыто. А на сумму в пятьдесят копеек в этом кафе можно было получить только порцию жареного судака.

Кафе было переполнено. С трудом я нашел за одним из столиков свободный краешек. Уселся.

Решительно заказал порцию жареного судака и стал ждать. Минут через пятнадцать лакей принес требуемое.

Я так проголодался, что почти с дрожью схватил вилку.

Но тут произошло следующее.

Мимо столика, юля бедрами и кокетливо двигая локтями, пронеслась на высоких каблуках, шурша юбками, проститутка.

Кто-то окликнул ее, она резко — как раз около моего столика — повернулась и так несчастливо толкнула боком стол, что мой жареный судак, взвившись вместе с тарелкой на дыбы, полетел и плюхнулся об измызганный темный пол.

Все это произошло так быстро, что я сначала ничего не понял и продолжал сидеть с вилкой, глупо зажатой в руках.

Девушка смутилась. Отскочила, прижала почему-то руки к груди, посмотрела на меня, потом на бедный жареный судак и хотела что-то сказать, но не могла.

Тубы ее застыли печальной и смешной трубочкой, и в глазах было что-то такое — смущенное, милое, человеческое. что я поспешил сказать:

— Ничего, ничего, пожалуйста, не беспокойтесь!

Конечно, не происходи это в кафе, не беспокоился бы и я: я просто поднял бы рыбу и съел бы ее.

Но, к сожалению, это происходило именно в кафе.

Вокруг улыбались, кто-то за отдельным столиком, полупьяный, глупо заржал, и мысль об использовании несчастного жареного судака пришлось оставить.

Я ушел голодный. Есть в этот вечер уже не пришлось. Но, право, я не сердился. Не сердился не потому, что я добр, или великодушен, или деликатен.

Нет. В лице смущенной проститутки, в этих вытянутых смущенных губах было что-то такое необычное, до того не похожее на ее обычные ужимки, улыбки и гримасы. и это что-то было такое милое и хорошее, что я охотно позволил бы ей над любым моим блюдом произвести разрушительную операцию, подобную той, какую претерпел жареный судак, лишь бы опять увидеть на ее лице тогдашнее выражение…

Мне кажется, что за два раза это выражение не успело бы еще стать профессиональным…

1916

В таком плохом кинематографе

Странное зрелище: в таком плохом кинематографе — такой известный скрипач! Неужели он играет здесь?

— Не может быть!

— Ну. конечно, он не играет. Он сидит в маленьком фойе.

— Все-таки непонятно: что ему здесь делать?

— Да. Непонятно. Мы зашли только потому, что живем близко, и потому, что дождь. А он?

— Может быть, и он живет близко?

— Не знаю. Но он ведь не смотрит картины. Он сидит в фойе. И как давно! Ты заметила, когда мы пришли — он сидел. И теперь, когда мы просмотрели программу, он тоже сидит.

— Странно. Его лицо беспокойно. Он как будто томится.

— Хочешь, подождем, посмотрим. Интересно. Сеанс ведь окончен.

— Хорошо. Подождем.

Садимся. Из зала выходит публика.

— А как он хорошо играет! Помнишь, на последнем концерте?

— Да. Великолепный скрипач! У него уже боль-

шое имя.

— Очень большое. И как он еще молод! Но что он делает все-таки в этом кинематографе?

— Какая ты любопытная! Подожди.

Публика вышла. Фойе опустело. Неловко было сидеть. Мы встали и медленно направились к выходу.

И видели.

К известному скрипачу подошла девушка-билетерша. Она улыбнулась, сняла передник, завернула в газету…

— Смотри, смотри! Он помогает ей.

— Смотри, как он оживился! Он смеется. Какой он милый!

— А она! И она милая. Она надела пальто. Смотри, она совсем не похожа на бедную билетершу.

— А он не похож на известного скрипача.

— Они похожи на влюбленных…

— Ах, так вот отчего известный скрипач так долго сидел в фойе такого плохого кинематографа…

— А знаешь, она милая, эта девушка!

Мы выходим и, несмотря на холод и мрак, молча улыбаемся и не чувствуем ни холода, ни мрака. На душе тепло. Как хороша жизнь!

1917

Поучительная история об авторе авантюрных романов

У него была жена, маленькая, бледная, с острым, хищным носиком. Прежде чем писать роман, он говорил ей тему, и она одобряла.

Начал он литературную деятельность с небольшого романа на такую тему: у одной женщины был муж, которого она не любила, но притворялась любящей. Желая избавиться от него, она всеми силами помогала ему вести дела, и, когда он разбогател, она отравила его, переехала в другой город и, обеспеченная, зажила в полное удовольствие. Подозревать ее в убийстве никто не мог, потому что она никогда не ссорилась с мужем и была примерной женой.

— Недурно, а? — говорил писатель, самодовольно посмеиваясь. — Ловко скроено?

— Очень хорошо, — одобрила она.

Роман имел успех.

Следующее произведение писатель написал на такой сюжет: один бедняк, весьма не любимый женой, выиграл двести тысяч. Пока он лавировал, жена задумала адский план. В день получения

денег она сбросила его с балкона, с пятиэтажной высоты. Счастливец разбился насмерть. И кому могло прийти в голову, что его убила жена?

А она, погоревав сколько полагалось, переехала с деньгами в другой город и зажила в полное удовольствие.

— Что, недурно задумано, хе-хе? — посмеивался писатель, рассказывая тему жене.

— Очень хорошо, — одобрила жена.

Роман имел успех.

Следующая вещь была крупная, тоже роман.

Тема была такая: молодую девушку выдали замуж за нелюбимого человека. Она томилась и была несчастна, но тем не менее всякие ухаживания многочисленных поклонников отвергала.

Муж был видным общественным деятелем, и карьера его росла не по дням, а по часам. Все завидовали его успеху и счастливой семейной жизни.

Когда же он был назначен министром, с ним случилось несчастье: он внезапно скончался. Кому бы пришло в голову, что его убила жена, безупречная во всех отношениях?

Между тем жена, получая министерскую пенсию, переехала в другой город и зажила, без постылого мужа, в полное удовольствие…

— Ловко сделано, хе-хе! — смеялся писатель, развивая перед женой план романа.

— Очень хорошо, — одобрила жена.

Прошло несколько лет.

Писатель имел успех, а его авантюрные романы ходко шли на книжном рынке.

Наконец нашелся издатель, который купил все его сочинения за крупный гонорар.

Как раз в день получения денег с ним случилось несчастье: он насмерть угорел в собственной квартире. Жена его, как писали газеты, к счастью, отсутствовала и осталась в живых.

Как она теперь живет — неизвестно, но после смерти мужа она жить переехала в другой город.

1917

Репортер и пророчица

I

В столицу приехала девушка лет восемнадцати, с голубыми, умными, истерическими глазами. Остановилась в средней гостинице, отправилась в бульварный еженедельник и заявила, скрестив тонкие белые пальцы на юной нежной груди:

— Война окончится в ноябре. Я — пророчица.

Я чувствую это.

— Почему? — неопределенно и рассеянно спросил редактор, подумавший, что нужно будет сейчас же позвать фотографа, снять ее и устроить «сенсацию».

— Я чувствую, — закрыв глаза, повторила девушка.

— Как же вы это чувствуете? — глупо спросил редактор.

— Я — пророчица. Это у меня еще в гимназии было. Я всегда всем предсказывала. Не знаю, почему это со мною, только когда я предсказываю — сердце болит.

— Так.

Из других комнат вышли сотрудники. Окружили девушку. Задавали вопросы. Разглядывали. Когда она ушла, посыпались мнения:

— Авантюристка.

— Юродивая.

— Больная.

— Хитрая бестия! Карьеру сделает.

— Умница.

Через неделю журнал вышел с портретом девушки, автографом, биографией и предсказанием, что война окончится в ноябре.

Адрес гостиницы был указан, и к пророчице

посыпались письма.

Спрашивали в письмах жены, изменяют ли их мужья, и прилагали снимки мужей. Спрашивали матери, останутся ли в живых сыновья, ушедшие на войну. Спрашивал упорно в трех письмах неизвестный человек, где находится бумажник и золотые часы, украденные у него недавно.

Потом содержание писем расширилось.

Старушки просили у пророчицы исцеления от болезней. Обиженные женщины описывали несчастные свои романы. Разные люди посылали пророчице исповеди, дневники, автобиографии, забрасывали просьбами и поручениями, и даже кто-то в длинном письме с канцелярскими завитушками степенно просил «выдать денежное пособие на предмет исправления семейной жизни»…

Каждое утро девушке приносили по восемь-десять писем, и она читала их с легким волнением и сдержанной улыбкой. Во многих письмах ее приглашали прийти знатные старушки. Она приходила, закрывала глаза и говорила:

— Война окончится в ноябре. Вильгельм умрет от болезни сердца.

Ее кормили, целовали, давали деньги и возили к другим знатным старушкам.

Еще через неделю она перестала ездить, а принимала у себя и говорила с посетителями более уверенно и нагло.

II

Как раз в это время репортеру Калмановичу попался в руки номер бульварного еженедельника с портретом и предсказанием пророчицы.

Он согнутым указательным пальцем подвинул со лба на темя котелок и задумался.

«Надо будет съездить», — решил он.

И через час был в гостинице.

— Это вы — пророчица? — спросил он, глядя на девушку и открыто выражая взглядом сомнение в ее пророческом даре.

— Я.

— Так вы говорите, что война окончится в ноябре?

— Вильгельм умрет от болезни сердца, — закрыв глаза, сказала девушка.

— По-моему, этого не может быть. Мир еще далеко. Где там — в ноябре? Гораздо позже! Вы это наверное знаете?

— Я чувствую! — раздраженно сказала девушка, с легким испугом поглядывая на курчавые волосы репортера и на его наглое лицо.

— Разрешите снять пальто? — спросил он.

Пауза.

— Пожалуйста!

Он не спеша снял пальто, повесил его, расправил полы визитки, сел против девушки.

— Сколько вам стоит номер? — спросил он, озираясь.

— Три с полтиной.

— Дорого. А скажите, откуда вы?

Все в нем возмущало ее. Его наглость, равнодушие к ее пророчеству. Она хотела прогнать его, но боялась. Он назвал себя журналистом. А она, как все авантюристы, инстинктивно боялась прессы.

— Я из Новгородской губернии. Пророчицей я стала семи лет. В гимназии я всем предсказывала, о чем спросят на экзамене и вообще все.

Лицо репортера выражало каменное равнодушие к тому, что она говорила.

— Вчера я была у баронессы Краузе, — сказала пророчица. — Она очень интересовалась моими предчувствиями. Я ей всю правду сказала.

— Жаль, что я работаю в серьезной газете, — сказал репортер.

— Почему жаль?

— А то я бы тоже напечатал ваш портрет. В серьезной газете нельзя.

Девушка пытливо посмотрела на него, стараясь угадать, шутит ли он или говорит серьезно.

Ей уже приходилось за время своей краткой «пророческой» деятельности наталкиваться на резкое, на смешливое отношение.

— У вас есть родители? — спросил Калманович.

— Я с ними поссорилась.

— Почему?

— Так.

Она повернулась зачем-то, и репортер заметил, что юбка у нее сзади приколота английской булавкой.

Почему-то эта мелочь и еще то, что каблуки были стоптаны, вызвало у него жалость к ней.

— Вы уже давно в столице? — спросил он.

— Около месяца.

— Хороший город, не правда ли?

— Очень хороший. Скажите, вы видели Шаляпина? Я так хотела бы видеть его!

Репортер сразу почувствовал, что имя Шаляпина тут может дать широкие возможности, и, не шевельнув ни одним мускулом на лице, соврал с той спокойной, прожженной, каленой наглостью, которая обычно убеждает до конца, не вызывает сомнений:

— Шаляпина? Это очень просто. Хотите, я вас завтра познакомлю с ним? Федя — мой старый приятель.

Злое чувство к репортеру так же быстро исчезло у пророчицы, как и появилось.

— Голубчик, непременно! Спасибо! Я буду вам так благодарна.

— Пожалуйста! Не стоит.

Он говорил с ней как старый знакомый, не расспрашивая больше о пророчестве, но знал об этом больше, чем она могла предполагать.

Выходило как будто, что пророческий дар — у него.

Она показывала ему письма баронесс, но он вяло просматривал их и ничего не говорил.

— А зачем это вам? — спросил он вдруг.

— Что?

— А вот это… пророчество?

Она смутилась, но он быстро переменил тему:

— Так хотите познакомиться с Шаляпиным?

— Да. Хочу.

Она чувствовала, что боится его, и это чувство усиливалось.

Он взял свое пальто и зевнул.

— Не спал всю ночь. Играли в железку. Шмен-дефер. Один мой товарищ выиграл сто восемьдесят

рублей. Как вам это нравится? А?

— Вы уходите? Я тоже должна уйти.

— Ну что ж, идемте вместе.

Она надела длинную провинциальную шубку и вышла с ним.

— Жаль, что я не могу написать о вас в моей газете. Серьезная газета. Жаль!

— А почему нельзя написать?

— Ну, что это за материал — пророчица? Нет. Это не материал для серьезной газеты. Заведующий хроникой будет смеяться. Что это за материал? Вот беседа с испанским послом — это материал. Вчера у меня было. Не читали? Сто пятьдесят строк. Куда вы идете?

— К баронессе Краузе. Она обещала меня познакомить с графиней Грековой.

— Э! На что вам? На черта вам вся эта история? Бросьте! У меня на сегодня есть два билета в театр миниатюр. Хотите, пойдем вместе?

— Не знаю… Вот если смогу — с удовольствием.

Она говорила правду. Баронесса и старушки надоели ей, а здесь просто был человек, с которым можно было держаться по-человечески.

— Ну, до свиданья. — сказал он. — Я приду к вам с восемь часов вечера.

— Хорошо. Приходите.

III

В восемь часов вечера он не пришел.

Пришел на другой день, под вечер.

В комнате пророчицы было не убрано. На столе стоял недопитый стакан воды. Лежала скомканная трехрублевка.

Девушка сидела в углу, с платком на плечах… Ее умные глаза были грустны.

— Отчего же вы не пришли вчера? Я вас ждала. Не поехала к баронессе и никого не принимала.

— Очень виноват. Извиняюсь. Зато сегодня я свободен. Посидим, поговорим, а потом поедем к Шаляпину. Я вас познакомлю. Хорошо?

Девушка заволновалась.

— Я вам очень благодарна. Садитесь. Как ваше имя-отчество?

— Георгий Николаевич.

— Посидите. Георгий Николаевич! С вами так интересно! Сейчас уберут. Простите, тут не убрано.

Калманович снял пальто и, как вчера, расправил полы визитки.

— Ну, теперь давайте познакомимся. Вы мне очень нравитесь.

— Что вы? — засмеялась девушка.

— Я уверен, что Шаляпину вы тоже понравитесь.

— Что вы? Что вы? Ах, что вы делаете!..

...Через два часа они были близкими друзьями.

— Бросьте это пророчество! — говорил репортер, целуя ее, ошеломленную, усталую, обезумевшую. — Что это за профессия — пророчица? Это же чепуха с точки зрения серьезной газеты. Бросьте!

— Георгий... милый... Я так одинока... У меня никого нет... кроме тебя.

Калманович причесывал курчавые волосы перед маленьким зеркальцем.

— А с Шаляпиным ты меня познакомишь? — спросила пророчица.

— Конечно, познакомлю! — серьезно ответил Калманович. — Завтра приду и познакомлю. Это пустяковое дело. Я у Феди свой человек.

1917



Живая мебель

1. Как жил господин Икай

Господин Икай сидел на спине человека, стоявшего на четвереньках. Человек служил ему креслом. Это кресло было удобно: сиденье — теплое и прочное, спинка — нежная и ароматная, ибо это была грудь молодой здоровой женщины, умевшей стоять неподвижно, а перилами кресла, на которых покоились руки Икая, были изящные плечики двух девочек-подростков. Эти девочки были настолько крепки, чтобы выдерживать тяжелые руки Икая, и в то же время настолько чутки, чтобы улыбаться именно тогда, когда культурному человеку тоскливо и так хочется, чтобы ручки кресла улыбались.

Икай был мягок и по-своему сердечен: он берег свою живую мебель.

Выносливый человек, на спине которого он сидел, а также женщина и девочки — все составные части кресла — часто, в определенные сроки, чередовались. Их сменяли такого же роста, телосложения и качества люди.

Господин Икай любил свое кресло и сидел в

нем всегда, когда размышлял. На этот раз его размышлениям помешал секретарь.

— Что вам нужно? — мягко спросил Икай.

— Испортилась спица в левом колесе, — сообщил секретарь.

— Совсем?

— Да.

— Похоронили?

— Да.

— Как же это случилось? Вы знаете, я не люблю неосторожности.

— Это был несчастный случай, господин Икай. Ваша супруга пожелала кататься с горы к морю. Колеса завертелись слишком быстро, и в четвертом колесе спица сорвалась. Смерть наступила мгновенно.

— А сколько учился неудачник? — задумчиво спросил Икай.

— Два года.

— Запасных спиц много?

— Достаточно, господин Икай.

— Кандидаты есть?

— Есть.

— Приведите!

Через несколько минут перед Икаем стоял стройный человек с сильными руками и ногами.

— Это для какого колеса? — деловито, не глядя на вошедшего, спросил Икай у секретаря.

— Для переднего, господин Икай. Для большой коляски.

— Ага! Хорошо. А вы уже говорили с ним?

— Нет.

— Ну, тогда я поговорю.

И, обратившись к новому служащему. Икай спокойно спросил:

— Вы хотите служить у меня в качестве спицы в колесе?

Нанимающийся человек подумал и осведомился:

— А в чем будут заключаться мои обязанности?

— Вы будете стоять в большом обруче, растопырив руки и ноги, и вертеться. В этом и будут заключаться ваши обязанности. Вас научат. Сразу не дадут столь ответственной работы. Не беспокойтесь.

— А для чего это вам? — спросил будущий служащий.

Господин Икай мягко, без раздражения ответил:

— Дорогой мой, я не обязан объясняться с мелкими служащими. Это ведь нигде не принято. К

тому же это в значительной степени усложняет дело. Я вас не принуждаю. Если у вас есть другое призвание, посвятите себя ему. Каждый живет и работает, как хочет и может.

— Это зависит от обстоятельств, господин Икай!

— Все равно. Можете идти.

— Господин Икай, я чувствую призвание к бухгалтерии. У меня есть достаточный опыт. Не нужен ли вам бухгалтер?

— К сожалению, сейчас нет, — подумав, ответил Икай. — Их у меня много. Вот еще ножка для моей передвижной двухспальной кровати нужна. Мне кажется, что по телосложению своему вы подходите для этой должности.

— А по духовному укладу? — просто, без дерзости спросил нанимающийся.

Икай подумал и сказал:

— Не знаю. Я сейчас позову домашнего ученого и спрошу.

Он позвонил, и в комнату вбежал седой ученый, стоявший обыкновенно в огромной библиотеке Икая в рядах многих ученых, писателей и поэтов — живых книг Икая.

— Этот человек по своему духовному укладу может стать ножкой для кровати? — спросил Икай.

Седой ученый громко и отчетливо изрек:

— Почти каждый человек может стать ножкой для кровати. Все зависит от обстоятельств.

Ученый повернулся и выбежал из комнаты.

— Вот видите, — сказал Икай. — Наука подтверждает.

— А какое жалованье? — спросил нанимающийся.

— Какого заслужите. Я не торгуюсь. Но большой суммы не просите: не дам.

— Как бухгалтер я получал сто двадцать рублей в месяц и наградные к праздникам. А как ножка для кровати… Я. право, не знаю… Я еще не занимал такой должности. К тому же. господин Икай, я человек интеллигентный, я даже иностранные языки знаю. Подходит ли для меня такая должность?

— Вам лучше знать. Меня это не интересует, — мягко ответил Икай. — Ваша интеллигентность тоже не занимает меня. Для моих духовных потребностей у меня есть штат специальных служащих. У меня есть специалисты-справочники, как вы только что видели, специалисты-собеседники, специалисты-слушатели, спорщики, сочувствователи и, кроме того, есть особые специалисты-враги и специалисты-друзья. Я не люблю

ни в чем дилетантизма. Все они получают жалованье и вполне удовлетворяют меня. В вас же меня интересуют только некоторая физическая сила и рост. Вас научат держать мою кровать и гулять с нею в лунные ночи по саду.

— Я один буду носить кровать?

— Нет. Мою двухспальную передвижную кровать носят шесть ног. Шесть человек. Если вы выкажете способности, я вас сделаю одной из передних ножек. На них лежит большая ответственность, так как они выбирают дорогу и вообще проявляют инициативу в выборе красивых мест в моем саду.

— Я за это хочу получать пятьсот рублей в месяц и чтобы платили каждое первое и пятнадцатое.

— Хорошо. Идите, запишитесь. Мастерская номер четыре. Во дворе, налево.

Господин Икай поднялся и сказал своему креслу:

— Можете отдохнуть.

2. Еще о том, как жил господин Икай

Господин Икай жаловался:

— Господа, я не могу больше. Я устал. Мне все надоело. Мои усилия пропадают зря. Моя мебель никуда не годится. Вчера заболел мой стул. Ка-

кая гадость! В библиотеке полный беспорядок. Мои живые книги ненавидят меня. Они плохо слушаются. В моем кабинете испортились обои. Смеются не вовремя. Смотрят издевательски. Это ужасно! Если так будет и впредь, я, право, не знаю, что и делать.

Главный Мебельщик живой мебели переминался с ноги на ногу и. упрямый, как все мастера, бормотал:

— Это невозможно, господин Икай! Не может быть! Разрешите посмотреть. Я хочу лично убедиться.

Господин Икай и Отавный Мебельщик прошли в кабинет.

Это была самая интересная из комнат Икая. Стены ее состояли исключительно из золотых овалов, и в каждом овале помещалось лицо стоявшего за сетью овалов человека. Эта комната строилась несколько лет знаменитым инженером-американцем и представляла собой чудо техники. Три тысячи человеческих лиц составляли обои большого кабинета Икая, а тел их не было видно.

Живые обои были неподвижны. Шесть тысяч глаз смотрели сумрачно, с заученным выражением.

— Смотрите, они косят, — жаловался Икай. — А вот эти часто ехидно улыбаются. И. кроме того, они тяжелы — эти обои. Они уже не веселят меня, как веселили раньше.

Главный Мебельщик с деловито-озабоченным выражением смотрел на живые маски людей и, как механик, пробующий в комнате электричество и поворачивающий для этого выключатель, захлопал в ладоши и крикнул:

— Весело!

Обои по знаку заулыбались. Улыбались три тысячи человеческих лиц — мужчин, женщин, юношей и подростков.

— Грустно! — крикнул Мебельщик.

Обои по знаку перестали улыбаться. Лица опять стали серьезными, сумрачными.

— Все в порядке, господин Икай.

— Нет! Вы ошибаетесь! Не все в порядке. Далеко не все, — вздохнул Икай.

Главный Мебельщик не возражал.

Он знал о подлинной причине жалоб Икая: его жена изменила ему с какой-то частью карниза из этого же кабинета. А он так верил глазам этого юноши! Так верил! Когда Икай грустил, он требовал от обоев сочувствия, и ему казалось, что именно эта часть карниза сочувствует ему боль-

ше других. Так казалось. Отчего так обманчива жизнь?..

Отавный Мебельщик ушел.

Икай задумчиво побрел в библиотеку. Ему было скучно, и он хотел развлечься.

Поэт прочитал ему новые стихи.

— К черту, — тихо сказал Икай. Затем позвал: — Номер двадцать седьмой! Сюда!

Это был самый злой из специалистов-врагов. Икай позвал свое кресло, уселся и приказал служащему-врагу:

— Говорите!

Враг начал:

— Я счастлив, что вы в дураках. Надеюсь, что все полетит к черту, и вы наконец погибнете. Вы — самый несчастный человек, какого мне довелось видеть когда-либо. Вы спите на людях, сидите на людях, заставляете людей удовлетворять все свои потребности. Ничего не выйдет, дорогой!.. Ни-че-го! Вы одиноки, как труп повешенного, как лошадь на живодерне.

— Хорошенькие сравненьица! Нечего сказать! — поморщился Икай.

— Вы не стоите лучших. Теперь вам изменила жена с каким-то карнизом… Ха-ха-ха! Завтра она вам изменит с ножкой стула или стола. Вот вам

и ваше счастье, и ваше богатство! Вы гниете, милостивый государь! Разлагаетесь! Нельзя на людях, на их телах и душах, на их унижении строить счастье. Ни-че-го не выйдет. Будут платить презрением, а в конце концов и по физиономии дадут. Не думайте, что у вас все спокойно и ладно. Бунт нарастает. Все эти ваши столы и стулья, колеса и обои — вся ваша живая мебель, в которую вы изволили превратить людей, поднимется и взорвет вас. Что бы там ни было, а человек — это все-таки не спица в колесе! И не ножка для кровати! Бедное существо, утонувшее в людской покорности! Как мне жаль вас!

— Вы хорошо исполняете обязанности моего личного врага. Я, вероятно, прибавлю вам жалованья, — с кривой усмешкой сказал Икай. — Кроме того, я увеличу тираж ваших книг.

— Мне сейчас наплевать на ваше жалованье. Скоро вы погибнете, и мы все будем свободны.

Икай рассмеялся.

— Не смейтесь! Пройдемся по вашим «мастерским», где уродуют и мучают людей, посмотрим на все ваши живые коляски, на ваши живые спицы, на вашу «живую мебель». Вы скоро увидите, можно ли людей превращать в мебель и думать, что это культура.

Икай неожиданно изъявил согласие:

— Идемте.

Они прошли по дворам роскошного имения Икая. Всюду был внешний порядок. Всюду шла работа. Сотни инструкторов, техников, учителей и погонщиков изготовляли из живых людей неподвижные статуи покоя и удобств для господина Икая.

Многие из этих людей имели изможденный вид, но многие успели приспособиться и сжиться с незавидной долей.

— Ты кто такой? — спросил враг Икая у какого-то раззолоченного, пестрого старика, бродившего по двору.

— Я лампа, — ответил тот. — Я стою на лестнице и освещаю путь господину Икаю. Лампа стоит на моей голове, а я заменяю столб.

— Почтенное занятие! — плюнул враг Икая. — Вот скоро, скоро увидите, во что превратятся эти столбы.

Навстречу им прошел отряд с лопатами. Эти люди имели обычный изможденный вид рабочих, одинаковый во все времена и эпохи.

— Вы кто такие?

— Мы — лопаты. Мы роем для господина Икая золото и уголь.

Вид у рабочих, несмотря на внешнее спокойствие, был такой, что даже враг Икая не сказал ни слова.

Далее стояли какие-то чудища с реками железа вместо головы и рук.

— Вы кто такие? — спросил враг Икая.

— Мы — солдаты. Мы охраняем спокойствие и благополучие господина Икая.

3. Еще о том, как жил и живет господин Икай

Господин Икай забыл о словах своего специалиста-врага. Все было спокойно. Специалисты — друзья и враги, одинаково получавшие жалованье, — говорили Икаю о разных свойствах введенной им дисциплины, о природе людской, любящей покорность, и Икай успокоился.

Обои из человеческих лиц улыбались ему. когда он этого хотел. Столы, этажерки, диваны и мягкие ковры из прекрасных женщин пели ему песни, когда он подавал соответствующий знак. Живая библиотека услаждала его слух всячески. И даже жена перестала изменять Икаю. Только несколько раз из-за нее рассчитывались какие-то живые тюфяки, подножки и вешалки.

Жизнь текла спокойно, и все казалось нормальным, как всегда кажется, что бы ни происходило

в жизни.

И вдруг, в один из обыкновенных дней, когда так же, как всегда, дышала жизнь и необъятные пространства были бездумны, а дали мудры и непонятны, и росы ложились на поля, и полчища туманов бились о землю, и ветры трепали шевелюры лесов, — возмутились люди.

В квартирах, подвалах, рудниках и мастерских забились трепетные комья сердец человеческих, восстали души, прозрели головы.

Во дворце Икая поднялся могучий и великий шум.

Кричали спицы из колес, стулья, этажерки, лампы…

Кричали поруганные, униженные, гнущиеся в рабстве.

— Мы не хотим быть спицами в колесах!

— Мы не хотим быть стульями и кроватями!

— Мы не хотим быть обоями в кабинете Икая! Наши лица не обои!

По коридорам, лестницам, комнатам, залам бежали ковры и лампы, диваны и тюфяки, во дворе собрались живые лопаты и молоты.

Великий шум разлился по всей земле…

4. И...

...и на этом пока кончается рассказ о живой мебели. Пока еще много осталось ее на свете, а когда ее не будет, кто-нибудь напишет о ней еще раз и — лучше.

1919.



Вильгельм ЗОРГЕНФРЕЙ

* * *

Был как все другие. Мыслил здраво.
Покупал в субботу «Огонек»,
К Пасхе ждал на шею Станислава
И на самой Вербной занемог.
Диагност в енотовой шинели
Прибыл в дом, признал аппендицит
И потом простился еле-еле.
Получив пятерку за визит.
На Святой поведала супруга
С чувством скорби и без лишних слов.
Что в итоге тяжкого недуга
Умер муж, Иван Фомич Петров.
На кладбище ехал он по чину —
По рассчету на шесть лошадей.
Провожала доброго мужчину
Группа сослуживцев и друзей.
И, калошей попирая ельник.
Говорил фон Штрупп, правитель дел:
«Странно, право… Жив был в понедельник,
Нынче ж мертв. Печален наш удел!»
Собеседник ухмылялся тупо.

С крыш текло. Весенний жидкий луч
Отразился от калош фон Штруппа
И стыдливо спрятался меж туч.

Был Петров чиновником в Синоде,
Жил с женой, стоял за «Огонек».
Ты совсем в другом, читатель, роде —
Адвокат, профессор, педагог.
Веришь только в толстые журналы,
Ждешь реформ, чины не ставишь в грош
И, как все другие либералы.
Просто так — с подругою живешь.
Болен был Петров аппендицитом.
То есть воспалением простым.
Ты умрешь, сражен сухим плевритом.
Осложненным чем-нибудь другим.
И твоя кончина будет чище:
О тебе заметку тиснет «Речь»,
Ляжешь ты на Волковом кладбище,
Где Петров не догадался лечь.
Прах твой к месту вечного покоя
На руках поклонники снесут,
Скажут речь о недостатках строя
И тебя их жертвой назовут.
И погода будет не такая,
И другой, конечно, будет гроб.
Лития особая, другая,

И особый, либеральный поп.

Если там ты встретишься с Петровым,
Ты ему не подавай руки —
Чинодралу с Станиславом новым,
С гнусным воспалением кишки.
Легким взмахом серебристых крыльев
Отделись и пребывай суров:
Ты — Иванов, Яковлев, Васильев.
Не какой-нибудь Петров.

Июнь 1913

Над Невой

Поздней ночью над Невой,
В полосе сторожевой.
Взвыла злобная сирена.
Вспыхнул сноп ацетилена.

Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.

Крест вздымя над колокольней.
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы.
На разбитые торцы.

Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.

Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд.
Провода вверху гудят:
Славен город Петроград!

В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится;

А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь.

Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.

Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин.
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин.

— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?

— Я сегодня, гражданин.
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял.

От заставы налетает резвый шквал.
Торопливо наметает снежный вал —
Чтобы глуше еще было и темней.
Чтобы души не щемило у теней.

1920

*** * ***

Еще скрежещет старый мир,
И мать еще о сыне плачет,
И обносившийся жуир
Еще последний смокинг прячет,

А уж над сетью невских вод,

Где тишь — ни шелеста, ни стука —
Всесветным заревом встает
Всепомрачающая скука.

Кривит зевотою уста
Трибуна, мечущего громы,
В извивах зыбкого хвоста
Струится сплетнею знакомой.

Пестрит мазками за окном
Где мир, и Врангель, и Антанта,
И стынет масляным пятном
На бледном лике спекулянта.

Сегодня то же, что вчера,
И Невский тот же, что Ямская,
И на коне, взамен Петра,
Сидит чудовище, зевая.

А если поступью ночной
Проходит путник торопливо,
В ограде Спаса на Сенной
Увидит он осьмое диво:

Там, к самой паперти оттерт
Волной космического духа.

Простонародный русский черт
Скулит, почесывая ухо.

Октябрь 1920

Георгий ИВАНОВ

«На Луначарской улице»

На Луначарской улице.
Стоял высокий дом…

В. Маяковский

У народного комиссара Луначарского прием в Зимнем дворце.

Народный комиссар сидел в кабинете, обтянутом веселеньким кретоном в цветочках, за декадентским письменным столом белого дуба. Кругом — диванчики, пуфы, семь слонов, колченогий тигр. Народный комиссар, должно быть, предпочитает «изящный уют» — дворцовой пышности. Он, конечно, мог бы выбрать помещение повнушительней. Выбирать есть из чего — весь Зимний дворец.

Вот. например, Штернберг, комиссар Отдела изобразительных искусств. Он прибыл из Парижа, точнее из «Ротонды», прямо в Зимний дворец, чтобы «принять власть» из рук «признавшего» его пролетариата. Выбор пролетариата был сделан правильно. У Штернберга был солидный художественный стаж фотографа-ретушера. Было

и марксистское прошлое — вечера, проведенные на углу Распай и Монпарнаса за бокалом и художественно-революционной беседой с будущим наркомом искусств.

Восставший пролетариат на примере Давида Штернберга лишний раз показал свое умение ставить людей как раз на то место, к которому они предназначены самой судьбой. Телеграммой Луначарского он призвал Штернберга вершить российские художественные судьбы. Спешно отретушировав последние заказы {не стоит ссориться с клиентами — неизвестно, как еще обернутся дела), выпив в «Ротонде» прощальное деми, — Штернберг прибыл.

Помещение себе — не в пример Луначарскому — он выбрал величественное.

Маленький, щуплый, заикающийся — он сидит в каких-го раззолоченных хоромах. Кругом малахит, штофные занавеси, саженные вазы. В гигантском кресле на львиных лапах с кожаной обивкой, тисненной золотыми орлами, в сереньком пиджачке и голубых манжетах Линоль (не требуют прачки — целлулоидировано — патент) сидит бывший фотограф-ретушер, а ныне, после Луначарского, «первое лицо в живописи» — Давид Штернберг. Сидит — и скучает. У Лу-

начарского — полная приемная. У Штернберга — никого. За неимением дел он занимается на досуге… немного забытым в «Ротонде» русским языком.

— У меня болит но́га, — читает он вслух.

— Ногá, — поправляет приставленный к нему секретарь.

Штернберг обижается:

— Ви поправляйте настоящие ошибки, товарищ. А не придираетесь к пустякам. Но́га, ногá — ну какая разница!

Редких посетителей Шернберг занимает разговорами о парижской художественной жизни:

— Пикассо!.. Если только он заметит у вас там краску или интересный мотив — так кончено. Украл. У нас на Монпарнасе все художники его остерегаются. Если он придет — я так и говорил: погодите, господин Пикассо, — у меня не прибрано. И пока он ждет за дверью — все холсты переверну к стене. Так ему что! Такой нахал — перевернет обратно и все высмотрит. И если что ему понравится, так это уже не ваш мотив — это его мотив…

Но посетители у Штернберга редки. Похвастать секретарем и царским помещением, потолковать о Пикассо — не всегда удается. Посетители

пока, минуя кабинет комиссара изобразительных искусств, осаждают приемную народного комиссара.

* * *

Кокетливая приемная — тоже кретон, пуфы и слоны — полна народу. Какая смесь одежд и лиц!.. Итальянец-скульптор, специалист по «ню» (преимущественно на шкуре льва или со змеей), принес проект памятника Лассалю.

Актриса из «Аквариума» — очень миловидная, кстати — хлопочет о переводе в Мариинский. Старуха княгиня с трясущейся седой головой держит свернутую трубкой жалобу на Совет, грабящий ее особняк. Тут же и председатель Совета — жуликоватый молодой человек в галифе, крутя ус, презрительно поглядывает на старуху: посмотрим, чья возьмет. Иероним Ясинский, первый из крупных русских писателей признавший большевиков. Саженный рост, седая грива, выражение лица — сплошное благородство. Очень импозантный старик. Для воспроизведения на открытках, на фоне серпа и молота, вполне заменяет Льва Толстого. Ну и эстеты, поэты, художники в возрасте от семнадцати до двадцати трех, все больше левых течений — ничевоки,

всеки, ослиные хвосты, бубновые тузы. Теперь на их улице праздник: футуризм официально объявлен господствующим искусством. Что ж, в добрый час!

Собственно пролетариата почти не видно, если судить по платью. Впрочем, вот в углу два не то старших дворника, не то водочных сидельца, солидно переговариваются:

— Да, этто тебе не шутки. Этто тебе не вакса.

— Родной племянник, сестры сын. Все наше семейство от него отчуралось. Первое дело вор, второе дело — пьяница запойный, третье дело — хулиган. Родную мать только и не зарезал, что она прежде того от горя померла…

— Дда… Это тебе не шутки.

— …Лежит, бывало, на Лиговке, в дерьме, рожа расцарапана. на ногах опорки…

— Дда… Это тебе…

— …Теперь комиссар в нашем районе. Захожу к нему — все-таки племянник, сестры сын. Насчет муки и вообще. Сидит он, братцы мои, за ломберным столом, куртка на ем кожаная, новенькая, золотые зубы вставил. «Эй, — кричит, — подать мне мою машину. Еду в партейный комитет…»

— Это тебе не вакса. Многое случается. А сюда зашли по какому делу?

— Насчет стекол. Стекла выбитые подрядились в Зимнем вставлять. А вы?

— За разрешением. На рояль. Рояль у нас в доме с самой войны в подвале стоит. Немецкий. Зря стоит. Домовый комитет постановил распилить на дрова. Ан — нельзя без Луначарского. За разрешением и пришел. Думаете. выдаст?

— Выдаст. Он. говорят, добрый…

…В общем, просителей человек пятьдесят. Секретарь Луначарскаго — молодой человек, бледный, томный, с челкой на лбу, с подведенными глазами и сиреневым галстуком папильоном. Он — эстет неопределенной профессии. Лицо его давно примелькалось всем посетителям «Вены», «Бродячей собаки», разных концертов и вернисажей. Он уже лет десять толчется в петербургской богеме. Все его знают в лицо, никто не знает толком ни кто он, ни как его фамилия.

Женоподобный и завитой, секретарь не помнит зла. Не помнит небрежно протянутых двух пальцев, невежливо недослушанных излияний, не отвеченных поклонов на улице. Нет — «власть» не вскружила ему голову.

На любезные улыбки тех, кто вчера еще отворачивался от него, он отвечает сияющей готовностью сделать все от него зависящее для старых

приятелей. Таких оказалось вдруг множество.

На густо напудренном лице товарища секретаря играет смесь томности, растерянности, удовольствия. Грациозным жестом он откидывает портьеру, отделяющую будуар-приемную от будуара народного комиссара. Из толпы просителей новоиспеченные друзья делали ему знаки — меня… меня. Секретарь на минуту задумывается: как бы провести приятелей вне очереди, не вызвав неудовольствия остальных? AI Придумал.

— Граждане, кто с запиской от Горького — пожалуйте.

Три четверти ожидающих радостно вскакивают:

— Я… я…

…У народного комиссара — прием. Он сидит, обложенный папками, печатями, циркулярами и другими атрибутами власти. Поблескивая пенсне, он перебирает эти бумаги, сметы, чертежи…

Входит посетитель.

— Прошу садиться, — бросает народный комиссар, мельком, но проницательно взглянув на вошедшего и снова опуская взгляд.

— Прошу садиться. Изложите ваше дело. По

возможности короче. Я страшно занят.

Посетитель редко излагает дело сам. По большей части у него есть записочка от Горького, не от Горького, так от кого-нибудь другого.

— Вот, товарищ комиссар, — мнется он. — Вот письмо от… где… я…

Дрр…. Звонит переносной телефон на столе у Луначарского. Дрр… Дрр… Дрр…

— Алло! Да перестаньте же звонить, товарищ. Алло! У телефона народный комиссар…

Дрр… Дрр… Др…

— Алло! Да перестаньте же звонить!

Наконец телефон перестает звонить. Телефон новенький. «Акустика» в нем хорошая. Не одному Луначарскому слышно, как на другом конце проволоки кто-то надрывается:

— Откуда?..

— У телефона народный комиссар…

— Откуда? Зимний? Позовите Якова.

Луначарский, пожимая плечами, оборачивается к секретарю:

— Спрашивают какого-то Якова. Есть у нас товарищ Яков?

Секретарь презрительно улыбается:

— Яков? У нас? Connais pas! — вдруг жеманно выпаливает он, забыв о неуместности для

представителя рабоче-крестьянской власти парижских оборотов… — Понятия не имею, — поправляется он, смутившись. — Впрочем… Кажется, кто-то из товарищей служителей. Я сейчас справлюсь.

Он грациозно ныряет за портьеру.

Луначарский ждет, поблескивая пенсне и перебирая бумаги. Ждет и посетитель, машинально откручивая кончик конверта на письме, где все изложено.

— Откуда?.. Зимний… Откуда?.. — гудит снятая телефонная трубка…

Через некоторое время секретарь возвращается в сопровождении румяной бабы. Она распространяет сильный запах Жуковского мыла, рукава ее засучены.

Баба берется за трубку. Хлопок мыльной пены, помедлив на ее локте, падает на портфель народного комиссара.

— Откуда?..

— Яков Петрович вышли. На Васильевский, струмент починять. Скоро должен вернуться.

— У… У… У… — гудит трубка.

— Только сейчас признали? — жеманится баба. — Вот вы какие, не узнаете… Маланья Сидоровна и есть…

Она жеманится и болтает. Новый клок пены начинает собираться на багровом конусе ее локтя, угрожая на этот раз колену Луначарскаго. Народный комиссар осторожно отодвигает колено.

— Вот вы какие, — воркует баба, — без делов к нам уж и не заглянете…

На лице Луначарского смесь досады (время — деньги) с озабоченной торжественностью — да, пролетарские министры, не царские. Проситель, открутив угол рекомендательного письма, теперь тщательно его разглаживает. Губы эстета секретаря против его воли складываются в брезгливую усмешку.

— …Вот вы какие… А еще кумы…

Наконец это торжество демократизма — кончается.

Баба уходит. Снова берясь за бумаги, Луначарский бросает:

— К вашим услугам, товарищ. А?.. Письмо? Позвольте…

С сурово озабоченным видом он пробегает письмо.

— Гм… Отсрочка призыва?.. Деятель искусства… Конечно… Лично я — бессилен… Впрочем…

— Товарищ, — обращается он к машинистке, — будьте добры… «Военному комиссару… Прошу…

В виде исключения… Отсрочку… Совершенно незаменимому… Лично мне известному…» Как ваша фамилия?

— Петров.

— «…Лично мне известному товарищу Петрову…» А фамилия вашего друга?

— Попов.

— «…И лично мне известному, высокоталантливому…»

…Сияя, «лично известный и высокоталантливый» уходит, унося свежеотпечатанное отношение. Просьба Луначарского еще подействует — на этот раз. Комиссар, прочтя адресованную ему просьбу, поморщится, но все-таки исполнит просимое. Только все сильней они морщатся, все неохотнее исполняют… Скоро…

…В кабинете Луначарского уже новый посетитель. Снова народный комиссар грозно-благосклонно диктует:

«…В изъятие из правил, прошу снять арест с сейфа, принадлежащего гражданину Сапогову, председателю ассоциации поэтов-футуристов «Куб».

Снова нарком размашисто расписывается и протягивает гражданину Сапогову заветную бумажку. Гражданин Сапогов, вероятно, добьется

своего и, вынув из сейфа свои брошки и портсигары, успеет уехать за границу. Но скоро… Скоро — военный комиссар, прочтя просьбу Луначарского, топнет ногой и разорвет ее в клочья. И комиссар банковский холодно улыбнется в лицо представителя поэтов-футуристов: «Ничего не можем сделать… Слишком много записок пишет товарищ народный комиссар, по… доброте сердца…»

Скоро в кретоновом будуаре расточительного на рекомендации народного комиссара сильно поубавится посетителей. И прибавится их этажем выше, в кабинете просто комиссара Штернберга. Скоро комиссар Штернберг уже не будет иметь досуга изучать позабытый в «Ротонде» русский язык…

Заседание идет к концу. За столом — Штернберг — председатель и несколько членов только что образованного ИЗО (Отдела изобразительных искусств). Члены ИЗО — художники из левых, уже доказавшие свою преданность пролетариату прославлением его конструктивно — и в гипсе и на полотне. Заседание как раз и посвящено вопросу, как поддержать этих самоотверженных борцов за революцию. Нет ведь больше Морозовых и Гиршманов, чтобы покупать картины. Да эти без-

вкусные снобы разве способны были бы оценить их передовое творчество? Ну, хотя бы шедевр товарища Х. над которым он так долго работал. К гладильной доске прикреплен никелированной цепочкой от ключей кирпич. Называется «Ленин в ссылке». Разве Морозовы бы оценили?

Но пролетарская власть — оценит. Недаром Штернберг возглавляет ИЗО… В самом деле, не все ли равно — нога или нога, — было бы стремление к высшему и революционный энтузиазм.

…Приобрести для музея бывшего Александра III, конечно, недурно. Но в конце концов, все-таки — наследие буржуазии. Наиболее передовые товарищи даже требуют сожжения всех этих мертвецких. Сжечь, пожалуй, слишком крутая мера. Но основать собственный музей — необходимо.

— …Постановили, — читает секретарь. — основать Музей художественной культуры… взыскать… Установить… Ассигновать… Управление Музеем возглавляется коллегией. «Председатель Штернберг», «члены», — следуют имена присутствующих, «секретарь», читающий протокол, с благородной скромностью произносит собственное имя.

Главное — сделано. Музей — основан. Суммы

отпущены. Но все-таки — где будет помещаться Музей, чем пополняться?

Совещаются по этому поводу недолго. Там. где есть революционный порыв, — могут ли быть несогласия? Секретарь дочитывает протокол:

— …Впредь до приискания помещения, суммы, ассигнованные на музей, выдать на руки товарищам… — Следует перечень членов коллегии… — Для приобретения ими произведений искусства, которые и составят ядро музея…

Секретарь несколько обиженным тоном читает эту часть протокола. Увы — здесь его имя не фигурирует. Досадно. И несправедливо! Неужели, если человек при «кровавом» царизме был аптекарем, для него закрыты возможности революционного строительства?!. Нет, не скоро мы изживем предрассудки проклятого прошлого!

Все это — заседания у Штернберга, основание музея, дружное согласие насчет раздела «сумм», скоро все это осуществится. Пульс художественной жизни страны переместится из ситцевого царства Луначарского в пышные покои Штернберга. Переместится и забьется по-иному — ровнее, методичнее.

Посетители с письмами от Горького будут уходить неудовлетворенными — их даже не примет

товарищ комиссар. У него нет никакого вкуса к широкой манере его предшественника. Конечно, эффектно, морща лоб и поблескивая пенсне, рассыпать деньги и рекомендации, как Лоренцо Великолепный, но разумно ли такое распыление революционного порыва? В тиши кабинета, в тесном кругу действительно незаменимых и впрямь лично известных, работа идет, может быть, и не с таким блеском. зато результаты ее… реальнее.

…Скоро будет так. Но пока Штернберг скучает один, а машинистка Луначарского отбила себе все пальцы, отстукивая письма и отношения. С лица изящного секретаря давно сползли пудра и крем-симон, и оно блестит вполне по-пролетарски. Сам «министр искусств» уже как-то увял.

Со стороны может показаться не столь уж тяжелым делом — сидя в комфортабельном кресле, фигурно расчеркиваться на четвертке бумаги. Но попробуйте проделать сто, а то и двести таких росчерков, особенно при каждом ритуале открытых вопросов, понимающих кивков, строгих улыбок — одним концом губ…

…Завтрак опять пропущен. К «Фаусту и Городу» — драме, которую сочиняет народный комиссар, — опять не удастся притронуться. Нет времени. Никогда нет времени! Время Луначар-

ского — поистине деньги. Еще точнее — деньги и рекомендации.

После творческого дня — творческий отдых.

Большая гостиная. Восковые оплывающие свечи в старинном канделябре. Стол, покрытый парчой. На столе развернутая рукопись «Фауста и Города». Над ней склоненное, утомленное, строгое лицо народного комиссара. Рукопись… Свечи… Стакан воды… Луначарский читает.

Слушают — внимательно и чутко — десятка два избранных. Многие лица нам уже знакомы: они были утром на приеме в кретоновом кабинете — их принимали без очереди….

Теперь они слушают «четкие стихи» народного комиссара в его «мастерском» чтении. Когда он останавливается на минуту, чтобы выпить глоток воды, — легкий шепот восхищения проносится но залу. И снова благоговейная тишина.

После чтения — обмен восторженных мнений. X хочет писать музыку к поэме. Z — ее иллюстрировать. У — переводить ее.

За дружеским диспутом распивают не одну бутылку вина, полученную по записке с печатью наркомпроса со складов Смольного. Икра и ананасы в банках — тоже оттуда.

— …Изумительно… Конструкция фразы — чисто

мольеровская, — вдумчиво роняет колобородый критик.

— При этом — гетевская просветленность, — вставляет другой.

— И темп Маринетти…

Народный комиссар — нет, не комиссар, просто поэт среди братьев по искусству, может быть, старший из них, более одаренный, более мудрый — и только, — слушает эти отзывы, мягко поблескивая стеклами пенсне. То, что товарищ Х отметил просветленность, — его особенно радует. Именно просветленность тона считает важнейшим достижением поэт. Конечно, если при этом сохраняется темп…

Пустые бутылки сменяются новыми. Икра — тоже. Хозяйка салона — пышная дама с большими бриллиантами в ушах (конечно, они спасены из сейфа благодаря хлопотам наркома), — пышная хозяйка в пышном пунцовом платье — кринолином — отводит Луначарского в сторону.

— …Анатолий Васильевич, — слышится шепот из угла. — Я в отчаянье… Ваша любезность… Наш театр… Все так дорого… Предыдущая ассигновка…

Луначарский отечески улыбается:

— Пустяки, дорогая. Мы это устроим…

Скоро все изменится. Скоро теперешние восторженные слушатели «Фауста и Города», основавшие Музей художественной культуры, перестанут «гутировать» стих наркома и его мастерское чтение. Скоро благосклонная хозяйка салона станет менее благосклонной, ассигновки наркома — неоплаченными. Скоро… Много неприятностей скоро придется испытать товарищу народному комиссару просвещения и искусств…

Но пока — свечи оплывают, камин горит, ценители поэзии тихо переговариваются, доедая последний ананас. Народный комиссар собирает рукописи в портфель. Пора домой — он устал. Еще бы не устать. Но есть что-то бодрящее в этой усталости — трудовой, творческой, революционной. И просветленность и темп — в одно время.

«Сатирикон», 1931, № 17

Александр ИЗМАЙЛОВ

Пародии

Константин Бальмонт

Я вижу Толедо,
Я вижу Мадрид.
О белая Леда! Твой блеск и победа
Различным сияньем горит…

К. Бальмонт. «Испанский цветок»

Я плавал по Нилу,
Я видел Ирбит.
Верзилу Вавилу бревном придавило,
Вавила у виллы лежит.

Мне сладко блеск копий
И шлемов следить.
Слуга мой Прокопий про копи, про опий,
Про кофий любил говорить.

Вознес свою длань я
В небесную высь.
Немые желанья пойми, о Маланья! —

Не лань я, не вепрь и не рысь!..

О, щель Термопилы,
О, Леда, о, рок!
В перила вперила свой взор Неонилла,
Мандрилла же рыла песок…



Андрей Белый

Жили-были я да он:
Подружились с похорон.
Приходил ко мне скелет
Много зим и много лет.
Костью крепок, сердцем прост —
Обходили мы погост.
Поминал со смехом он
День веселых похорон:
Как несли за гробом гроб.
Как ходил за гробом поп,
Задымил кадилом нос.

Толстый кучер гроб повез.
«Со святыми упокой!»
Придавили нас доской.
Жили-были я да он.
Тили-тили-тили-дон!

А. Белый. «Пепел»

Тили-тили-тили-бом,
Загорелся кошкин дом.
Ах, не месяц — целый год
Будет плакать рыжий кот.
Насандалил повар нос,
Дремлет в юрте эскимос.
В монополькe торгу нет, —
Для поэта все сюжет:
Келья, зори и кабак,
С дыркой старый четвертак,
Запах жареных котлет.
Генеральский эполет.
Новобранца узкий лоб,
фоб на дрогах, рядом поп.
Бриллиант или берилл.
Павиан или мандрилл.

Мрак и правда, свет и ложь,
Пара стоптанных калош.
Сколопендры острый нос
И довременный Хаос,
И Гоморра и Содом —
Тили-тили-тили-бом.

Зинаида Гиппиус

И я такая добрая,
Влюблюсь — так присосусь.
Как ласковая кобра я.
Ласкаясь, обовьюсь.
И опять сожму, сомну,
Винт медлительно ввинчу.
Буду грызть, пока хочу.
Я верна — не обману.

З. Гиппиус

Углем круги начерчу.
Надушусь я серою,
К другу сердца подскачу
Сколопендрой серою.

Плоть усталую взбодрю,
Взвизгну драной кошкою.
Заползу тебе в ноздрю
Я сороконожкою.

Вся в мистической волшбе.
Знойным оком хлопая,
Буду ластиться к тебе
Словно антилопа я.

Я свершений не терплю,
Я люблю — возможности.
Всех иглой своей колю
Без предосторожности.

Винт зеленый в глаз ввинчу
Под извив мелодии.
На себя сама строчу
Злейшие пародии…



Сергей Городецкий

Свет от света оторвется,
В недра темные прольется,
И пробудится яйцо.
Хаос внуку улыбнется…

С. Городецкий. «Ярь»

I

Тучи в кучу взбаламучу.
Проскачу волчком качучу.
Треском рифм наполню свет.
Как звонки двуконных конок.
Стих мой тонок, ломок, звонок.
Звону много, смыслу нет.

Я нашел под подворотней
Приболотный, приворотный.
Легкой славы корешок…
Трех чертяк с лесных опушек.
Двух поповен, трех старушек
На Парнас я приволок.

Сколь приятно в вечер росный
Поблудить с старушкой постной, —
Бородавки пощипать.
До утомы и одышки
У косматых ведьм подмышки.
Щеки-щетки щекотать…

Ой, Ярило, в бор за прудом
Приходи, займемся блудом, —
И, взглянувши нам в лицо,
Древний Хаос воссмеется,
И с моих стихов прольется
Смертным — всмятку яйцо.

II

Древний Хаос потревожим.
Мы ведь можем, можем, можем.

С. Городецкий. «Ярь»

Недовольный миром бренным,
Я с Хаосом довременным
Как-то выпил брудершафт.
Как на карточке единой

С ним снимусь я с вещей миной, —
Будет миленький ландшафт…

Из земных стремясь окопов.
По плечу его похлопав, —
«Что, брат, — молвлю, — друг Хаос?»
Обниму, не церемонясь,
И Хаос, седой как Хронос,
Мне ответит: «Ничего-с!..»

У меня ли в рифме нежной
Космос, древний и мятежный,
С миром будней сопряжен.
Что смешно и все, что жутко, —
На проспекте проститутка,
С медной бляхой «фараон», —

Млечный Путь, и Рак, и Рыба,
И Ярила, и Барыба,
И поповны пуховик.
Невский с звонами и давкой,
Злая ведьма с бородавкой
И проказник Адовик…

Барыбушка, Барыбушка, Ярила и Удрас!

Нас четверо, нас четверо — и не понять всех нас.

Пресветлый мир-миленочек, еще ль ты мне не мил!

За шиворот, за шиворот я славу ухватил…

Со славою под мышкою, — дивись, честная Русь!

С Хаосом я под рученьку по Невскому пройдусь..

Михил Кузмин

Ах, уста, целованны столькими.
Столькими другими устами.
Вы пронзаете стрелами горькими,
Горькими стрелами, стами

М. Кузмин. «Любовь этого лета»

Ах, любовь минувшего лета
За Нарвской заставой, ставой.
Ты волнуешь сердце поэта.
Уж увенчанного славой, авой.

Где кончался город-обманщик
Жили банщики в старой бане.

Всех прекрасней был Федор банщик.
Красотою ранней, анней.

Ах, горячее глаз сверканье.
Сладость губ мужских и усатых!
Ах, античное в руку сморканье.
Прелесть ног волосатых, сатых!..

Не сравнить всех радостей света
С Антиноя красой величавой!
Ах, любовь минувшего лета
За Нарвской заставой, ставой!..

Иван Рукавишников

Я один, конечно. Но я жду кого-то.
Пусть я жду кого-то. Но один ли я?
Не один, конечно. Я забыл кого-то.
Правда ли? Нас двое? Не один ли я?
Нет. Не нужно. Страшно. Нас. конечно, двое.
Двое, чтобы не был смертен ни один.
Правда? Нам не страшно? Правда? Нас ведь двое?

Правда? — Нет. Неправда. Страшно. Я один.

И. Рукавишников, т. IV

Сплю или проснулся? Ночи час, утра ли?

На плечах одна ли, две ли головы?

Будто как одна. Ужель одну украли?

Где я? Еду в Вену или близ Невы?

Я один, конечно. Нас как будто двое?

Кто ж второй со мною? Как установить?

Пусть голов и две, но — думаю одною…

Я самец иль самка?.. Быть или не быть?..

Двое ль нас? В меня ли просто клин вогнали?

Я один, конечно? Страшно, хоть умри!

Ах, второй — извозчик!.. Прочь, порыв печали!

С ним нас точно — двое. С лошадью нас — три.

Михаил Арцыбашев

…Она медленно, слегка волнуясь на ходу всем телом, как молодая красивая кобыла, спустилась с крыльца. Басанин, весь изгибаясь, как горячий веселый дромадер, приблизился к ней, молча взял ее за руку и повел по направлению к пещере.

Был слышен только стук их копыт.

Он думал о том. как эта полюбившая его, гордая, умная, чистая и начитанная кобыла будет стоять с ним в одном стойле, и он так же будет делать с нею что хочет, как и со всеми другими.

— Люди постоянно ограждают себя от счастья Китайской стеной, — глухо заговорил он. — Представьте, у меня есть красавица сестра, и для меня она. — Басанин саркастически улыбнулся, — до сих пор только сестра… Идиотка! Вот и вас взять… Чем вы не кобыла? И чего вы боитесь? Потомства? Э-эх! Займитесь маленько химией. Эх, люди, люди!.. Создадут вот так себе призрак, мираж — и страдают!..

Пещера была перед ними. Молодые люди зашли в нее. Мысль, что девушка, в сущности, в его руках, что пещера так удобна в качестве стойла, что никто не услышит, ударила Басанина, и на

мгновение у него потемнело в глазах, и ему захотелось заржать. Но он овладел собою и, выйдя из пещеры, сказал:

— Послушайте, как вы не боялись со мной идти сюда? Ведь если крикнуть, то никто не услышит?

— Я думала, конечно, что вы порядочный жеребец.

— Напрасно вы так думали.

И Басанину показалось, что это очень оригинально, что он говорит с ней так, и что в этом есть что-то красивое, стихийное, лошадиное…



Василий КНЯЗЕВ

Либерал перед зеркалом

— Долой прогнивший, затхлый мрак!
Лишь новые порядки.
При коих счастлив будет всяк…
Не те!., не те!., молчи, дурак!
Не те перчатки!..

— Мы, господа, имеем честь
Быть центром возрожденья!
Корабль народный к счастью весть…
Иван, цилиндр!., тут, право, есть И честь и наслажденье!

— На этом кончу я… Итак —
Ура-а! да канут в Лету
Прогнивший строй, прогнивший мрак…
Пальто!., не то!., молчи, дурак!
Вели подать карету!..

1908

Павел

Мой приятель Павел,
Патриот по духу,
Выше рома ставил
Русскую сивуху.
Был борцом известным,
Златоустом местным
Русского Союза,
Но ему, о муза.
Выпал тяжкий номер:
От патриотизма.
От алкоголизма —
Помер!

1908

Признание модерниста

Для новой рифмы
Готовы тиф мы
В стихах воспеть,

И с ним возиться,
И заразиться,
И умереть!

«Сатирикон», 1908, № 12

Моя политическая платформа

Нейтрален политически.
На жизнь смотрю практически.
Имея артистически
Отменно тонкий нюх.
В дни бурные, свободные
Про горести народные
Я мысли благородные
Высказываю вслух.

Громлю дотла полицию.
Венчаю оппозицию
И вот, войдя в амбицию,
Ношу я красный бант!
Массовки… пресса… фракции…
Но лишь свободы акции
Падут — и я реакции

Покорный адъютант!

Над правою газетою
Скорблю и горько сетую
И вместе с ней советую:
«Пороть, лупить, прижать!
Скосить покосы вольные,
Чтоб путала подпольные,
Развратные, крамольные.
Не вылезли опять!»

Нейтрален политически.
На жизнь смотрю практически.
Умея артистически
Нос по ветру держать!

1908

С натуры

После сытного обеда
В кабинете у Володи
Долго шла у нас беседа
О страдающем народе.

«Да, — вздохнув, промолвил Фатов,
Развалившись на диване, —
Гибнут в царстве плутократов,
Гибнут русские крестьяне!» —

«Что поделать? — отозвался
Князь Павлуша Длинноногий. —
Я работал, я пытался…
Но налоги…» — «Ах. налоги!» —

«Да, налоги, и при этом —
Темнота, разврат и пьянство!
Проследите — по газетам:
Вырождается крестьянство!..»

После сытного обеда
(Ну и повар у Володи!)
Долго шла у нас беседа
О страдающем народе…

«Сатирикон», 1909, № 17



Скорбь гвоздики

Красную гвоздичку
Скорбь о прошлом точит,
И она в петличку
Никому не хочет.

«Если б показаться
Мне толпе кипучей.
Если б красоваться
На груди могучей,

Если б развевались
Празднично знамена,
Если б раздавались
Гимны окрыленно!

Если бы воскресли
Праздничные люди!
«Если бы» да «если»,
Ах! мечты о чуде!»

Так она в витрине.
Бедная, мечтает

И в тоске-кручине
Тихо увядает…

«Сатирикон», 1909, № 18

Дмитрию Цензору

Дружеская шалость

Дмитрий Цензор плачет сдуру:
«Дал же Бог такую кличку.
Все суют меня в цензуру —
Мне ж цензура не в привычку,
Я хочу в литературу!»
Дмитрий Цензор, слезы вытри,
Ты повсюду в ложной шкуре, —
Всё тебе не по натуре.
Ты в поэзии Лжедмитрий
И лжецензор ты в цензуре.

«Новый Сатирикон», 1915, № 36

Требник капиталиста

1.

Соборная молитва

Для спасенья наших касс.
Наших прибылей и нас
Просвети сознанье масс,
Господи!

Докажи, как дважды два.
Что на сладкий кус права —
Монополья буржуа.
Господи!

Ведь коль скоро люд поймет.
Что полыни слаще мед.
Пчельник он — себе возьмет,
Господи!

Будет сам блюсти рои.
Сочных сот ломать слои
И в карманы класть — свои.
Господи!

Мы ж, без вкладов и без рент.
Кончим жизнь свою в момент.
Угодив под монумет.
Господи!

Ведь нигде и никогда
Не вкушали мы труда —
Ждет нас лютая нужда,
Господи!

Для спасенья наших касс.
Вкладов, рент и грешных нас, —
Затемни сознанье масс.
Господи!

2.
Верую

Во единого Бога-Отца,
Золотого тельца.
Жизнь дающего полною мерою —
Верую!

В чудотворный процент.
Силу вкладов и рент
С их влияний чудовищной сферою —
Верую!

В благородный металл.
Во святой капитал.
Возносящий над участью серою, —

Верую!

Обещаюсь идти
По святому пути.
Не смущаем иною карьерою, —
Верую!

«Новый Сатирикон», 1917, № 31

Обывательщина

Иван Иваныч недоволен:
«Ну да, я цел. я сыт, я волен.
Меня не смеет уж никто
Гноить годами ни за что
В зловонной камере острога, —
Мне всюду вольная дорога.
Над обреченной головой
Уж не стоит городовой!
Да, былью стали небылицы.
Но... между прочим, почему
На лучших улицах столицы
Проходу нету никому?
Повсюду сор, бумажки, семя.

Что шаг — галдящий изувер;
Пускай у нас иное время,
Но… где же милиционер?!

Как позволяет он торговке
Сидеть с корзиной у дворца
Иль этой латаной поддевке
Громить правительство с крыльца?
Ведь это ж мерзостно и гадко.
Цыганский табор на мосту!
Где вы, блюстители порядка?
Заснули, что ли, на посту?!
Иль вот еще — свобода слова…
Я понимаю, это — плюс.
Порядка нового основа:
Да сгинет гнет цензурных уз!
Но… все же, сеять стачек семя.
Звать к примененью крайних мер!.
Ну да, у нас — иное время,
Но… где же милиционер?!

Как позволяет он открыто
Писать о мерзостях войны?

Как не препятствует сердито
Критиковать вождей страны?
Где меч спасительной острастки.
Шлагбаум твердого пути?
Зачем газетчик — не в участке?
Редакторы — не взаперти?
Не на костре листков беремя?!
Не под цензурой изувер?!
Пускай у нас иное время,
Но… где же милиционер?!

Июль 1917

Нищим духом

Пусть могильная мгла
Край родной облегла.
Тяжким саваном жизнь придавила,-
Невредима скала!
Целы крылья орла!
Не в таких передрягах отчизна была.
Да нетронутой прочь выходила!

Ой, не знает Руси, кто ей тризну поет!
Рано, ворог, кладешь побежденного в гроб:

Ну, а что, как усопший-то встанет?
Сон стряхнет, поведет богатырским плечом
Да своим старорусским заветным мечом
По победному черепу грянет?

Все мы так: до поры —
Ни на шаг от норы,
До соседа — ни горя, ни дела,
А настанет пора —
От Невы до Днепра
Неделимое, стойкое тело!

Беспросветная мгла
Край родной облегла,
Тяжким саваном жизнь придавила!
Э, могуча скала!
Целы крылья орла!
Не в таких передрягах отчизна была.
Да нетронутой прочь выходила!

«Новый Сатирикон», 1917, № 34

Триумфаторы

1907–1908 гг.

Жалкая кучка кривляк,
Выродков нашей эпохи,

Севши на смрадный тюфяк,
Сыплет и ахи и охи,
Нет идеалов?.. Так что ж?
Разве не хватит нахальства
Сдабривать похоть и ложь
Крепкой приправой бахвальства?
Сенька напишет рассказ —
Сеньку расхвалит приятель:
«Это — бесценный алмаз!
Это — поэт-созерцатель.
Гибкий, сверкающий слог…
Беклин… Уайльд… откровенья..»
Целая тысяча строк;
Что ни строка — воскуренье!

«Что нам читатель?.. Эхма!»
Выпустив 22 тома.
Буйно ликует Фома,
Нагло грохочет Ерема.
Славы немеркнущей чад
Губит порой и таланты —
Диво ль, что этак кричат
Эти… «пророки-гиганты»?

Слабенький череп венца
Выдержать больше не может.
Похоти скотской певца
Червь самомнения гложет.
Это не наглость… о нет!
Взрывы подобного смеха —
Лишь истерический бред.
Вызванный ядом успеха.

С кресел всю ночь не встает
Жрец извращенного чувства;
Целую ночь напролет
Кистью «святого» искусства
Жадно марает свой лист.
(Плод нездорового бреда
Завтра прочтет гимназист.)
«Леда! свободная Леда…»
. . . . .
Жадно марает он лист.
Славит он Леду-царицу.
(Тайно идет гимназист
Тайно лечиться в больницу.)

Вот современнейший том —
Сборник издательства «Плошка».
Что за печать! за объем! —
Боже, какая обложка!
Диккенс, Тургенев, Золя —
Прочь посрамленные стяги:
В четверть аршина поля!
Около пуда бумаги!
Ну-с, а сюжетики… Да-с!
Прелесть, восторг, объеденье!
Верите ль: что ни рассказ —
Двадцать четыре растленья!!
Красочность, живость пера.
Виден баль-шой наблюдатель!
Сочно, душисто… Ура,
Наш современный писатель!!.

Крики, и хохот, и гам.
Речи бессвязны и пылки;
Шумно и весело там —
Всюду стаканы, бутылки…
Что же, зайдемте? Для нас.
Право, не будет убытка:

Это — российский Парнас,
Это — трактирчик «Давыдка»!
Вон, за отдельным столом,
Бросивши всякую меру,
«Наш гениальный Пахом»
Дует коньяк и мадеру.
Рядом — издатель юлит,
Тйпик проныры-нахала:
«Мы-то?., да мы, — говорит, —
Всё, — говорит, — для журнала!..
Триста?.. Извольте!.. Для вас —
Не пожалеем и триста!..»
Так продается у нас
Честь и перо беллетриста...

«Сатирикон». 1908. № 35

Мы — дети веселого смеха

Мы — дети веселого смеха.
Мы — солнечной сказки пророки.
Как мы одиноки!..
Лишь эхо

Нам вторит...
Мы — дети веселого смеха.
Кто путникам двери отворит?..

Давно уж в холодные груди
Стучим без успеха:
«Впустите нас, люди!» —
Лишь эхо
Нам вторит!..
Нам двери никто не отворит!
Мы — дети веселого смеха,
Мы — солнечной сказки пророки.
Как мы одиноки!..

«Сатирикон», 1910, № 14



КРАСНЫЙ

То и другое

О, что может быть прелестней,
Чем хожденье в мир исканий,
Где лишь жертвой славен путь!..
Но гораздо интересней
Прочитать о том в романе
И за кофеем вздохнуть…

О, что может быть прекрасней,
Как за светлую свободу
Честно, гордо пострадать!
Но гораздо безопасней
Канцелярскую породу
Средь знакомых поругать…

О, что может быть достойней.
Как отдать себя отчизне
Там, где в бой зовет труба?..
Но куда, куда спокойней
О святом патриотизме

Распинаться у Кюба...

О, что может быть приятней:
Взрыв души, и в ковах бурной,
В стих клеймящий перелить!
Но куда, куда занятней
Написать вполне цензурно
И аванс заполучить!.

«Сатирикон», 1908, № 10



Хор российских обывателей

После бури мы явились
Солнцем утренним:
Наши души засветились
Миром внутренним!
Обратил к нам ясны взоры
Вождь правительства

И узрел, что мы опоры
Для строительства.
Так, желанием невольным
Прозябания,
Стали мы краеугольным
Камнем здания!
Изменить натуре нашей
Не пытаемся:
Октябристской простоквашей
Не питаемся.
Пусть там где-то, что-то, как-то
Совершается,
До решительного акта
Не ломается.
Дни промчатся лихолетья
Без сомнения, —
По душе нам Дума третья:
Запах тления!

«Сатирикон», 1910, № 37



Александр КУПРИН

Путаница

— Мне кажется, никто так оригинально не встречал Рождества, как один из моих пациентов в тысяча восемьсот девяносто шестом году, — сказал Бу-тынский, довольно известный в городе врач-психиатр. — Впрочем, я не буду ничего рассказывать об этом трагикомическом происшествии. Лучше будет, если вы сами прочтете, как его описывает главное действующее лицо.

С этими словами доктор выдвинул средний ящик письменного стола, где в величайшем порядке лежали связки исписанной бумаги различного формата. Каждая связка была занумерована и обозначена какой-нибудь фамилией.

— Все это — литература моих несчастных больных, — сказал Бутынский, роясь в ящике. — Целая коллекция составлена мною самым тщательным образом в течение последних десяти лет. Когда-нибудь, в другой раз, мы ее разберем вместе. Тут очень много и забавного, и трогательного, и, пожалуй, даже поучительного… А теперь… вот, не угодно ли вам прочесть эту бумажку?

Я взял из рук доктора небольшую тетрадку, в четвертую долю листа, исписанную крупным, прямым, очень нажимистым, но неровным почерком. Вот что я прочел (оставляю рукопись целиком, с любезного разрешения доктора):

«Его Высокородию
г-ну доктору Бутынскому,
консультанту при психиатрическом отделении Н-ской больницы.
Содержащегося в помянутом отделении дворянина Ивана Ефимовича Пчеловодова

Прошение.
Милостивый государь!
Находясь уже более двух лет в палате умалишенных, я неоднократно пробовал выяснить то прискорбное недоразумение, которое привело меня, совершенно здорового человека, сюда. Я обращался с этой целью и письменно и словесно к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу больницы, и в том числе, если помните, и к вашему любезному содействию. Теперь я еще раз беру на себя смелость просить внимания вашего к нижеследующим строкам. Я делаю это потому, что ваша симпатичная наружность, равно как и ваше человеческое обращение с больными

заставляют предполагать в вас доброго человека, которого еще не коснулось профессиональное доктринерство.

Убедительно прошу вас — дочитайте это письмо до конца. Пусть вас не смущает, если порой вы натолкнетесь на грамматические погрешности или на неувязку во фразах. Ведь трудно, согласитесь, проживая в сумасшедшем доме два года и слыша только брань сторожей и безумные речи больных, сохранить способность к ясному изложению мысли на письме. Я окончил высшее учебное заведение, но, право, теперь сомневаюсь при употреблении самых детских правил синтаксиса.

Прошу же я вашего особого внимания потому, что мне хорошо известно, что все психически больные склонны считать себя посаженными в больницу по недоразумению или по проискам врагов. Я знаю, как они любят доказывать это и докторам, и сторожам, и посетителям, и товарищам по несчастию. Поэтому мне совершенно понятно недоверие, с которым относятся врачи к их многочисленным заявлениям и просьбам. Я же прошу у вас только фактической проверки того, что я сейчас буду иметь честь изложить.

Это случилось 24 декабря 1896 года. Я служил

тогда старшим техником на сталелитейном заводе «Наследники Карла Вудта и К⁰», но в середине декабря сильно поссорился с директором из-за безобразной системы штрафов, которой он опутал рабочих, вспылил в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил службу.

Делать мне больше на заводе было нечего, и вот, в конце Рождества, я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе N, в кругу близких родственников.

Поезд был переполнен пассажирами. В том вагоне, где я поместился, на каждой скамейке сидело по три человека. Моим соседом слева оказался молодой человек, студент Академии художеств. Напротив же меня сидел какой-то купчик, который выходил на всех больших станциях пить коньяк. Между прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в N, на Нижней улице, есть своя мясная торговля. Он также называл свою фамилию; я теперь не могу ее припомнить с точностью, но — что-то вроде Сердюк… Средняк… Сердолик… одним словом, здесь была какая-то комбинация букв С, Р, Д и К. Я так подробно оста-

навливаюсь на его фамилии потому, что, если бы вы отыскали этого купчика, он совершенно подтвердил бы вам весь мой рассказ. Он среднего роста, плотен, с розовым. довольно миловидным пухлым лицом, блондин, усы маленькие, тщательно закрученные вверх, бороду бреет.

Спать мы не могли и, чтобы убить время, болтали и немного пили. Но к полуночи нас совсем разморило, а впереди предстояла еще целая бессонная ночь. Стоя в коридоре, мы полушутя, полусерьезно стали придумывать различные средства, как бы поудобнее устроиться, чтобы поспать хоть три или четыре часа. Вдруг академик сказал:

— Господа! Есть великолепное средство. Только не знаю, согласитесь ли вы. Пусть один из нас возьмет на себя роль сумасшедшего. Тогда другой должен остаться при нем, третий пойдет к обер-кондуктору и заявит, что вот, мол, мы везли нашего психически расстроенного родственника, что он до сих пор был спокоен, а теперь вдруг начал приходить в нервное состояние, и что ввиду безопасности прочих пассажиров его не мешало бы заблаговременно изолировать.

Мы согласились, что план академика прост и верен. Но никто из нас не высказывал первым

желания сыграть роль сумасшедшего. Тогда купчик предложил, мигом рассеяв наши колебания:

— Бросим жребий, господа!

Изо всех троих я был самый старший, и мне надлежало бы быть самым благоразумным; но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и… конечно, вытащил узелок из зажатого кулака мясоторговца.

Комедия с обер-кондуктором была проделана с поразительной натуральностью. Нам немедленно отвели купе.

Иногда, во время больших остановок, мы слышали около нашей двери сердитые голоса, громко говорившие:

— Хорошо-с… Ну, а это купе?.. Потрудитесь его отворить!

Вслед за этим приказанием слышался голос кондуктора, отвечавшего в пониженном тоне и с оттенком боязни:

— Извините, в этом купе вам будет неудобно… здесь везут больного… сумасшедшего… он не совсем спокоен…

Разговор тотчас же обрывался, слышались удаляющиеся шаги. План наш оказался верным, и мы заснули, насмеявшись вдоволь. Спал я, однако, неспокойно, точно у меня во сне было

предчувствие беды. Душили меня какие-то тяжкие кошмары, и помню, что под утро я несколько раз просыпался от собственного громкого крика.

Я проснулся окончательно в десять часов утра. Моих компаньонов не было (они должны были сойти на одной станции, куда поезд приходил ранним утром). Зато на диване против меня сидел рослый рыжий детина в форменном железнодорожном картузе и внимательно смотрел на меня. Я привел свою одежду о порядок, застегнулся, вынул из сака полотенце и хотел идти в уборную умываться. Но едва я взялся за дверную ручку, как детина быстро вскочил с места, обхватил меня сзади вокруг туловища и повалил на диван. Взбешенный этой наглостью, я хотел вырваться, хотел ударить его по лицу, но не мог даже пошевелиться. Руки этого доброго малого сжимали меня точно стальными тисками.

— Чего вы от меня хотите? — закричал я. задыхаясь под тяжестью его тела. — Убирайтесь! Оставьте меня!..

В первые моменты в моем мозгу мелькала мысль, что я имею дело с сумасшедшим. Детина же, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял со злобным пыхтеньем:

— Погоди, голубчик, вот посадят тебя на цепуру,

тогда и узнаешь, чего от тебя хотят… Узнаешь тогда, брат… узнаешь.

Я начал догадываться об ужасной истине и, дав время моему мучителю успокоиться, сказал:

— Хорошо, я обещаюсь не трогаться с места. Пустите меня. — «Конечно, — думал я, — с этим болваном напрасны всякие объяснения. Будем терпеливы, и вся эта история, без сомнения, разъяснится».

Остолоп сначала мне не поверил, но, видя, что я лежу совершенно покойно, он стал понемногу разжимать руки и наконец, совсем освободив меня из своих жестоких объятий, уселся на диван напротив. Но глаза его не переставали следить за мною с напряженной зоркостью кошки, стерегущей мышь, и на все мои вопросы я не добился от него в ответ ни словечка.

Когда поезд остановился на станции, я услышал, как в коридоре вагона кто-то громко спросил:

— Здесь больной?

Другой голос ответил скороговоркой:

— Точно так, господин начальник.

Вслед за тем щелкнул замок, и в купе просунулась голова в фуражке с красным верхом.

Я рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем:

— Господин начальник станции, ради Бога!..

Но в то же мгновение голова проворно спряталась, громыхнул замок в дверце, а я уже лежал на диване, барахтаясь под придавившим меня телом моего спутника.

Наконец мы доехали до N. Только минут через десять после остановки за мною пришли… трое артельщиков. Двое из них схватили меня крепко за руки, а третий вместе с моим прежним истязателем вцепились в воротник моего пальто.

Таким образом меня извлекли из вагона. Первый, кого я увидел на платформе, был жандармский полковник с великолепными подусниками и с безмятежными голубыми глазами в тон околышку фуражки. Я воскликнул, обращаясь к нему:

— Господин офицер, умоляю вас. выслушайте меня…

Он сделал знак артельщикам остановиться, подошел ко мне и спросил вежливым, почти ласковым тоном:

— Чем могу служить?

Видно было, что он хотел казаться хладнокровным, но его нетвердый взгляд и беспокойная складка вокруг губ говорили, что он все время держится настороже. Я понял, что все мое спасе-

ние в спокойном тоне, и я, насколько мог связно, неторопливо и уверенно рассказал офицеру все, что со мной произошло.

Поверил он мне или нет? Порою его лицо выражало живое, неподдельное участие к моему рассказу, временами же он как будто сомневался и только кивал головой с тем хорошо мне знакомым выражением, с которым слушают болтовню детей или сумасшедших.

Когда я кончил свой рассказ, он сказал, избегая глядеть мне прямо в глаза, но вежливо и мягко:

— Видите ли… я, конечно, не сомневаюсь… но. право, мы получили такие телеграммы… И потом… ваши товарищи… О, я вполне уверен, что вы совершенно здоровы, но… знаете ли, ведь вам ничего не стоит поговорить с доктором каких-нибудь десять минут. Без сомнения, он тотчас же убедится, что ваши умственные способности находятся в самом прекрасном состоянии, и отпустит вас: согласитесь, что я ведь, в конце концов, вовсе не компетентен в этом деле.

Все-таки он был до того любезен, что назначил мне в провожатые только одного артельщика, взяв с меня предварительно честное слово, что я никоим образом не буду выражать на дороге своего негодования и делать попыток к бегству.

Мы приехали в больницу как раз к часу визитации. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре в приемную пришел главный врач в сопровождении нескольких ординаторов, смотрителя психиатрического отделения, сторожей и человек двадцати студентов. Он прямо подошел ко мне и устремил на меня долгий, пристальный взгляд. Я отвернулся. Мне почему-то показалось, что этот человек сразу возненавидел меня.

— Только, пожалуйста, не волнуйтесь, — сказал доктор, не спуская с меня своих тяжелых глаз. — Здесь у вас нет врагов. Никто вас не будет преследовать. Враги остались там… в другом городе… Они не посмеют вас здесь тронуть. Видите, кругом все добрые, славные люди, многие вас хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?

Он уже заранее считал меня сумасшедшим. Я хотел возразить ему. но вовремя сдержался: я отлично понимал, что каждый мой гневный порыв, каждое резкое выражение сочтут за несомненный признак сумасшествия. Поэтому я промолчал.

Затем доктор спросил у меня мое имя и фамилию, сколько мне лет, чем занимаюсь, кто мои родители и так далее. На все эти вопросы я отве-

чал коротко и точно.

— А давно ли вы себя чувствуете больным? — обратился ко мне внезапно доктор.

Я отвечал, что я больным себя совсем не чувствую и что вообще отличаюсь прекрасным здоровьем.

— Ну да, конечно… Я не говорю о какой-нибудь серьезной болезни, но… скажите, давно ли вы страдаете головной болью, бессонницей? Не бывает ли галлюцинаций? Головокружения? Не испытываете ли вы иногда непроизвольных сокращений мышц?

— Наоборот, господин доктор, я сплю очень хорошо и почти не знаю, что такое головная боль. Единственный случай, когда я спал неспокойно, — это в прошлую ночь.

— Это мы уже знаем, — сказал спокойно доктор. — Теперь не можете ли вы мне подробно рассказать, что вы делали с того времени, когда сопровождавшие вас господа остались на станции Криворечье, не успев сесть на поезд? Какое, например, побуждение заставило вас вступить в драку с младшим кондуктором? Или почему вслед за этим вы набросились с какими-то угрозами на начальника станции, вошедшего в ваше купе?

Тогда я подробно передал доктору все, что раньше рассказывал жандармскому офицеру. Но рассказ мой не был так связен и так уверен, как раньше, — меня смущало бесцеремонное внимание окружавшей меня толпы. Да, кроме того, и настойчивость доктора, желавшего во что бы то ни стало сделать меня сумасшедшим, волновала меня. В самой середине моего повествования главный врач обернулся к студентам и произнес:

— Обратите внимание, господа, как иногда жизнь бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Приди в голову писателю такая тема — публика ни за что не поверит. Вот это я называю изобретательностью.

Я совершенно ясно понял иронию, звучавшую в его словах. Я покраснел от стыда и замолчал.

— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю, — сказал главный врач с притворной ласковостью.

Но я еще не дошел до эпизода с моим пробуждением, как он вдруг огорошил меня вопросом.

— А скажите, какой у нас сегодня месяц?

— Декабрь, — не сразу ответил я, несколько изумленный этим вопросом.

— А раньше какой был?

— Ноябрь…

— А раньше?

Я должен сказать, что эти месяцы на «брь» всегда были для меня камнем преткновения, и для того, чтобы сказать, какой месяц раньше какого, мне нужно мысленно назвать их все, начиная с разбега от августа. Поэтому я несколько замялся.

— Ну да… порядок месяцев вы не особенно хорошо помните, — заметил небрежно, точно вскользь, главный врач, обращаясь больше не ко мне, а к студентам. — Некоторая путаница во времени… это ничего. Это бывает… Ну-с… дальше-с. Я слушаю-с.

Конечно, я был неправ, сто раз неправ, и сделал неприятность только самому себе, но эти иезуитские приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло:

— Болван! Рутинер! Вы гораздо более сумасшедший, чем я!

Повторяю, что это восклицание было неосторожно и глупо, но ведь я не передал и сотой доли того злобного издевательства, которым были полны все вопросы главного врача.

Он сделал едва заметное движение глазами. В эту же секунду на меня со всех сторон бросились сторожа. Вне себя от бешенства я ударил кого-то по щеке. Меня повалили, связали…

— Это явление называется raptus — неожиданный, бурный порыв! — услышал я сзади себя размеренный голос главного врача в то время, когда сторожа выносили меня на руках из приемной.

. . . . .

Прошу вас, господин доктор, проверьте все написанное мною, и если оно окажется правдой, то отсюда только один вывод — что я сделался жертвой медицинской ошибки. И я вас прошу, умоляю освободить меня как можно скорее. Жизнь здесь невыносима. Служители, подкупленные смотрителем (который, как вам известно, — прусский шпион), ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество стрихнину и синильной кислоты. Третьего дня эти изверги простерли свою жестокость до того, что пытали меня раскаленным железом, прикладывая его к моему животу и к груди.

Также и о крысах. Эти животные, по-видимому, одарены…»

— Что же это такое, доктор! Мистификация? Бред безумного? — спросил я, возвращая Бутынскому рукопись. — Проверил ли кто-нибудь факты, о которых пишет этот человек?

На лице Бутынского мелькнула горькая усмеш-

ка.

— Увы! Здесь действительно произошла так называемая медицинская ошибка, — сказал он, пряча листки в стол. — Я отыскал этого купца — его фамилия Свириденко, — и он в точности подтвердил все, что вы сейчас прочитали. Он сказал даже больше: высадившись на станции, они вместе с художником выпили так много чаю с ромом, что решили продолжать шутку и вслед поезду послали телеграмму такого содержания: «Не успели сесть в поезд, остались в Криворечье, присмотрите за больным». Конечно, идиотская шутка! Но знаете ли, кто окончательно погубил этого беднягу? Директор завода «Наследники Карла Вудта и К°». Когда его запросили, не замечал ли он и окружающие каких-нибудь странностей или ненормальностей у Пчеловодова, он так-таки напрямик и ответил, что давно уже считал старшего техника Пчеловодова сумасшедшим, а в последнее время даже буйно помешанным. Я думаю, он сделал это из мести.

— Но зачем же в таком случае держать этого несчастного, если вам все это известно? — заволновался я. — Выпустите его, хлопочите, настаивайте!..

Бутынский пожал плечами.

— Разве вы не обратили внимания на конец его письма? Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело. Этот человек уже год тому назад признан неизлечимым. Он был сначала одержим манией преследования, а затем впал в идиотизм.

Коллективный сборник сатириконцев «Альманах молодых», 1908

Две пародии

Максим Горький
Дружочки
Рассказ

I

В тени городского общественного писсуара лежали мы втроем: я. Мальва и Челкаш.

Длинный, худой, весь ноздреватый — Челкаш был похож на сильную хищную птицу. Он лениво почесывал босой грязной пяткой другую пятку и сочно сплевывал на сторону.

Мальва была прекрасна. Сквозь дыры старых лохмотьев белела ее ослепительная шкура. Правда, отсутствие носа красноречиво намекало об

ее прежних маленьких заблуждениях, а густой рыбный запах, исходивший от ее одежды на тридцать пять сажен в окружности, не оставлял сомнений в ее ремесле: она занималась потрошением рыбы на заводе купца Деревякина. Но все равно, я видел ее прекрасной.

II

— Все чушь! — сказал хрипло Челкаш, — И смерть чушь, и жизнь чушь. Изведал я всю жизнь насквозь. И скажу прямо в лицо всем хамам и буржуям: черного кобеля не отмоешь добела.

Мальва хихикнула и в виде ласки треснула Челкаша ладонью по животу.

— Ишь ты… Кокетка!.. — промолвил Челкаш снисходительно. — И еще скажу. Влез бы я на Исаакиевский собор или на памятник Петра Великого и плюнул бы на все. Вот говорят: Толстой, Толстой. И тоже — носятся с Достоевским. А по-моему, они мещане.

III

— Зарезал я одного купца, — продолжал Челкаш сонно. — Толстый был. Пудов в десять, а то и в двенадцать. Кабан. Ну, освежевал я его… Там

всякие кишки, печенки… Сальник один был в полтора пуда. Купца ежели резать — всегда начинай с живота. Дух у него легкий, сейчас вон выйдет…

— Известно, — сказал я.

Челкаш поглядел на меня пристально и жестко усмехнулся.

— А ты прежде отца в петлю не суйся… — сказал он с расстановкой. — ТЬоя речь впереди… Потом пошел я на его могилу. И такое меня зло взяло. «Подлец, ты, подлец!» — думаю. И харкнул ему на могилу.

— Все дозволено, — произнесла Мальва.

— Аминь, — подтвердил Челкаш набожно, — так говорил Заратустра.

IV

Стало смеркаться. От писсуара легла длинная тень. Мальва, которая до сих пор внимательно занималась ис-***365*** следованием недр своего носа, вдруг зевнула и оказала томно:

— Пойдем, что ли, Челкаш?

— Ну-к, что ж, пойдем. — Он поднялся и потянулся. — Прощай, что ли, товарищ, — обратился он ко мне. — Увидимся, так увидимся, а не увидимся, так и черт с тобою. Страсть меня как эти

самые бабы любят.

Они ушли — оба молодые, стройные, гордые… Я все еще лежал в тени городского писсуара. Звенело солнце, и смеялось море тысячами улыбок…

«Падающего толкни!» — подумал я, встал, плюнул еще раз и поплелся в ночлежку.

Иван Бунин

Пироги с груздями

Из кислых рассказов

Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, и в дворянских глазах моих светится красивая печаль. Ночь. Ноги мои окутаны дорогим английским пледом. Папироска кротко дымится на подоконнике. Кто знает? — может быть, тысячу лет тому назад так же сидел, и грезил, и жевал мочалку другой неведомый мне поэт?

Ржи, овсы и капусты уходят в бесконечную даль, а там, на самом краю озимого поля, у одинокого омета, важно гуляет грач. Правда, ночью мне его не видно, но он мне нужен для пейзажа. Суслик мягко свистнул на дереве под моим окном…

Отчего мне так кисло, и так грустно, и так мокро? Ночной ветер ворвался в окно и шелестит листами шестой книги дворянских родов. Странные шорохи бродят по старому помещичьему дому. Быть может, это мыши, а быть может, и

тени предков? Кто знает? Все в мире загадочно. Я гляжу на свой палец, и мистический ужас овладевает мной!

Хорошо бы теперь поесть пирога с груздями. Сладкая и нежная тоска сжимает мое сердце, глаза мои влажны. Где ты, прекрасное время пирогов с груздями, борзых густопсовых кобелей, отъезжего поля, крепостных душ, антоновских яблок, выкупных платежей?

С томной грустью выхожу я на крыльцо и свищу старому облезлому индюку. Садовник Ксенофонт идет мимо, но не ломает шапки. В прежнее время я бы тебя, хама, на конюшню!..

Я возвращаюсь в свою печальную комнату. Из сада пахнет дягилем и царскими петушками. Меланхолично курлыкает на пряслах за овинами бессонная потутайка. Отчего у меня болит живот? Кто знает'? Тихая тайная жалость веет на меня незримым крылом.

Все в мире непонятно, все таинственно. Скучный, вялый и расслабленный, как прошлогодняя муха, подхожу я к двери, открываю ее и кричу в зловещую, темноту:

— Марфа, иди сюда!.. Натри меня на ночь бобковой мазью!



Владимир ЛАДЫЖЕНСКИЙ

*** * ***

Еще недолго — и весна
Повеет теплыми крылами,
И зазвучит в реке волна,
И степь покроется цветами.

В лесу проснувшийся ручей
Зашепчет радостные сказки.
Заворожит простор полей
Тепло, исполненное ласки.

И пред грядущей красотой
Молю в надежде я у неба
Счастливых дней стране родной.
Спокойной радости и… хлеба.

Закрыта книга красоты
Для тех, кто мог спокойно видеть
Рабов безмолвной нищеты
И гнет ее не ненавидеть.

В тиши проснувшихся полей

Уж сердце чует песнь свободы
И ждет, придет ли для людей
Любовь на светлый пир природы.

1908

На Невском

Трамваев скучные звонки.
Автомобиль, кричащий дико.
Походки женские легки,
И шляпы, муфты полны шика.

Вдруг замешательства момент.
Какой-то крик, и вопль злодейский.
Городовой, как монумент,
И монумент, как полицейский.

Не видно неба и земли.
Лишь камни высятся победно
И где-то Русь живет вдали…
Живет загадочно и бедно.

«Сатирикон», 1910, № 31

Среди холмов

Среди холмов Жиронды дальней
Родные снятся мне селенья,
И все теснее и печальней.
Все ближе милые виденья.
Чужое все: и сеть тумана,
И солнцем залитые лозы.
Река с дыханьем океана.
Вдали блистающие грозы.
Но мысль не скована пространством;
От этих радостных холмов
С их экзотическим убранством
Она бежит в страну отцов.
Туда, где ужас преступленья
Покрыл крылами черный год.
Карая в муках искупленья
Лжецам поверивший народ.
Пусть то, что сеяли мы с ложью.
Теперь слезами не стереть,
Но, сердцем чуя правду Божью,

Мне бы хотелось умереть
В стране отцов, в стране мне милой,
Где правда снова оживет
И на безвестные могилы
Блогословение сойдет.

1929(?)

Смешная история

За стаканом дешевого вина маленькая беженская беженская компания повеселела. Так редко доставался ей отдых, что она обрадовалась ему как-то по-детски. И гусарский офицер, попеременно работавший то плотником, то огородником, и некогда очень богатая дама, теперь вязавшая накидки другим очень богатым дамам, и педагог, безнадежно цитировавший Платона и Аристотеля, — все были отлично настроены.

— Хотите, я расскажу вам смешную историю? — предложил офицер.

— Ах, пожалуйста, — оживленно ответила дама.

— Смех — это настоящая гигиена души, — заметил педагог.

И, дополнив стаканы, компания тесно сдвину-

лась за маленьким столом.

— Видите ли, — начал офицер, — история будет смешная, это, впрочем, как кому покажется, но начать мне приходится со шпионства. В последнюю войну шпионство процветало повсюду и достигло большого совершенства Это, если хотите, характерно для нашего времени! Само шпионство — а с ним мне часто приходилось возиться по службе — всегда казалось мне явлением сложным. В нем не только любовь к родине, но часто встречается какая-то глухая, затаенная ненависть к людям наряду с несомненным характером спорта. Сложное и довольно-таки темное явление во всяком случае. Так вот это шпионство было поставлено у немцев очень хорошо. Было оно недурно и у нас, хотя в полках держались обыкновенно противоположного мнения. Действительно, когда в немецких окопах появлялись плакаты, что нашу часть отводят на отдых, могло казаться, что немцы про нас все знают, а мы про них ничего, но ведь это так только казалось. В действительности же и мы имели такие же сведения о немецких частях, только они были в корпусах и армейских штабах, не доходя до окопов. В конечных железнодорожных узлах с обеих сторон шпионство, можно сказать, просто кипе-

ло. Так это было, например, у нас в Маневичах, где ведал административную часть комендант железной дороги.

Комендант этот был из старых армейских капитанов, с большой выпивкой, с привычным сквернословием, но человек расторопный. Представьте себе рыжеватые волосы, лицо в веснушках и засаленный френч. Фигура, одним словом, самая заурядная, одна из тех. какие точно по штампу выковывались в глубинах армии. Теперь на этого капитана наседал штаб. Дело шло о поимке известной шпионки Эльзы Найтис. Эта молоденькая и очень хорошенькая не то эстонка, не то латышка пользовалась у нас большой популярностью. Она часто появлялась около наших окопов в качестве сестры милосердия, часто ее видели в пограничных местечках и селах, где у нее были свои знакомства. И самым пикантным в ее популярности было то, что она уже два раза попадалась русским властям и оба раза бежала. Раз она бросилась в неожиданно подкативший автомобиль и скрылась под выстрелами конвойных; в другой раз она исчезла ночью из-под ареста совершенно таинственным образом. Никто не знал хорошенько, как это произошло. Говорили, что она ушла в офицер-

ской шинели. Ее побег связывали с чрезвычайно романическим приключением; рассказывали, что безумно влюбившийся в нее поручик не то дезертировал, не то благодаря ей попал в плен, но ни обстоятельств побега, ни его подробностей никто не знал достоверно.

Дело об этом побеге как-то замялось, перейдя в одну из легенд, бродивших по фронту…

Постепенно эта Эльза сделалась каким-то кошмаром нашего коменданта. Ее имя постоянно упоминалось в донесениях его агентов, оно уже встречалось в приказах и требованиях штаба, о нем открыто и громко говорили в местечке. Капитан даже стал грустить и задумываться, так что случалось, что иногда за рюмкой водки кто-нибудь из товарищей ему говорил:

— А ты опять, Африкан Петрович, раскис. Все об Эльзе своей думаешь. Брось, брат, это дело нестоящее.

— Однако же. — отвечал капитан уверенно, — однако ее должно поймать.

И, подумав немного, добавлял злым и раздельным шепотом:

— И по-ве-сить!

Дни шли за днями. Одни события сменяли другие, приготовлялись плацдармы, шли на-

ступления и отступления. кровь лилась по всему фронту, а у нас в местечке все было по-старому. Если спросят, бывало, про новости, то попросту отвечают:

— Да ничего, все то же: Африкан Эльзу ловит.

И наконец-таки он ее поймал. Я видел, как ее вели три конвойных солдата. Она была в бедном, очень поношенном ситцевом платье, но необыкновенно красива. В чем была ее красота? Ее фигура казалась гибкой и стройной, но привлекали главным образом глаза и волосы. Глаза светло-серые и огромные, словно сияющие, какие изредка встречаются в Польше и вообще в западном краю. Светлые, волнистые волосы казались красивой рамкой, намеренно оттеняющей это странное сияние глаз. И эту красивую девушку вели теперь три солдата с ружьями, грузно стуча по мостовой тяжелыми сапогами; Африкан Петрович был очень доволен. Его веснушчатое лицо сияло, губы расплывались в улыбку, он потирал руки и шептал, захлебываясь:

— Попалась, попалась. Наконец-то. голубушка!

Он отделывался наконец и от своего кошмара, от неприятностей и насмешек. Вместо неуловимой химеры была теперь перед ним живая женщина-преступница, им пойманная, которую

оставалось только отослать в штаб. В благодарности начальства и наград он не мог сомневаться. Вот только поезда были так плохо расположены, что уходил только один поезд в сутки, раз утром. Этот поезд уже ушел, и приходилось караулить Эльзу весь день и всю ночь до следующего утра. Но на этот-то раз уж он ее не упустит. И для большей верности Африкан Петрович приказал поместить Эльзу в своей квартире. Дверь затворилась за шпионкой и комендантом, и часовые стали у двери.

О чем говорил Африкан Петрович с Эльзой, говорил ли он с ней и как вообще проводил он время со своей пленницей — осталось, разумеется, никому неизвестным. Перед вечером Африкан Петрович выходил недолго из квартиры, гулял по местечку, заходил в кофейню, но был задумчив и грустен и на вопрос знакомых об Эльзе заговорил неожиданно о жестокости и ненужности войны вообще. Так от него и не добились каких-нибудь более или менее интересных подробностей об его пленнице. Потом он купил бутылку коньяку, ветчины и яиц для ужина и ушел к себе. Дверь он запер на ключ. Два часовых неподвижно стояли около нее. Темная, беззвездная ночь спустилась над местечком, и долго, до самого бледного рассве-

та, светился огонь в окнах Африкана Петровича.

— Он, конечно, безумно влюбился в нее, — заметила дама.

— Но позвольте, в такой обстановке! — сказал педагог. — Вы забываете, что через день, самое большее, ее ждет смерть.

— Точно не могу вам сказать, — подумав, отвечал офицер. — Странно вообще, должно быть, человек создан. Вот вы сказали — любовь. Ну это слово особое, и понятие в нем такое огромное, как бы это сказать — разнообразно индивидуальное, что ли. А вот странно, что жажда наслаждения пробуждается особенно во время массовой опасности смерти. Вспомните, что никогда не бывает такого безудержу в этом отношении, как во время войны и революций.

— Пир во время чумы — несомненная истина, — сказал педагог.

— Повторяю, однако, — продолжал офицер, — повторяю, что относительно их образа жизни вдвоем взаперти никому ничего не известно, и самые любопытные люди в местечке решительно ничего не могли по этому поводу дознаться. Утром, ровно за полчаса до отхода поезда, пришел конвой с офицером, и двери квартиры тотчас же отворились. Комендант вышел без шапки и

вручил сопровождавшему офицеру пакет. Тотчас же за ним показалась и арестантка. Очевидцы утверждали, что она была страшно бледна и от этого глаза ее казались еще лучистее и больше. От бессонной ли ночи или от ожидания смерти так побледнела она — кто теперь об этом узнает?.. Раздалась команда, солдаты взяли ружья вольно, офицер пошел впереди, а кругом Эльзы вновь грузно застучали по мостовой тяжелые солдатские сапоги.

Офицер сделал паузу. Медленно, по глоткам, выпив стакан вина, он сказал:

— Вот тут-то и начинается самое смешное в этой истории. Через пять минут подошли к станции. Эти русские захолустные станции всем вам, конечно, знакомы. Неуклюжее, длинное, пустое здание, сеть разбегающихся во все стороны рельс, товарные вагоны на запасных путях, снующие под вагонами бесприютные куры, — что может быть скучнее и однообразнее такой картины! А тут еще серое осеннее утро и эта мрачная группа конвойных с преступницей посередине. Все создавало самое тягостное и безнадежное настроение, как вдруг Эльза остановилась и попросилась в уборную. Эта самая естественная необходимость вызвала почему-то улыбку на

лицах солдат. Конвой остановился. Рядом со станцией была небольшая, наспех сколоченная из досок уборная. Офицер вдруг вспомнил прежние побеги преступницы и принял все меры. Одного солдата он поставил сзади уборной, два других стали у дверей. Эльза вошла, и потянулись одна за другой неловкие, томительные минуты ожидания. И вдруг с страшным громом, как это бывает в пустых деревянных постройках, раздался выстрел. Офицер опешил в первую минуту и не успел броситься к уборной, как дверь ее растворилась, к его ногам упала Эльза и выбежал другой, окровавленный офицер.

— Стой, убийца! — закричал конвойный офицер, хватая постороннего офицера за воротник.

— Это меня убили, меня убили! — растерянно кричал схваченный офицер.

Солдатский конвой улыбался все веселее и веселее. Действительно, выскочивший офицер представлял потешное зрелище. Растерянный, со спущенными штанами, с окровавленным задом, он бормотал что-то бессвязное. Дело, разумеется, разъяснилось. Эльза застрелилась. Пуля, направленная вбок, пронизала тонкую перегородку и ранила случайного посетителя. Вот и вся смешная история, вызвавшая веселье конвоя.

— Но где же она взяла револьвер? — спросил педагог.

— Револьвер оказался принадлежащим коменданту, — ответил рассказчик.

— А, вот видите, — сказала дама. — это последний трагический подарок влюбленного человека. Иначе в подобных обстоятельствах и не могло быть.

— Ну, как вам сказать, — заметил рассказчик. — Разве нельзя попросту стащить револьвер у человека, особенно если он неосторожен с выпивкой? Повторяю, что в этой истории многое осталось совсем неизвестным. Следствие установило только, что револьвер принадлежал коменданту и Африкан Петрович сильно поплатился за это: его разжаловали в солдаты.

На этом и кончил офицер рассказывать свою смешную историю. Но из слушателей никто не смеялся. Дама грустно поникла головой в каком-то раздумье, педагог заговорил было о ничтожности жизни, о том, что она только сон, а смерть — пробужденье. Но и он скоро замолк на сократовской цитате:

— Принесите Эскулапу в жертву петуха за мое выздоровление.

И было совершенно очевидно, что петух не

имеет никакого отношения к рассказанной офицером смешной истории. Смеялись над этой историей только солдаты-конвойные да те приятели, которым они долго рассказывали о ней со всевозможными вариациями. Сам же герой последнего приключения, раненый офицер, отнюдь не смеялся. Напротив, он был совершенно убежден, что во всем действовала дьявольская сила, и Эльзу расценивал по меньшей мере как ведьму.

— Подумайте, — говорил он уныло, — какая же это девушка? Такая молоденькая, почти что дитя, а сеет кругом зло, одно только зло. Страшно подумать, сколько жизней загубила она своим предательством и шпионством. И Африкан Петрович разжалован через нее в солдаты. Согласитесь, что она по крайней мере ведьма и орудие какой-то темной, нездешней силы. Да и застрелиться-то она порядочно по-человечески не сумела: надо же было в непристойном учреждении случайно ранить ни в чем не повинного человека…

1930



Не может быть

Разговор, как это бывает между малознакомыми людьми, перескакивал с темы на тему. Я сидел в маленьком ресторане на самом берегу Гаронны за чашкой кофе, смотрел на пылающей закат солнца и разговаривал с знакомым французом. Он очевидно старался меня занимать. И потому, подумав немного, вдруг объявил мне:

— Ручаюсь, что по поводу того, что я вам сейчас расскажу. вы непременно скажете мне: не может быть. И это потому, что жизнь иногда бывает гораздо фантастичнее самого пылкого человеческого воображения.

И, прихлебнув кофе, француз начал рассказывать:

— Это случилось у нас ровно сто лет тому назад. Об этом было даже на днях в одной местной газете. Жил тогда в Бордо матрос, по имени Кабрис. Во время войн великого императора он попал в плен к англичанам. Потом, как-то освободившись, стал служить на китоловном судне и пошел в дальнее плавание. И вот, можете себе это вообразить (я мог себе это вообразить), у острова Нукагивы их судно разбилось о скалы и весь экипаж был

немедленно съеден туземцами, потому что на Маркизовых островах, вообразите себе и это (я вообразил себе и это), жили тогда людоеды. Съели они всех до одного, кроме Кабриса, который приглянулся дочери ихнего короля Валкамайке. Вот и предложили тогда Кабрису на выбор: или быть съеденным, или жениться на этой Валкамайке. И вообразите себе (я без труда это вообразил), он выбрал женитьбу. И тогда сам король в знак почета продел ему перо в ноздри и татуировал левую щеку. Хорош, должно быть, был французский матрос с таким украшением. Так и стал наш Кабрис королевским зятем, прижил детей, жил совсем недурно и только вот никак не мог привыкнуть к человеческому мясу. Но ведь беда приходит всегда неожиданно. И вдруг к острову пристал ваш знаменитый мореплаватель Крузенштерн, тут-то вот все и перевернулось вверх дном доя нашего матроса. На острове начались какие-то дикарские интриги, у Кабриса оказались враги и соперники, и на него посыпались жалобы. Крузенштерн рассудил скоро и просто. Взял он с собой Кабриса, увез его дальше и без всяких с ним совещаний и разговоров высадил на Камчатке.

Вот и стал бордосский матрос пробираться че-

рез всю Сибирь и Россию без денег, да и без языка, которому он кое-как по дороге учился. Как-то он все-таки добрался до Петербурга, а уж там совсем неожиданно сделался учителем плавания в морском училище.

Согласитесь, что это более чем удивительная судьба! (Я поспешил согласиться.) Но его тянуло на родину, и он ни за что не хотел остаться в России. Как-то он все-таки пробрался во Францию.

Но как и чем, спрашивается, мог он здесь жить, без родных и знакомых, без гроша денег, после таких удивительных приключений? И вот он стал показываться в Бордо в балагане, представляя татуированного дикаря. Недолго, однако, довелось ему жить на родине. Зимой простудился он в Валансьене и умер в больнице, вспоминая, может быть, жаркое небо Нукагивы и ласки дорогой ему Валкамайки.

Рассказ был кончен. Француз прихлебывал кофе и смотрел на меня вопросительно. Очевидно, он ждал.

Я вынул тогда из кармана документ, который и прочитал ему в переводе.

«Августа 7-го 1919 года выдано сие удостоверение казаку хутора Мешкова станицы Казанской Гаврилу Трофимову в том, что он был расстрелян.

Очнулся он промеж трупов в подвале и выполз оттуда с разбитой головой. За буржуйность перед товарищами страдал и впредь его не расстреливать. Комиссар Иван Шигаев».

Мой знакомый оттолкнул кофе, поднялся с места и произнес:

— Не может быть.

Я рассказал ему потом, как этот казак бежал на лодке по Черному морю, как он перебивался в Турции и на островах архипелага и с какими приключениями добрался наконец до Франции… Мой знакомый был, разумеется, совершенно прав в том, что жизнь иногда бывает гораздо фантастичнее самого пылкого человеческого воображения. Особенно во время массового безумия, — во время войн, бунтов и революций.

1930

Георгий ЛАНДАУ

Аля

Аля вошла в нотный магазин и спросила:

— Есть у вас ноты?

— Есть, — сказал приказчик.

— Ну, так дайте… Только чтобы были хорошие.

Приказчик был человеком музыкально образованным и улыбнулся:

— То есть как это хорошие? Вам кого?

— Ноты.

— Я спрашиваю — какие? Нот много: Шуберта, Шопена, Бетховена, Листа.

— Нет. мне получше, — попросила Аля.

— Вам для чего же? Для рояля, для пения?

Аля задумалась.

— Для пения. Рояль-то еще покупать надо.

— Для какого голоса? Сопрано, баритон, тенор, бас?

— Нет, вот для второго, что вы сказали.

— Для баритона… Харрашо-с… Что бы вам такое дать… «Ночь» Чайковского, хотите? А то вот еще, тоже хорошая вещь: «Песнь моя. лети с мольбой» — серенада Шуберта?

— Лучше — лети с мольбой. Это хорошо, — одобрила Аля. — Только, пожалуйста, заверните как следует, чтобы ноты были видны. Понимаете? Чтобы как кто посмотрел — видел бы, что ноты. А то лучше совсем не надо. Так и заверните, как ноты.

— А то как же? — иронически сказал приказчик. — Их как чай или сахар не завернешь. Что ноты, что бумага — в трубку. А то, самое лучшее, папку возьмите, тогда уж никто не перемешает. Видите, вот «музик» написано. «Музик» — музыка.

— А дорого это — с музиком?

— Слишком даже недорого — полтора рубля.

Полтора рубля было для Али дорого, однако папку она купила.

Аля была «такая» девушка. Очень молоденькая, семнадцати лет, но уже второй год — такая.

Все эти Чайковские, сопрано, Шуберты и баритоны были ей одинаково чужды.

А «Песнь моя. лети с мольбой» и папка-«музик» приобретались Алей с чисто рассудочной, коммерческой целью.

Мысль сделать эту покупку родилась у нее в голове после долгого ряда наблюдений над собой и людьми.

Сначала она ходила по Невскому с пустыми руками, потом с красиво завернутой коробкой из-под конфет, наполненной ореховой скорлупой и лоскутками, чтобы не было шума.

Коробку конфет купил Але знакомый, но у нее не хватило выдержки таскать ее с собой, не прикасаясь к содержимому. Конфет ко второму вечеру убыло, и они стали кататься при ходьбе, портя хорошее впечатление, производимое самой коробкой.

Пришлось их доесть.

Коробка придавала Але вид избалованной женщины, у которой нет недостатка в поклонниках, и этим способствовала повышению Алиной стоимости.

Потом Аля перешла на сверток. Простой сверток оберточной бумаги с завернутой в нем кофточкой.

Это уж было нечто другое. Сверток обладал магическим свойством превращать Алю в хорошенькую, чистенькую барышню из магазина, решившую пройтись по Невскому, прежде чем идти домой ужинать.

Над такой девушкой стоило поработать и попробовать соблазнить ее чем-нибудь более существенным, чем Алю без свертка или даже с

коробкой из-под конфет.

В Але с коробкой не было и тени той чистоты, что сквозила у Али со свертком, той чистоты, которую так любят солидные люди, дорожащие своим покоем и покоем семьи.

Но, конечно, и цена ей была не та.

Таким путем Аля докатилась до серенады Шуберта и папки-«музик».

А папка, отразившись в первой же витрине, так подействовала на Алино воображение, что она остановилась как вкопанная, подумала и, осмотревшись по сторонам, решительно направилась к магазину вязаных вещей.

Зачем останавливаться на полпути? Почему прыгать со ступеньки на ступеньку, раз можно одним взмахом очутиться на самом верху? Ведь если выйти на Невский с этой папкой, да еще в том голубом мохнатом капоре, то кто же не поймет, что она спешит с урока музыки или с какого-нибудь концерта, если попозднее?

Да… Чтобы подцепить такую штучку, нужны денежки!

А то и никакие денежки не помогут. Не будь все мужчины такими нахалами, пожалуй бы, и не сунулись…

Да в таком виде и сама не захочешь связаться

с кем попало…

— Послушайте… Сколько у вас стоит этот капор?

— Восемь рублей!

— Господи, как дорого! А дешевле нельзя? Ну, хорошо… заверните.

* * *

Дела Али пошли плохо.

Папка и капор слишком обязывали и, взятые вместе, оказывали действие сильнее, чем требовалось.

Капор сидел на голове уже два дня, как старый маркиз, предпочитавший скорее умереть с голоду, чем пуститься на недостойный образ действий. И он, и музыкальная папка, без всякого уговору, заставляли Алю идти мелкими шажками, опустив голову, ограничиваясь самое большее стрелянием глаз.

Но Але хотелось есть, и на третий день она закашлялась прямо в лицо двум франтоватым студентам.

Капор мучительно покраснел, а студенты нерешительно двинулись за Алей.

— Хорошенькая, — сказал один.

— Брось, — удержал другой. — Забыл, как тогда

нарвались. Только два слова сказали, а из-за угла — братцы. Так налетишь, что и не развяжешься.

— Да вид-то у нее уж больно бедовый…

— Что вид? Отчаянная девчонка, больше ничего. А как до дела — рев, скандал.

Сердце Али сжалось от горькой обиды. Никогда она не ревела, никогда не скандалила и вообще не доставляла никому ничего, кроме удовольствия, своим добрым характером и молодым телом.

Но особенно больно было видеть, как красивые студенты повернули за ее подругой с зеленым зонтиком, в большой глуповато-простодушной шляпе.

— Вам бы только за рванью и бегать, — с неожиданной и новой для себя злобой сказала им вслед Аля.

Папка нервно вздрогнула, а проходившая мимо старуха, в большом платке и шапке, сплюнула на сторону и подивилась:

— Господи помилуй, никак и образованная, а хуже девки ругается.

— Поди ты к черту, — определенно выразилась Аля, но сконфузилась перед капором и виновато добавила: — Вас, бабушка, не трогают, вы и идите с Богом.

Но бабушка с ней не согласилась, а погрозила

пальцем в обгрызенной перчатке и поклялась пожаловаться родителям Али.

— Они те юбку-то задерут, — пророчески предначертала она, — они те, паскудной девчонке, покажут, как де-нежки-то их кровные расшвыривать… А?! Это что ж такое? Девчонку учиться послали, а она господам студентам подкашливает… К черту пойди! Я те пойду. Родителей только твоих жалко, а то бы я те пошла. Только и жалко стариков. Пошла бы я тебе!!

Она еще долго колебалась между желанием пойти и жалостью к Алиным родителям, пока последнее чувство не восторжествовало и не повлекло ее прежней дорогой.

«Вот так кашлянула», — злорадно кольнуло Алю.

Посмотрелась в витрину и горько улыбнулась папке и капору:

— Туда же… напялила…

Какая-то хорошо одетая дама бросила на Алю негодующий взгляд и спросила мужа:

— Видел, как эта девчонка на тебя стрельнула? Такой сморчок, а уже на мужчин засматривается.

— Порют мало, — объяснил муж, — такие задатки палкой надо вышибать.

У Али начали дрожать губы.

Что она им сделала? Уже десятый раз слышит она это дурацкое — пороть, пороть. За всю жизнь Алю никто не порол, что бы она ни делала, хоть и было иногда за что. Уж так ей везло.

А теперь, когда она связалась с этим проклятым капором и папкой, ее готова выпороть первая старуха, первый встречный негодяй.

Да ну их, в таком случае, к черту, раз это такая каторга!..

А красивые они все-таки, очень красивые. И к ней как идут, прелесть! Прямо удивительно, какая она с ними хорошенькая и нежная… Такая недотрога, что ой-ой-ой! Даже смешно…

В темные витрины очень удобно на себя смотреть…

А вот эта — светлая и в ней — сиги. Ну и жирные! За рубль такой сиг? — это недорого. Семга — рубль шестьдесят, скажите… Полендвица — семьдесят копеек…

— Поедем ужинать, — сказал Але чей-то голос.

Сердце Али стукнуло, а капор и папка болезненно застонали.

Но голос был такой простой и убедительный, что заглушил все другие.

— Поедем, — ответила Аля. — Только позвольте

мне… переодеться.

— Ну, ладно, — неохотно согласился голос.

Капор и папка молча оценили эту деликатность.

Юмористическая библиотека «Сатирикона», 1912, выпуск 53



Соблазны жизни

Когда мне было девять лет, сыну инспектора гимназии давно перевалило за десять.

Это давало ему повод к вечному хвастовству, как будто своего возраста он достиг исключительно благодаря личному такту, находчивости и тонкому расчету.

В тот день, когда ему стукнуло одиннадцать, он подбил мне глаз и выразил удивление, что у меня еще хватает бесстыдства навязываться ему в товарищи.

Я сделал попытку доказать ему, что полтора

года тому назад он был в моем возрасте, но он ответил, что давно уже снял с себя ответственность за грехи прошлого. Что же касается моих надежд на достижение его возраста в будущем, то он их считает в значительной степени беспочвенными.

В результате, однако, он немного смягчился и пообещал что-нибудь для меня сделать, чтобы, так или иначе, облегчить мне возможность стать на ноги. После этого он испытующе посмотрел мне в глаза и вышел, попросив терпеливо ждать его возвращения.

Через полчаса он вернулся значительно обновленный, с желтыми пятнами на губах и на подбородке и пригласил меня приблизить нос к его лицу, после чего широко раскрыл рот.

Это был на диво мерзкий запах, но по выражению его лица я понял, что ошибся, и поспешил узнать, как удалось ему достигнуть таких блестящих результатов домашними средствами и в короткий срок.

Вместо ответа он наклонился к моему уху и спросил, какого я мнения о паре хороших гаванских сигар.

— Только хороших, — подчеркнул он.

И, видя мою нерешительность, хлопнул меня

по плечу, прибавив:

— В твои годы, голубчик, я уже давно бросил монашеский образ жизни.

Это признание вырвало у него взрыв хриплого хохота, справившись с которым он взял меня под руку и повлек к себе на двор.

Там он остановился перед небольшой кучей всякого хлама и начал рыться в нем, при помощи щепки, с озабоченным лицом, время от времени посылая проклятия бездельникам испанцам, старавшимся подсунуть ему, вместо настоящих гаван, всякую заваль.

Наконец он нашел парочку, «за контрабандный ввоз которых уже не один негодяй получил пулю между лопаток», и сделал мне знак следовать за ним.

В сарае он вытащил из кармана пару сильно помятых окурков и, сравнив их длину, сунул более короткий в мой рот. Но сейчас же вынул его оттуда и переложил в свой, объяснив, что для начала полезнее смотреть, как это делают знатоки.

При этом он хладнокровно чиркнул спичкой и поджег конец окурка, испустившего струйку белого, очень скверного на первый взгляд дыма.

— Хорошо? — спросил я.

Он добродушно улыбнулся и, глядя поверх ме-

ня, сказал:

— Лично мне это доставляет наслаждение.

И, полюбовавшись на окурок, весело прибавил:

— Когда куришь вот этакую штучку, то чувствуешь, как становишься человеком.

Я попросил дать мне возможность ознакомиться с этим незнакомым мне процессом, и он охотно исполнил мою просьбу, предупредив:

— Не советую увлекаться. Табак этой бестии в состоянии свалить буйвола.

В тот же момент мне показалось, что в мое горло засунули большую половую щетку и, взявшись за ее ручку, согнули меня пополам.

Я, вероятно, здесь бы и умер от кашля, если бы сын инспектора не начал меня бить по спине, пока не отвлек внимание смерти в сторону спинного хребта.

Я поблагодарил его за участие и сказал, что совершенно не понимаю, как он в состоянии переносить эту пытку, куря такие сигары.

Он показался польщенным и приветливо объяснил, что это вовсе не пытка и, мало того, ничто так не в состоянии освежить усталую голову человека, как хороший турецкий или испанский табак.

У меня же просто не хватает привычки и практики, но уже со второй затяжки я буду чувствовать себя иным человеком.

Он оказался прав, как всегда.

Вторая попытка оказалась легче, и, когда мы вышли из сарая, я чувствовал себя совершенно иначе.

В глазах у меня рябило, а во рту я чувствовал совершенно новый вкус, словно в нем топили бумагой и старыми тряпками.

И это не было обманом, потому что, когда я поцеловал после обеда тетку, она содрогнулась от ужаса и крикнула:

— Боже мой! Откуда такая вонь?! Почему от тебя пахнет какой-то паленой дрянью? Иди и вымой скорее рот.

— Поди-ка сюда, голубчик, — поманил дядя.

Мне очень не хотелось подходить, потому что сын инспектора успел мне откровенно рассказать о более чем странном отношении к делу курения со стороны его отца.

Инспектор брал полотенце и, завязав на конце узел, отсчитывал на спине ту цифру, которая соответствовала каким-то понятным ему одному вычислениям.

Сын инспектора каждую единицу считал поче-

му-то морским узлом и признался, что в этот день утром его отец успел сделать четыре морских узла, в два рейса.

Лично он к этим экскурсиям относился совершенно отрицательно и теперь, в ожидании их со стороны моего дяди, искоса поглядывал на дверь.

К моему удивлению, дядя не только не разделил взгляда тетки, но с наслаждением потянул носом и, ударив по столу кулаком, воскликнул:

— Клянусь спасением души — я наслаждаюсь, как никогда! Если мой старый нюх меня не обманывает — это запах старого бразильского табаку!

Он перемигнулся с инспекторским сыном и, иронически кивнув на тетку, отшвырнул ногой стул.

— Ты с ума сошел! — твердо сказала тетка.

Но он непочтительно расхохотался ей в лицо и, подойдя к сыну инспектора, звонко хлопнул его по плечу и сказал:

— Тысяча дьяволов! Много вы, бабье, понимаете. Когда, раз в жизни, встречаешь пару дельных ребят, которые теперь, увы, повывелись, то кажется, что сам становишься моложе десятка на два годков… Эх!.. Гайда, ребята!

Он схватил нас обоих под руки и потащил в

кабинет.

— Этот малый в моем вкусе, — шепнул мне сын инспектора, когда дядя ловко швырнул нас на большой мягкий диван. — И силен, как африканский буйвол.

Дядя достал из ящика большую коробку толстых коричневых сигар и любовно вскрыл ее большим финским ножом.

— Вы разве курите? — спросил сын инспектора.

Дядя покатился со смеху.

— Курю ли я? Да, черт побери, давненько уж я не держал в зубах такой вот милашки. — Он с нежностью посмотрел на сигару и обрезал ножом кончик. — Берите, ребята, только раньше заприте дверь и откройте форточку, чтоб моя старуха не хлопнула нас за этим делом. Старая не переносит дыму, и если бы не она, я никогда бы не изменил своей сигаре. Это ее условие: или она, или сигара.

— Я бы предпочел последнее, — сказал инспекторский сын, пуская столб дыма.

Дядя виновато улыбнулся:

— Я немного привык к своей старухе… Но все же, когда встречаешь одного-другого теплого парня — плюешь на все, чтобы раскурить с ним

парочку-две сигар, если они даже так медленно сосут, как мой племянник.

Они оба дружно расхохотались и сделали вид, что не заметили моего румянца, а я изо всех сил засосал толстую, как огурец, сигару.

— В этом деле я не признаю средины, — сказал дядя. — Одна сигара для меня — ничто. И уж если старуха выкинет нас отсюда, так было бы за что. После четырех-пяти этаких толстых плутовок я чувствую себя в силах свалить ударом кулака носорога.

Инспекторский сын поспешил сознаться, что это чувство ему более чем знакомо, и оба они зачмокали своими сигарами, глядя вдаль прищуренными и затуманенными воспоминанием глазами.

Время от времени они испускали вздохи восторга и с дружеской иронией кивали головами на мою сигару.

Эта проклятая сигара положительно не убывала и, когда от их сигар остались одни окурки, из моего рта торчала целая половина.

Вдобавок чем дальше, тем она становилась упрямее и противнее, так что раз или два у меня мелькнуло трусливое желание, чтобы нас накрыла тетка. Это было бы тем более кстати, что

начинало неприятно царапать в горле и мутиться в глазах.

— Ну-ка, вторую! — лукаво подмигнул дядя инспекторскому сыну, слегка запыхавшемуся от гонки. — Я вижу, что вы давно поглядываете на эту рыжую каналью. А? Угадал?

— Угадали, — улыбнулся тот.

Мне его улыбка показалась немного натянутой, хотя он комически крякнул, когда дядя протянул ему сигару и нож.

А кроме того, подрезывая кончик, он украдкой взглянул на дядю и отрезал почти половину, после чего поспешно сунул толстый конец в рот.

При этом он, вероятно, подавился, потому что страшно закашлялся и выплюнул сигару на пол.

— Это бывает, — дружески кивнул дядя и, надрезав для него другую, подал ему закурить.

— Не те годы. — попробовал объяснить инспекторский сын.

— Конечно, — согласился дядя. — Когда-то я знал одного паренька… Из тех головорезов, которым ничего не стоит поджечь деревню или угнать хорошее стадо мустангов.

— Знавал, — не совсем твердо вставил сын инспектора.

— Так вот, этот паренек действительно курил! Я

не знал большего наслаждения, чем в компании этого негодяя выкурить три-четыре штучки. С таким товарищем можно было поработать!

Сын инспектора попробовал припомнить нечто подобное из своей практики, но ограничился слабым кивком головы и с болезненным свистом втянул воздух через свою сигару.

За последние пять — десять минут он сильно изменился к худшему и сидел осунувшийся и бледный, изредка подавляя какие-то внутренние порывы.

Впрочем, и все остальные предметы в комнате почему-то стали казаться мне безнадежно тоскливыми, мутными и как-то странно качавшимися, что у меня, однако, вызвало не удивление, а унылую покорность неумолимой и ужасной судьбе.

Поэтому я совершенно не удивился, когда сын инспектора вдруг поднялся со стула и, глядя в сторону, вяло сказал:

— Ну, я пойду…

— Куда? — удивился дядя. — Сидели, сидели… Вот те и теплая компания! Черт меня побери, если стоило начинать эту заветную коробчонку! От товарищей так не уходят!!

Он казался сильно обиженным и возбужденным.

— У меня лодка не привязана, — нетвердо сказал сын инспектора. — Прощайте.

Я знал, что корзинка из-под белья, в которой мы ездили по Иллинойсскому озеру, была крепко привязана в сарае. но поспешил вызваться ему помочь.

Он принял предложение, и мы ушли, отклонив настойчивые предложения старика взять с собой заветную коробочку.

— Я предпочитаю прикончить ее в старой компании, — пояснил сын инспектора.

Однако его слова, против обыкновения, не оказались пророческими.

Когда, оправившись от короткой, но неприятной болезни, я пожал его руку, меня поразила его бледность и худоба.

Он посмотрел на бок и, пожав плечами, тихо сказал:

— Как это ни странно — я бросил курить. То. что еще недавно составляло потребность моей натуры, теперь для меня — нуль. Удивительно, как играет нами судьба.

— Ты похудел, — сочувственно сказал я.

Он отечески погладил меня по голове:

— В мои годы такие переломы не проходят бесследно.

Он и теперь еще на полтора года старше меня.

Юмористическая библиотека «Сатирикона», 1912, выпуск 53

Секрет

Говоря откровенно, я не пользуюсь успехом у женщин. Они проходят мимо меня целыми стаями, невнимательные и равнодушные, как плотва или уклейка — мимо плохо сделанной приманки.

У меня есть знакомый… Я не хочу называть его имени, отчасти щадя его скромность, отчасти потому, что нам всегда несколько неприятно упоминать лишний раз имя человека, имеющего перед нами преимущества. Человека, легко и красиво порхающего по верхушкам прекрасного дерева наслаждения, в то время как мы карабкаемся на него при помощи скверно сколоченной лестницы. Перебираемся со ступеньки на ступеньку, цепляясь карманами пиджака и ушками ботинок за торчащие сучки и гвоздики, наконец летим кубарем вниз, чтобы повиснуть вверх ногами на одном из нижних сучьев в ожидании помощи со стороны.

Мой знакомый совершенно застрахован от подобных случайностей, я не знаю почему.

Он мал ростом, некрасив и, наконец, положительно не умен. И тем не менее я еще не встречал человека, пользовавшегося у женщин таким стихийным успехом, как он — простой чиновник коммерческого банка, в отделении аккредитивов.

К чести его — он скромен, и если я являюсь лицом несколько осведомленным в его похождениях, то больше благодаря своей острой наблюдательности, чем его болтливости и любви хвастаться успехом.

Когда он идет по улице, то кланяется без конца, а иногда останавливается перед фотографическими витринами и так нервно всматривается в портреты красивых женщин, что невольно обращает на себя внимание.

Один раз, с трудом оторвавшись от чудного лица молодой девушки, он тихо сказал:

— Как это ни странно, но самые маленькие уколы нашего сердца почти никогда не заживают окончательно.

В следующий раз я сам обратил внимание на большой портрет милой обольстительной женщины и спросил его мнения, но сейчас же

раскаялся. Его лицо приняло странное, почти болезненное выражение, а глаза, обращенные на меня, выражали кроткую и какую-то растерянную мольбу.

— Я прошу вас, не вспоминайте больше об этом, — сказал он. — Если вы чувствуете ко мне хоть призрак дружбы и дорожите моим спокойствием… Что было, того уже не воротишь.

Мне стало жалко его и неловко за свою невольную неделикатность… В конце концов — разве это была его вина? Можно вернуть все, за исключением времени и любви к женщине, хоть и прекрасной женщине.

Однажды я затронул вопрос о женщинах несколько глубже, с тайной целью выпытать у него частицу его секрета, тайну его успеха.

Он сразу угадал мою мысль и, улыбаясь, откровенно сказал:

— В вас нет главного, дорогой мой, — настойчивости и смелости. С этими двумя качествами вы можете подходить к любой женщине.

— Боюсь, что вы ошибаетесь, — быстро нашелся я. — Только на днях я встретил на Невском женщину, по внешнему виду удовлетворявшую моему идеалу. Я преследовал ее неотступно в продолжение двух-трех часов, пока она раз во-

семь прошла по Невскому. И даю вам слово, что уже давно не чувствовал себя таким бодрым и смелым, как после ее исчезновения в подъезде.

Он дал мне время высказаться и — с той же улыбкой — сказал, что еще мало обладать перечисленными выше качествами. Нужно знать меру и не ошибаться в последовательности их применения.

Я ушел от него, окрыленный надеждами, и по дороге домой встретил ту самую женщину, которая уже раз избегла своей участи только благодаря моему неумению правильно располагать своими данными. Я собрал весь запас имеющегося у меня мужества и совершенно непринужденно сказал, приподнимая шляпу:

— Мадам…

Я был ошеломлен той легкостью, с какой она мне пошла навстречу, бедная и милая жертва женской беспомощности.

— Чего еще? — спросила она весело, не подозревая, что рискует поставить меня в тупик.

К счастью, я нашелся и ответил:

— Чашка чаю в комнате старого холостяка, вероятно, не произведет на вас дурного впечатления?

Признаюсь, я не отдавал себе отчета в безрас-

судной дерзости своих слов — вот что делает с нами желание.

— О, нисколько! — воскликнула она смеясь, — нисколько! Возьмем извозчика?

Извозчика… Как часто бывает, что самое обыкновенное, грубо-реальное слово сразу возвращает нас к полному, ясному сознанию действительности.

Что она может подумать? Как она может отнестись к предложению почти незнакомого человека повезти ее, молодую женщину, к себе на квартиру, где он может с ней сделать если не все. то, во всяком случае, очень многое?

Я решил пресечь могущие зародиться в ее мозгу ненужные опасения и сказал:

— Вы, конечно, не думаете, что я предлагаю вам что-нибудь дурное?

— Ну конечно, — отвечала она совсем весело, — чашку чая… и так далее. — И она запела: — И так далее, и так далее, и так далее…

Ее веселость показалась мне подозрительной.

Я осторожно взял ее под руку и шепнул:

— Не надо нервничать… дорогая…

— Что-о?! — Она рассмеялась громче, чем следовало.

Меня покоробило.

— Не надо нервничать, дорогая, — твердо сказал я. — Знакомство только тогда красиво, когда обе стороны одинаково смелы и равно не боятся своих поступков.

— Извозчика скоро возьмем? — перебила она, вероятно задетая моим замечанием о недостатке смелости.

Я помог ей сесть, сказал извозчику адрес и, пожимая ее локоть, мягко объяснил, что я не хотел ее обидеть.

— Ведь смешно же, — стараясь быть возможно более простым и понятным, заговорил я, опять-таки удивляясь той кристальной ясности, железной логике и вместе с тем гуманности, которые звучали в каждом звуке моего голоса. — Смешно… Не поехать к мужчине потому, что он может из этого вывести не совсем лестное для ваших взглядов заключение.

— Да ведь едем? — растерянно спросила она.

Меня немного поразила ее непонятливость.

— Едем… Ну конечно, едем… Вы меня не понимаете. Для меня важно, чтобы не было этого запоздалого раскаяния, этих сцен — ненужных и одинаково тяжелых для нас обоих…

— Ну уж, пожалуйста, — с заметным неудовольствием сказала она. — Не беспокойтесь…

— Я-то не беспокоюсь, — добродушно ответил я. — А вот у вас-то сердечко, небось, стучит… Стучит?.. Признайтесь.

— Ничего не стучит, нечего глупости болтать.

В ее голосе мне послышалось что-то болезненное.

Надо было спешить, чтобы не дать овладеть ее мыслями безнадежному и беспочвенному страху перед последствиями нашего экстравагантного приключения, перед всеми бесконечными предрассудками лицемерно-дикого общества.

— Милая, — возможно спокойнее и мягче сказал я. — Милая. Не надо этого… Ну, чего вы боитесь? Уж не мамы ли?!

— Нет у меня никакой мамы, — буркнула она. — Отстаньте…

Она довольно грубо вырвала руку и уткнулась в угол пролетки.

Увы! Худшие из моих ожиданий начинали оправдываться… Она собиралась плакать. Сделав над собой невероятное усилие, я придал своему голосу оттенок добродушного, чуть-чуть комического недоумения и воскликнул:

— Это еще что?! Живой мамы нет, так мертвую вспоминать надо? Только ей, бедной, и дела, что на том свете о нас убиваться: «Вот, мол, моя

доченька до чего дошла — к первому встречному потащилась, косточки мои старые, волосы седые порочить...» Так, что ли?..

Вместо ответа она рванулась вперед и изо всех сил ткнула извозчика в спину.

— Стой! — крикнула она не своим, хриплым голосом. — Стой!

И выскочила на мостовую раньше, чем извозчик остановился.

Разумеется, я хотел последовать за ней, но она так замахала зонтиком, что я невольно остановился и, не вылезая, спросил:

— В чем дело, дорогая?

— Только подойди! — ответила она, продолжая нелепо махать зонтом. — Только подойди... проклятый!..

И, подобрав юбки, бросилась к проезжавшему мимо порожнему извозчику.

Через минуту ее не было видно.

Странное, нелепое создание...

Теперь я даже думаю, что она была не совсем прилич-. на, но тем более непонятно — какой я мог сделать промах? Игра была безукоризненна.

Положительно, в обращении с женщинами есть какой-то, все еще непонятный для меня, секрет.

Положительно.

Юмористическая библиотека «Сатирикона».
1912, выпуск 53



Лидия ЛЕСНАЯ

Жрица искусства

Неизвестно, чем она была до сих пор.
Но теперь она — героиня,
Потому что ее муж — антрепренер.
Жалуясь второму простаку
На тоску.
Она томно падает поперек дивана
И стонет: «Голубчик, достаньте мне
Где-нибудь
Гюго де Монпасана».

«Новый Сатирикон». 1916, № 27

В антракте

Он был в первый раз у меня в уборной,
Принес туберозы и пьяные вишни.
Суфлер сказал зло:
«Я здесь, кажется, лишний», —
И пошел сплетничать — небритый,

черный.

Мы знали без суфлера хорошо наши роли:

Он был так нежен. Я так покорна.

А пьяные вишни — сладки, сладки до боли,

И пахло туберозами в моей уборной.

«Новый Сатирикон» 1916, № 46

Чайная роза

Он дрожал.

Он был как в бреду, как в угаре.

Он крикнул: «Молчи — я ударю!»

Женщина ничего не сказала.

Не шевельнулась даже,

Улыбкой ответила на угрозу.

А приколотая к корсажу

Чайная роза —

Увяла.

«Новый Сатирикон», 1916, № 47

Дешевка

Мне легко за соболью шубку
Тебе заплатить любовью.
У тебя такие нежные губки
И такие капризные брови.
А если бы ты был рожа,
Похож на козла или жабу.
Моя любовь была бы —
Вдвое дороже!

«Новый Сатирикон», 1916, № 48

Имитация

Я — взрослая, и мне все-все можно:
Съесть сразу десяток пирожных.
Сколько угодно гулять.
Так скучно самой себе позволять.
Я пилюли мои золочу —
И делаю то, чего не хочу.

«Новый Сатирикон», 1916, № 49

Актриска

Малютка, ваши руки вымыты духами,
И тонки кружева нарядного белья,
Но кто такая вы, вы сами,
И что такое ваше — я?
Вас нет.
Есть туалет,
Есть ручки смуглые,
Согретые мехами.
Есть золото волос и скользкий блеск чулок…
Но почему о вас, пушистый мой зверек.
Так хочется мне говорить стихами?

«Новый Сатирикон», 1916, № 50

Саломея

Я живу теперь как в колыбели.
Ничего у Бога не прошу, —
Только б ангелы всегда так тихо пели.

Когда я безгрешно согрешу.
Только бы всегда такие светы
Озаряли утренний мой сон
И в скрижалях твоего Завета
Был мой Символ Веры укреплен.
Только б ты, сверкающий и грозный.
Как в вечерней буре Златоуст,
Не сказал, что слишком, слишком поздно
Пить вино мне из нездешних уст.

«Новый Сатирикон», 1918. № 7

Контрреволюция

Царственно и нежно роняет фразы.
Лучатся глаза фиолетовой эмали.
Разве можно ослушаться Вашего приказа
И не пойти на смерть, если Вы послали?
Мне хочется сказать Вам:
«Ваше Высочество!» —
И видеть, как толпа склоняет колени.

Разве можно называть Вас по имени-отчеству,

Вас, князь моих снов и моих томлений!

«Новый Сатирикон», 1918, № 10

Ручной хищник

Глаза как у тигра, который дремлет.

Гибкое тело в истоме змеится.

Вы — охотник в каких-то лучезарных землях

И ранили на солнце изумрудную птицу,

руки с пальцами Рафаэлевой Форнарины —

Как стальные держат за гриву льва.

Кто вы? Ангельские или звериные

У вас на губах дрожат слова?

«Новый Сатирикон», 1918. № 16



Владимир ЛИХАЧЕВ

Поэзия и проза

Гремит, гремит затвор,
Другой и третий:
Скорее на простор
Из тесной клети!
С дороги, стража тьмы!
Ты солнце застишь…
Свободным из тюрьмы
Ворота настежь!

Но жизнь уж нам сулит
Иные клети,
И уж затвор гремит.
Другой и третий…
Мечта, из сердца прочь!
Ты правду застишь:
В тюрьму и день и ночь
Ворота настежь.

«Сатирикон», 1908, № 28

Частные

Кто этот воин? Слезть боится
Извозчик с козел перед ним.
И дворник праздно суетится,
Услуги жаждою томим.

Кто он, и зорок и неистов?
— О, это просто частный пристав.

Какой-то замок пересек
Нам путь: и башня посредине,
И на верхушке человек
В непроницаемой овчине.

И в шлемах рыцари кругом…
— О, это просто частный дом!

Не пишут люди, а вещают,
Не убеждают, а грозят,
И на события бросают
Проникновенно-строгий взгляд:

Не высших сфер ли орган это?

— Нет, просто частная газета!

«Сатирикон», 1909, № 3

Где мало — где много

Ну и порядки! Никого
Не дозовешься,
И что заказано — того
Едва дождешься.
Поесть охота и была,
Да вся пропала,
И злой встаешь из-за стола…
Лакеев мало!

То водомет угодных слов
И раболепство,
То, как в зверинце, дикий рев
И непотребство.
И где ж заботы о стране?
Где ей подмога?
Всё по заветной старине…

Лакеев много!

«Сатирикон», 1909, № 19

Обывательские рифмы

За утратою пергамента
(Пронеслась такая весть)
Для любого темперамента
На Руси — ни стать, ни сесть.

Невозможно без регламента
Жить на свете, пить и есть!
Истукану без постамента —
Так и то стоять не в честь!

Слава Богу, нет парламента?
Или, слава Богу, есть?
Дума вроде лишь орнамента?
Иль ее за правду счесть?

Хоть добраться до регламента
Нам какого бы ни весть.
Чтобы — так ли, сяк ли — атеп[12]*-то*

---

[12] Примечания: 12
Аминь *(лат.).*

С чистым сердцем произнесть!

«Сатирикон», 1910, № 14

Тишь да гладь

Тишь да гладь — Божья благодать.

Народная поговорка

В чистом поле — что за диво! —
Ни травинки, ни цветка;
В бороздах чернеет нива:
Ни ростка.
Спит иль вымерла деревня?
*Не пож**и**вится в ней тать:*
Ни коровушки, ни певня
Не слыхать.

Прикорнули даже избы.
Дремлет дед один в тени;
Дети хоть отозвались бы!
Где они?
Где? Да там вон, на пригорке,
Под крестами… Тишь да гладь…
Уж как есть по поговорке:

Благодать!

«Сатирикон», 1913, № 10

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

*** * ***

«Морожено!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть.
Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций.
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь…

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой.
Сверкая на солнце, божественный лед.

«Новый Сатирикон», 1915, № 26

Египтянин

Я выстроил себе благополучный дом,
Он весь из дерева, и ни куска гранита,
И царская его осматривала свита,
В нем виноградники, цветы и водоем.

Чтоб воздух проникал в удобное жилье,
Я вынул три стены в преддверье легкой клети,
И безошибочно я выбрал пальмы эти
Краеугольные, прямые, как копье.

Кто может описать чиновника доход!
Бессмертны высокопоставленные лица!
(Где управляющий? Готова ли гробница?)
В хозяйстве письменный я слушаю отчет.

Тяжелым жерновом мучнистое зерно
Приказано смолоть служанке низкорослой, —

Священникам налог исправно будет послан,

Составлен протокол на хлеб и полотно.

В столовой на полу пес растянувшись лег,

И кресло прочное стоит на львиных лапах.

Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —

Загробных радостей вещественный залог.

«Новый Сатирикон», 1916, № 27

Аббат

О спутник вечного романа,

Аббат Флобера и Золя —

От зноя рыжая сутана

И шляпы круглые поля;

Он все еще проходит мимо,

В тумане полдня, вдоль межи.

Влача остаток власти Рима

Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине.
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул:
«Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

«Новый Сатирикон», 1916, № 42

Самуил МАРШАК

Жалоба

О, как терплю я от жесткой моды
На переводы!..

Жена
Переводит «Нана»,

Вера —
Бодлера,

Лена —
Верлена,

Маленькая Зинка —
Метерлинка,

А старая мамаша —
Шолома Аша.

«Сатирикон». 1908, № 15

Предостереженье

Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Пушкин

Не пленяйся думской славой.
Избиратель молодой.
Не бросайся с крайней правой
В бой неравный — в смертный бой.

О, я знаю: пораженье
Не страшит тебя в бою.
И любовь и уваженье
Ты снискал в родном краю.

Знаю я, что нет предлога
«Разъяснить» твой думский ценз:
Ты квартального налога
Уплатил последний пенс.

В летний зной, живя на даче.
Ты квартиру удержал
И платить налог собачий

Никогда не забывал.

Много лет ты без печали
Жил по милости небес,
И тебе не поручали
Охранять казенный лес.

Превышеньем земской власти
Не грешил ты никогда,
И не ждут тебя напасти
И повестки из суда.

Но боюсь: в пылу сражений
В избирательной борьбе
Ты не скроешь убеждений —
И конец придет тебе.

1912

Освободители искусства

Формы, линии... освобождаются от науки, анатомии, перспективы и природы.
Новейший художественный «манифест»

Их девиз: натура — дура!

И культура — тоже дура.
Им природа не нужна.
Лишь свобода быть должна!

Анатомия — в отставку!
Перспектива — на покой.
Освещенье — марш под лавку.
Формы, линии — долой!

Кисти, краски... Ну их к шуту...
Позабудем карандаш.
И в счастливую минуту
Уничтожим Эрмитаж!

Древний грек не ведал чувства
И не мыслил глубоко.
Оттого его искусство
Так прекрасно и легко!..
Как ликующее стадо,
Заживем мы без забот —
И тогда у нас Эллада
В полном блеске расцветет!

1912



Владимир МАЯКОВСКИЙ

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова-поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду

подавать ананасную воду!

1915

Гимн взятке

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть — разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.

Россия сверху — прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

«Новый Сатирикон», 1915, № 35

Внимательное отношение к взяточникам

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.

Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтящий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.

Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкалы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,

станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу.
Чтоб об этом больше никогда не писать.

«Новый Сатирикон», 1915, № 35

Мое к этому отношение

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик,
—
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте.

А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-гала
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки холеные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

«Новый Сатирикон», 1915, № 38

Лунная ночь

Пейзаж

Будет луна.
Есть уже
Немножко.
А вот и полная повисла в воздухе.
Это Бог, должно быть,
дивной,
серебряной ложкой
роется в звезде-ухе.

«Новый Сатирикон», 1916, № 49

В. Я. Брюсову на память

Брюсов выпустил окончание поэмы Пушкина «Египетские ночи».
Альманах «Стремнина»

Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись

построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что
против Пушкину иметь?
Его кулак
навек закован
в спокойную в обиде медь.

«Новый Сатирикон», 1916, № 51

Интернациональная басня

Петух однажды,
дог
и вор
такой скрепили договор:
дог
соберет из догов свору,
накрасть предоставлялось вору,
а петуху
про гром побед
орать,

и будет всем обед.
Но это все раскрылось скоро.
Прогнали
с трона
в шею
вора.
Навертывается мораль:
туда же
догу
не пора ль?

Между февралем и октябрем 1917



Сергей МИХЕЕВ

Песенка

Я опла́чу неутешно
Обманувшую
Весну.
Я сегодня
Утону…

Утону в его глазах —
Мне кругов бросать не надо…
Зажигай же, мать, лампаду —
Как невеста, я в цветах…

Я отраву приняла
У весеннего Распятья,
Нету ей противоядья:
Яд — любовь его была…
Я отраву приняла…

Если ж милый ждать устанет.
Беспощадна буду я —
Ему виселицей станет

Шея белая моя!

«Новый Сатирикон», 1916, № 26



Леонид МУНШТЕЙН

Эпиграммы разных лет

Леонид Андреев

Быстро критикой любезною
Был отмечен мой талант…
Возмущался страшной «Бездною»
Сам Буренин-обскурант.
За его поход воинственный
Я сказал ему: «Мерси!»
С быстротой почти единственной
Стал я славен на Руси!
Я обласкан «Альманахами»,
Есть и дом и капитал…
Красным смехом, злыми страхами
Всех пугать я насмерть стал.
Мой читатель, задыхаючись.
Трепетал во тьме густой…
Не пугался, усмехаючись.
Только дедушка Толстой!..
Что теперь мне крики вздорные!

Что мне публика, печать!
Никакие маски черные
Мне не могут помешать!
Избалован комплиментами,
Я забыл тоску свою:
Вместе с пьяными студентами
«Гаудеамус» я пою!

Александр Блок

Ты поэт-символист, одуванчик…
Но дыхание правды — сгубя
Бледно-кукольный твой «Балаганчик» —
Отрезвило немножко тебя…
Брось былые смешные гримаски —
И найдешь ты правдивые краски,
И порвешь с декадентами блок,
О, мой нежный, задумчивый Блок!

Иван Бунин

Еще он сам
Не пишет драм,
А переводит корифеев.

Но будет час —
Его Пегас
Ворвется в гущу лицедееев…
И будет он
Писать в сезон
По пьесе — так же, как Андреев.

Максим Горький

Опустясь на дно людское.
Он взлетел за облака —
И на Капри, на покое.
Забывает босяка…
Жизнь по-новому устроив,
Он забыл российский быт…
Позабыл своих героев.
Да и сам… почти забыт!

Осип Дымов

В своих писаньях он отрывочен и краток.

Но знает все… На все глядит он свысока.

Он знает женщину от головы до пяток.

Он знает аромат корсета и перчаток…

И только… русского не знает языка.

Михаил Кузмнн

Задумчивых стихов загадочная сладость.

Мечты о юношах, стихов плохой размер

И пьес неигранных несбыточная радость —

Все в нем исполнено мистических химер…

Леонид Собинов

Имеет он успех заслуженный, огромный.

Ах, «голос у него и ласковый, и томный».

И весь прекрасный пол, восторга не тая,

Готов ему шептать: «Приди!., твоя… твоя…»



Петр ПОТЕМКИН

Ночью

Ночью серая улица…
Слепые дома…
Папироска моя не курится.
Не знаю сама,
С кем мне сегодня амуриться?

1908

Заутреня

Пахнет пряными духами,
Гнется потная свеча
И касается боками
То прически, то плеча.

Держишь свечку и боишься
Подпалить соседке рюш…
Вот поджег: «Простите!» — Злишься
На себя, что неуклюж.

Так, в живом зажатый прессе.
Хмур стоишь ты и сердит.
Только песнь «Христос воскресе»
От всего освободит!

«Новый Сатирикон», 1909, № 13

Весна

Весной украдет облака
С небес любая лужица.
Нахохлив мокрые бока.
Рой воробьев закружится.
Уж на реке сыпучий лед
Ручьями исковеркало.
Вновь по асфальту потечет
Расплавленное зеркало.
И ты себя увидишь там
Ступающей по облаку.
По дальним, синим небесам,
По солнечному облику.
Не раздави! Не наступай!
Иди по ним с опаскою —

Не то назад умчится май,
Не обласкав нас ласкою.
«Сатирикон» 1909, № 17

Обыкновенная история

В «Кафе де Пари»
За столиком
Сидело три
Дамы
Из «Ямы».
У одной шляпка была
С кроликом,
У другой было боа
Роликом.
А третья была —
Алкоголиком.
К ним подошло
Три приятеля —
Три искателя
Развлечения.
Один — пьян зело.

Другие не менее.
Тоном игривым
Сказали три дамы
Из «Ямы»:
«Угостите нас пивом».
Но прихотливым,
У столика стоя.
Ответили трое
Тоном:
«Что вам
В пиве, красотки, —
Лучше выпейте водки».
И ушли из «Кафе де Пари»
Вместе с ними все три
Дамы
Из «Ямы».
У одной шляпка была
С кроликом,
У другой было боа
Роликом,
А третья была алкоголиком.

«Сатирикон», 1910, № 6

Весенний муж

В цилиндре, сверкающем
Шелком,
Шел он по лужам, тающим
И вновь замерзающим.
Шагом мерным,
Толком
Не зная куда.
Но знал, как всегда,
Что нужно быть мужем
Верным.
Мимо катили
Автомобили,
В весеннем раже
Неслись экипажи,
Лицо задевали
Вуали,
И не раз
Ловил он взор
Увлекающих,

Обещающих,
В упор
Глядящих весенних глаз.
Точно боясь оступиться.
Перед каждой девицей
Опускал он глаза,
Боясь соблазна…
Но вновь и вновь
Разнообразно
Злая любовь
Расправляла тенета.
Пришла гроза, —
И кто-то,
Именуемый
Верой,
В кофточке серой,
Заманил его.
Подхватил его
Тихомолком
И повел в цилиндре, сверкающем
Шелком,
По лужам

Тающим,
Чтоб стал он неверным мужем.

«Сатирикон», 1910, № 12

Лебяжья канавка

Барышня в синей шляпке.
Опять ты явилась мне.
Сколько цветов в охапке?
Сколько любви по весне?
Вынесло в море Невою
Последний сыпучий лед.
Снова иду за тобою.
Следом любовь идет.
Смело на сером камне
Твои каблуки стучат.
Ну, посмотри в глаза мне,
Ну, обернись назад!
Возле Лебяжьей канавки
Глянешь со ступеней —
Будто поправишь булавки
Синей шляпки твоей.

Холодно станет от взгляда
Твоих подведенных глаз.
Разве любви не надо?
Разве январь у нас?
Но неземной богиней
Уйдешь, насмешку тая…
Барышня в шляпке синей
Опять, опять не моя!

«Сатирикон», 1910, № 14

Песня

У моей подружки Кати
Пианино на прокате,
У моей подружки Фени
Лисья шуба из Тюмени…

Плохо мне жилось весну
Без мило́ва друга!
Что ни вечер — то взгрустну.
Ночь реву белугой.

Как одной мне выйти в сад,
Ах, без кавалера!

Это очень, говорят.
Скверная манера.

То ли дело, например.
Если ходит рядом
Черноусый кавалер
С деловитым взглядом.

Удивляется народ.
Сзади нас шагая.
Шепот, ропот, гул идет:
«Кто она такая?»

Я все лето прождала
На скамейке сквера.
Только осенью нашла
Сердцу кавалера.

И теперь пускай у Кати
Пианино на прокате,
И пускай себе у Фени
Лисья шуба из Тюмени.

«Сатирикон», 1910, № 43

На вернисаже

Было много женских лиц
На обычном вернисаже:
Дам, подростков и девиц,
И седых старушек даже.
Но среди носов и глаз.
Буклей, челок и накладок
Тотчас я заметил вас
И привел себя в порядок.
Как стрела, как быстрый стриж
Над речною гладью звонкой.
Вы, куда ни поглядишь.
Проносились с компаньонкой.
Наконец я вас поймал
У портрета дамы в черном:
Взор ваш милый засверкал
Чем-то радостным и вздорным.
Не успел я рта открыть.
Как уж вы мне рассказали.
Что с утра вы во всю прыть

Здесь носились и устали.
А когда я вас спросил.
Для чего вам нужно это, —
Вас давно и след простыл.
Только смех звучал ваш где-то…
И один остался я.
Ничего не понимая.
Но пришли мои друзья
И сказали мне, зевая:
«Боже правый, как ты глуп!
У нее же кличка лани.
Вернисаж же — это клуб
Для рекламы и свиданий». —
«А картины?» — «Ну, холстов
Тут, наверно, не заметят.
Разве только в шесть часов
Электричество засветят».

«Сатирикон», 1912, № 9

Герань

В утреннем рождающемся блеске

Солнечная трепыхалась рань…
На кисейном фоне занавески
Расцветала алая герань.
Сердце жило, кто его осудит:
Заплатило злу и благу дань…
Сердцу мило то, чего не будет.
То, что было — русская герань.

1912

Париж

Два треугольника Астарты
Ее глаза,
И не верней удара в карты
Ее слеза.
Она ругается сегодня:
Поди ты прочь!
Тебя с ней познакомит сводня
Назавтра в ночь.
Она покорно бросит тело
В твою кровать.
Чтобы наутро, кончив дело.

Пораньше встать.
У ней есть друг, он бьет, однако,
Он любит — ждет.
Она затравленной собакой
К нему ползет.
Когда же друг под гильотиной
Испустит дух.
Она, ругнув его скотиной.
Полюбит двух.

1926



Иван Кузьмич ПРУТКОВ

Плевков

Мудрец один, по имени Плевков,
Служивший мелким чинодралом —
Корявый, сгорбленный, со взглядом сонных сов, —
Вещал, что в жизни ставит идеалом —
Добиться истины, что ею лишь одной
Осмыслен путь его земной.
Что на «житейское» глядит с презреньем.
Не веря «изменившим сновиденьям»,
В душе запечатлев немеркнущий завет —
Идти туда, где вечный свет
Зовет к заоблачным пареньям.
Что прочее — все суета сует…
И вот нежданно
Досталася ему на шею Анна…

Что за оказия?! Плевкова не узнать:
Дрожит, трепещет весь, в священном страхе млея,
И собственной рукой на шею
Регалию принялся нацеплять...
И вот уже по скверу
Идет, широко распахнув пальто.
Смотрите, мол, теперь уж я не то!
Смотрите все и следуйте примеру!
А «истина», а «суета сует»?
Так, видно, правила без исключенья нет!!

«Сатирикон», 1909, № 26

Постовой и месяц

Басня

Сказали мне: «Открой, какое
Различье жить меж Месяцем ночным
И Постовым,
Блюдущим нас в порядке и покое?»
И я ответствовал, раскинувши моз-

гом:

«Вопрос доныне не решен был мудрецом.

Но грешный аз сие творить дерзаю.

Итак, не токмо разницу я знаю

И в этом и в другом.

Но ведаю и сходство,

Зане пред вами мысли превосходство

От колыбели мне дано!

Когда округ темно,

То всяк из вас легко приметит.

Что Месяц светит.

Светить же Постовому не дано;

Что Месяц светит, но не греет.

Меж тем как Постовой

Всегда лишь греет, а не светит (смысл простой —

Его же и осел уразумеет!).

Но надобно и то установить.

Что ежли Постовой впадет в расстройство духа,

То может даже он нежданно засветить…

. . . . .

В ухо...»

«Новый Сатирикон», 1913, № 3

Мозги и ночь

Басня

Под кровом ночи непроглядной.
Когда не видел глаз ни зги,
Работой некий муж томил мозги.
Во мглу вперяя взоры жадно.
«Что делаешь? Понять я не могу!
Зачем в такую пору вылез?» —
К нему с вопросом обратились.
«Что делаю?! Увидеть силюсь
Невидимую згу».
Пустым занятиям пустое есть названье:
Потустороннее исканье.

«Новый Сатирикон», 1914, № 15

Роль поэта во вселенной

Смеюсь —
и мир вокруг смеется.
Пою —
и все поет кругом.
Задумаюсь —
и дождь прольется.
Заплачу —
в небе грянет гром.
Разгневаюсь —
и взвоют бури.
Вулкан исторгнет пепл и дым.
Смирюсь —
и кроткий свет лазури
блеснет сиянием живым.
Мечтам отдамся ль —
незабудки
раскроют венчики, смеясь,
И стрелочник замрет у будки,
в мечтах далече уносясь.

Начну ли речь —
все притаятся,
окончу —
все кругом вздохнут.
Молчу —
и дураки
во всей вселенной — там и тут.

«Новый Сатирикон». 1914. № 13

Мысли и афоризмы

1. Если тебе покажут сладкую соль, не верь! То же касается соленого сахара.

2. Человек, снимающий шляпу без помощи рук, достоин удивления.

3. Что есть истина? Палка о двух концах.

4. Если медь дешевле серебра, то почему же серебряный и медный пятаки равноценны?!

5. Аксиома есть некое насекомое, легко ощущаемое, но неуловимое.

6. Проспи в сутки 25 часов — и ты обнимешь необъятное.

7. Полезно есть не менее семи раз в неделю.

8. Душа, уходя в пятки, распадается на две по-

ловинки. Отсюда берет начало двойственность человека.

9. При виде мужика, бьющего своего осла, думай о превратностях судьбы.

10. Выражающий невыразимое подобен псу, который тщится поймать свой хвост.

«Сатирикон», 1909, № 26



Михаил ПУСТЫНИН

Прежде и теперь

Нам цензор встарь давал «уроки»,
И, как бы цензор ни был строг,
В статьях обычно были строки,
И мы читали между строк.

Теперь беру газет я груду.
Но в них зияют «островки»:
Как между строк читать я буду
Статью, в которой — ни строки?

«Новый Сатирикон», 1915, № 34



Алексей РАДАКОВ

Эволюция

В 25 лет

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

В 35 лет

Вперед без страха, и сомненья
Пусть не смущают вас, друзья!
Хотя порой от пресеченья
С овчинку небо вижу я.

В 45 лет

Вперед со страхом, полн сомненья,
Гляжу и думаю, друзья:
Противно грубое сеченье.
Но в легком вижу пользу я!

В 55 лет

Вперед! Ни страха, ни сомненья
Власть не должна иметь, друзья!
Искоренять без сожаленья —
Вот в чем спасенье вижу я!

1908



* * *

Ответствуй, гражданин, могла б стоять вселенна.
Когда бы человек умом не сознавал.
Что «собственность для всех всегда священна»?
Нет — шар земной тогда бы вор украл!
Ответствуй, гражданин, могла б стоять вселенна.
Когда б полиция преступный элемент
По тюрьмам не сажала каждоденно?
Нет — утонул бы мир в крови в один

момент!

И если у тебя к законности привычка

В душе крепка и ты не идиот.

Ты не подумаешь, что жалкая отмычка,

Хотя б английская, пробьет закона свод.

И если ты не слеп, и если видят очи

И утра яркий свет, и сумрак тихий ночи.

Ужели скажешь ты, что жулика фонарь

Затмит свет истины?.. Алтарь — всегда алтарь!

Скажите мне вы, нежные супруги.

Когда, довольные, идете вы в постель,

А за окном беснуется метель,

Вы думали ль о том, кто там, под флером вьюги.

Стоит один, уставя на панель

Свой кроткий взор, борясь со сном злодейским?

Вы думали ль, что вы хранимы поли-

цейским?!

А вы, любители валют, процентов, рент.

Кому стук счет милей, чем кастаньеты, —

Вы думали ль о том, что к вам в любой момент

Ворваться могут те, кто обществом отпеты.

Что вашей кассы сталь соломой станет ломкой

Пред их отмычкою, стамескою и фомкой?!

О, если думали, то заклинаю вас.

Не собирайтеся там, где не нужно, скопом!

Для каждого найдется свой указ:

Дворянам — барское, холопское — холопам.

Ее удел — все знать и превратить суметь

Преступных в честных, буйных — в чинных...

Уловлен ты в ее живую сеть,
Живи спокойной жизнью душ невинных.
Читай цензурное, люби и будь любим,
И сладок для тебя отчизны станет дым.

«Сатирикон», 1912, № 21

Алексей РЕМИЗОВ

Про мертвеца и про разбойников

Сказка

Жил-был человек тихий и работящий. Никитой звали. Изба его стояла на пустом месте, и вокруг на много верст жилья никакого. У Никиты было два сына — в зыбке и годовой — да дочь трех лет.

Раз Никита, поужинав, как спать ложиться, говорит хозяйке:

— Я завтра, Аграфена, помру, положи меня под образа и трое суток кади.

И как сказал, так и вышло: ночь проспал хорошо, ни на что не жаловался, а к утру, смотрят, чуть теплый — помер. Аграфена сейчас его под образа на лавку и кадить принялась. Двое суток кадила, а на третьи запамятовала: и то сделай, и другое, с ребятами и не то забудешь, — да и подумать надо, нынче и птица думает.

Ходит девчонка по избе и говорит:

— Маменька, отец-то жив, сел.

— Что ты, глупая, сел! Помер ведь.

А сама как заглянула в горницу, а Никита на лавке сидит, зубы бруском точит. Схватила дев-

чонку да скорей на печку, окрестилась. Сидят на печке, не пикнут.

Наточил Никита зубы, встал с лавки и прямо к зыбке, съел ребенка, поймал другого — по полу ползал, — и этого съел, схватил из зыбки пеленки и пеленки съел, стал печь грызть.

— Господи! — замолилась Аграфена угодникам. — Принеси какого крещеного человека, спаси меня!

И отворились тут двери, входит Егорий Храбрый. Взял святой Егорий свое копье, ударил по голове мертвеца.

— Провались ты сквозь пол и сквозь землю в предвечную муку, окаянный!

Мертвец присел — только зубом скрипнул — и провалился.

А Егорий пошел из избы.

Аграфена-то думала, что это простой человек, ну кликать — не откликается. И напал на нее страх, думает: «Придет Никита, съест и меня». Слезла с печки да с девчонкой бежать. До росстаней добежала, передохнула. Пошли лесом.

Шли, шли и видят: идут навстречу старичок и старушка, кланяются низко.

— Заходите, — говорят, — к нам пообедать.

Аграфена было на попятный: чего-то все страх

берет, а потом согласилась — голод-то не тетка, — согласишься, да и старичок и старушка очень уж ласковые.

Привели их в дом, а дом на столбах стоит, высокий, преогромный, посадили за стол, щей налили, белого хлеба принесли, говядину принесли. Смотрит Аграфена: человечьи руки-ноги вареные, и не стала есть, думает: «Попали мы к разбойникам». Девчонка ест себе, очень проголодалась.

А старичок и старушка ходят круг стола, потчуют. А как обед кончился, повели гостей в странную горницу: постели уж постланы.

— Отдыхайте, — говорят, — с дороги, с пути, тут вам будет тепленько…

Да горницу и заперли.

Аграфена уложила девчонку, сама спать не может, все слушает. Разметалась девчонка, спит сладко. Вечер стал. И понаехало народу — шум, гром, хлопотня, говор. Один хвастает, уж убил стольких-то, другой хвастает, что ограбил стольких-то. Все хвастают, все делов наделали.

— Мы и никуда не ходили, не ездили, а две тетерки к нам сами прилетели! — говорят старичок да старушка… Смеются, старые.

Тут разбойники повскакали: всем охота тетерок посмотреть. А старичок со старушкой шасть

в горницу, нащупали девчонку и потащили на кухню, люлюкают. Топится печка, и чугун кипит, девчонку пихнули в чугун, закричала девчонка по-худому, и недолго кричала, умертвилась. Вынесли ее на тарелке — сели ужинать. Пили, ели, похваливали. Наелись досыта и спать улеглись.

Вот как спать-то улеглись, да захрапел весь дом, поднялась Аграфена, обезумела, выломала железные рамы, спустилась на землю, не помнит, как шла.

Наутро пришла в город, заявила будочнику. Будочник сейчас Аграфену на извозчика и в самую главную часть, сам сдал ее самому главному будочнику. Аграфена и этому все рассказала.

— Не врешь ли ты? — усомнился главный будочник. — Нынче велено строго: прямо без всяких разговоров подкатим бочку пороха под разбойничий дом, зажжем порох, и разлетится дом на пять частей огнем и пылью, и пеплу не останется.

Снарядились будочники все, сколько было, из всех пяти частей, и поскакали по горячему следу на то место, где жили старичок со старухой, а Аграфену отпустили с миром на все четыре стороны. Подступили они к разбойничьему дому, выкатили бочку и уж спичку чиркнули, чтобы порох зажечь, а разбойники — как посыпят из

окон золото, так дождем все кругом и засыпали.

И вернулись будочники в город, а следов разбойничьих никаких не осталось. — чисто.

«Сатирикон», 1909, № 35



Александр РОСЛАВЛЕВ

Карлики

Карлик с карлицей поют
И танцуют на столе.
Ах, как весело живут
Люди на земле!

Карлик с карлицей смешны.
Мы — их зрители — смешней.
Жизнь — не шутка ль Сатаны
От начала дней?..

«Сатирикон», 1909, № 11

Маргаритки

Песенка

Обрывая маргаритку
Лепесток за лепестком,
Панну Зосю у калитки
Поджидал я вечерком.

Истомило ожиданье…
Снова «любит», снова «нет».
Неизменное гаданье.
Вечно-призрачный ответ.

Обманула сердце сказка.
Панна Зося не пришла,
И пленительная ласка,
Не расцветши, отцвела.

Что же Зосе помешало.
Чем развеян милый сон,
Или ей, плутовке, мало.
Что поэт в нее влюблен?

Уж не тот ли сладкоокий.
Точно пряничный — гусар?
Так я думал — и жестокий
Наносил себе удар.

От моих ревнивых пыток,
От моей любви смешной
У калитки маргариток
Не осталось ни одной.

«Сатирикон» 1909, № 31

Весенние песенки

1. Бык

Поклонился цветик полю.
Подарил пчеле душок.
Выходи-ка, бык, на волю
На зеленый бережок.
Словно пава, жарко глядя.
По той ходит стороне.
Ах, изводушка, досада,
Помешала речка мне.
Как тут быть, полезу в воду.
Лишь покличь да помани.
Не сыскать на речке броду —
Только омуты одни…
Попил бык, и стало мелко.
Малость выше локотка…
Ты играй, моя сопелка.
Весели за то быка.

2. Бубенец

Бубенец, мой бубенец.

Ты звени звончее.
Чтоб со мною молодец
Был бы побойчее.
Бубенец, мой бубенец.
Раззвони ты свету —
Так пригож мой молодец.
Что пригожей нету.
Бубенец, мой бубенец,
Знаем мы с тобою,
Что в скворешницу скворец
Прилетит весною.

«Новый Сатирикон», 1918, № 10

Сороки

Огнеокие
Прилетели сороки.
Сорок сорок.
Принесли златобокие
Райский цветок.

Синий цветок от синего древа.
Раскройся же, древнее жаркое чрево

Матери нашей земли.
Прими благодарный цветок.
Что сороки тебе принесли.
Сорок сорок.

Закипит облаками
И взыграет ручьями
Озарь-весна.
От цветка будет сила.
Мера солнцева пыла
Для чуда-зерна.
Огнеокие
Прилетели сороки.
Сорок сорок.
Принесли златобокие
Райский цветок.

«Новый Сатирикон», 1918, № 16

ТЭФФИ

Песенка о хитрой канониссе и скромном аббате

У хитрой канониссы
Лисы-Алисы
Случился пустяк —
Потерялся башмак.
Бранится канонисса
Лиса-Алиса
И так, и сяк,
И уж не знаю — как!
Послали за аббатом,
За братом Калистратом.
Пришел помочь —
Проискал всю ночь.
Всю рясу перемазал,
Так ползал он и лазал —
И так, и сяк,
И уж не знаю — как!
Уж брезжил свет в окошко,

Как у Лисы на ножке —
Он не дурак —
Вдруг нашел башмак…
И что всех удивило —
Она ж его бранила
И так, и сяк,
И уж не знаю — как!

«Сатирикон», 1909, № 17

* * *

Мой черный карлик целовал мне ножки.
Он был всегда так ловок и так мил!..
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки
Он убирал и в сундучке хранил.
Но в черный день печали и тревоги
Мой карлик вдруг поднялся и подрос…
Вотще ему я целовала ноги —
И сам ушел, и сундучок унес!

«Сатирикон», 1909, № 18

* * *

У маменьки своей спросило раз дитя.
От робости смущаясь и краснея:
«Скажите мне всю правду, не шутя,
Отцом иль матерью — кем быть труднее?»

Молчала мать, не зная, что сказать.
Но гувернантка молвила беспечно:
«Давно тебе самой пора бы знать,
Что матерью труднее быть, конечно.

Когда бы ты историю прочла.
Тебе б ясна была тому причина:
Ведь папой в Риме женщина была,
А мамой — ни один мужчина!»

«Сатирикон», 1910, № 5

* * *

Мне сегодня как будто одиннадцать лет —

Так мне просто, так пусто, так весело!

На руке у меня из стекляшек браслет,

Я к нему два колечка привесила.

Вы звените, звените, колечки мои,

Тешьте сердце веселой забавою.

Я колечком одним обручилась любви,

А другим повенчалась со славою.

Засмеюсь, разобью свой стеклянный браслет,

Станут кольца мои расколдованы,

И раскатятся прочь, и пусть сгинет их след

Оттого, что душе моей имени нет

И что губы мои не целованы!

1915

*** * ***

Я сердцем кроткая была,

Я людям зла не принесла,

Я только улыбалась им

И тихим снам своим…

И не взяла чужого я.
И травка бледная моя.
Что я срывала у ручья, —
И та была — ничья…

Когда твой голос раздался,
Я только задрожала вся,
Я только двери отперла…
За что я умерла?

1923

Человекообразные

Предисловие

Вот как началось.

«Сказал Бог: сотворю человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие 1, 26).

И стало так. Стал жить и множиться человек, передавая от отца к сыну, от предков к потомкам живую горящую душу — дыханье Божие.

Вечно было в нем искание Бога и в признании и в отрицании, и не меркнул в нем дух Божий вовеки.

Путь человека был путь творчества. Для него он

рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству духа Божия он продолжал созидание мира.

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их» (Бытие 1,24).

И стало так.

Затрепетало влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем желание жизни движущимися мерцающими точками — коловратками. Коловратки наполняли моря и реки, всю воду земную, и стали искать, как им овладеть жизнью и укрепиться в ней.

Они обратились в аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых с дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти. Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно ощупывали землю перепончатыми лапами, и припадали к ней чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь и овладевали ею.

Одни отрастили себе крылья и поднялись на воздух, другие поползли по земле, третьи закостенили свои позвонки и укрепились на лапах. И все стали приспособляться, и бороться, и жить.

И вот, после многовековой работы, первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и

стал жить с ними. Он учуял. что без человека ему больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось.

* * *

Люди смешались с человекообразными. Заключали с ними браки, имели общих детей. Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать маленьких людей и маленьких человекообразных. И они считаются братьями.

Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных. Последние многочисленнее, потому что человекообразное сохранило свою быстроразмножаемость еще со времени кольчатого девятиглазного периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и интенсивности своего жизнежелания.

* * *

Человекообразные разделяются на две категории: человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка.

Первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей.

Но творчества у человекообразных быть не может, потому что у них нет великого Начала. В этом их главная мука. Они охватывают жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают ее, но творить не могут.

Они любят все творческое, и имя каждого гения окружено венком из имен человекообразных.

Из них выходят чудные библиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биографы, искусные версификаторы.

Они любят чужое творчество и сладострастно трутся около него.

Переписать стихи поэта, написать некролог о знакомом философе или, что еще отраднее, — личные воспоминания о талантливом человеке, в которых можно писать «мы», сочетать в одном свое имя с именем гения. Сладостная радость жужелицы, которая думает об ангеле: «Мы летаем!..»

В последнее время стали появляться странные, жуткие книги. Их читают, хвалят, но удивляются.

В них все. И внешняя оригинальность мысли, и мастерская форма изложения. Стихи со всеми признаками принадлежности их к модной школе. Но чего-то в них не хватает. В чем дело?

Это — приспособившиеся к новому движению человекообразные стали упражняться.

* * *

Человекообразные низшего порядка менее восприимчивы. Они все еще ощупывают землю и множатся, своим количеством овладевая жизнью.

Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые куски, деньги.

Деньги они копят не сознательно, как человек, желающий власти, а упрямо и тупо, по инстинкту завладевания предметами. Они очень много едят и очень серьезно относятся ко всяким жизненным процессам. Если вы вечером где-нибудь в обществе скажете: «Я сегодня еще не обедал», — вы увидите, как все человекообразные повернут к вам головы.

* * *

Человекообразное любит труд. Труд — это его

инстинкт. Только трудом может оно добиться существования человеческого, и оно трудится само и заставляет других трудиться в помощь себе.

Одна мгновенная творческая мысль гения перекидывает человечество на несколько веков вперед по той гигантской дороге, по которой должно пробраться человекообразное при помощи перепончатых лап, тяжелых крыл, кольчатых извивов и труда бесконечного. Но оно идет всегда по той же дороге, вслед за человеком, и все, что брошено гением во внешнюю земную жизнь, — делается достоянием человекообразного.

* * *

Человекообразное движется медленно, усваивает с трудом и раз приобретенное отдает и меняет неохотно.

Человек ищет, заблуждается, решается, создает закон — синтез своего искания и опыта.

Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и когда человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое. — человекообразное только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда последнее во всех поворотах пути истории.

Там, где человек принимает и выбирает, — че-

ловекообразное трудится и приспособляется.

* * *

Человекообразное не понимает смеха. Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой.

В оправдание себе оно оклеветало смех, назвало его пошлостью и указывает на то, что смеются даже двухмесячные младенцы. Человекообразное не понимает, что есть гримаса смеха, мускульное бессознательное сокращение, встречающееся даже у собак, и есть истинный, сознательный и не всем доступный духовный смех, порождаемый неуловимо-сложными и глубокими процессами.

Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно-некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение, — душой их овладевает бурная экстазная радость. торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха.

У человекообразного, земнорожденного, нет духа и нет торжества его — и человекообразное ненавидит смех.

Вспомните — в смеющейся толпе всегда мелькают недоуменно-тревожные лица. Кто-то

спешит заглушить смех, переменить разговор. Вспомните — сверкают злые глаза и сжимаются побледневшие губы…

Некоторые породы человекообразных, отличающиеся особой приспособленностью, уловили и усвоили внешний симптом и проявление смеха. И они смеются.

Скажите такому человекообразному: «Слушайте! Вот смешной анекдот». — и оно сейчас же сократит мускулы лица и издаст смеховые звуки.

Такие человекообразные смеются очень часто, чаще самых веселых людей, но всегда странно — или не узнав еще причины, или без причины, или позже общего смеха.

В театре на представлении веселого водевиля или фарса — прислушайтесь: после каждой шутки вы услышите два взрыва смеха. Сначала засмеются люди, за ними человекообразные.

* * *

Человекообразное не знает любви.

Ему знакомо только простое, не индивидуализирующее половое чувство. Чувство это грубое и острое обычно у человекообразных, как инстинкт завладевания землею и жизнью. Во имя его че-

ловекообразное жертвует многим, страдает и называет это своею любовью. Любовь эта исчезает у него, как только исполнит свое назначение, то есть даст ему возможность размножиться. Человекообразное любит вступать в брак и блюсти семейные законы.

Детей они ласкают мало. Больше «воспитывают». О жене говорят: «она должна любить мужа». Нарушение супружеской верности осуждают строже, чем люди, как и вообще нарушение всякого закона. Боятся, что, испортив старое, придется снова приспособляться.

Человекообразные страстно любят учить. Из них многие выходят в учителя, в профессора. Уча — они торжествуют. Говоря чужие слова ученикам, они представляют себе, что это их слова, ими созданные.

* * *

За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве. Появились кружки. Почти вокруг каждого сколько-нибудь выдающегося человека сейчас же образуется кружок, школа. Это все стараются человекообразные.

Они притворяются теперь великолепно, усвои-

ли себе ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико сочетают старые, плачут перед Сикстинской мадонной и даже притворяются развратниками.

Они стали выдумывать оригинальности. Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землею. Уже много раз приходилось человеку преклоняться перед их волей, и теперь уже можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, а будут стоять на месте и его остановят. А может быть, кончат с ним и пойдут назад отдыхать.

Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах…

1911

Седая быль

Часто приходится слышать осуждения по адресу того или другого начальствующего лица. Зачем, мол, выносят неправильные резолюции, из-за которых неповинно страдают мелкие служащие и подчиненные.

Ах, как все эти суждения легкомысленны и скороспелы!

Вы думаете, господа, что так легко быть лицом начальствующим? Подумайте сами: вот мы с вами можем обо всем рассуждать и так и этак, через пятое на десятое, через пень-колоду, ни то ни се, жевать сколько вздумается в завуалированных полутонах.

Суждение же лица начальствующего должно быть, прежде всего, категорическим.

— Бр-р-раво, ребята!

На что ответ:

— Рады стараться!..

— Ты это как мне смел!

— Виноват, ваше-ство…

И больше ничего. Никаких полутонов и томных медитаций. Все ясно, все определенно. Козлища налево — овцы направо.

А легко ли это?

Ведь тут, если сделаешь ошибку, так прямо через весь меридиан, от полюса до полюса. Дух захватывает!

Слышала я на днях историю, приключившуюся давно, лет двадцать пять тому назад, с одним начальником губернии, человеком, стоящим на своем посту во всеоружии категорического суждения.

Это факт, это седая быль. Если не седая от време-

ни (ей ведь всего двадцать пять лет), то от скорби и тихого ужаса.

Дело происходило зимой в большом губернском городе. в зале благороднейшего городского собрания.

Сидели за столом почтенные люди и играли в карты. Были среди них, между прочим, железнодорожный начальник и начальник тюрьмы.

Разговор коснулся снежных заносов.

— А у нас-то какая беда! — сказал вдруг железнодорожник. — Занесло поезд. Стоит в степи второй день, и ничего поделать не можем. Рабочих рук нет.

Услышав это, начальник тюрьмы подумал минутку и затем произнес роковую в своей жизни фразу:

— Пожертвуйте рублей сто, я пошлю сегодня же ночью своих арестантов, они вам живо путь расчистят.

Железнодорожник обрадовался, согласился и поблагодарил за предложение:

— Вот выручите-то нас! Подумайте только: ведь поезд-то пассажирский! Люди голодают там, в снегу!

— Будьте спокойны. Все устрою.

Начальник тюрьмы в ту же ночь отправил на

путь своих арестантов с лопатами, и те благополучно откопали поезд, который с триумфом и с голодными, иззябшими пассажирами прикатил в город.

Доложили о происшедшем губернатору.

Тот остался очень доволен поведением начальника тюрьмы.

— Молодец! А? Какова находчивость! А? Какова сообразительность! А? Нужно непременно исхлопотать для него что-нибудь такое-эдакое! Молодчина Журавлихин. Мол-лодчина!

Так ликовал начальник губернии, а в это же самое время вице-губернатор слушал с ужасом доклад одного из своих подчиненных. Докладывалось о том, как начальник тюрьмы вывез ночью из города всех арестантов, на что по закону ни малейшего права не имел, что явно нарушает закон и должно немедленно повлечь надлежащее наказание.

Вице-губернатор поскакал к губернатору.

Тот встретил его словами:

— Мол-лодчина у меня Журавлихин! Надо ему что-нибудь такое-эдакое! Непременно надо! Мол-лодчина!

Вице-губернатор опешил:

— Да знаете ли вы, ваше превосходительство,

что он вчера ночью сделал? Он противозаконно вывез всех арестантов из города! Ведь это же нарушение закона!

— О? — удивился губернатор. — Нарушение закона? Да как же он мне смел! Да я его за это и так и эдак! Позвать сюда Журавлихина!

И Журавлихин получил такой разнос, что потом два дня ставил припарки к печени.

Через несколько дней встречается губернатор с железнодорожником. В разговоре жалуется на нервное расстройство.

— Покою нет! Тут еще Журавлихин, кажется, по вашей же милости набезобразничал. Вывез ночью арестантов из города! Изволите ли видеть, фокусник какой нашелся!

Железнодорожник удивился:

— Да что вы! Какое же здесь противозаконие! Ведь он же их вез в арестантском вагоне и под конвоем. А арестантский вагон — это та же тюрьма.

— О? — обрадовался губернатор. — Та же тюрьма? Мол-лодчина у меня Журавлихин, вот-то молодчина! Нужно ему непременно что-нибудь такое-эдакое! Конечно, арестантский вагон — та же тюрьма. Окна с решетками! Мол-лодчина! Позвать сюда Журавлихина!

Не прошло и недели, как вице-губернатор, обес-

покоенный медлительностью своего начальника в столь вопиющем деле, как нарушение закона Журавлихиным, напомнил губернатору об этой печальной истории.

Но тот встретил его насмешливым хохотом:

— Никакого тут закона не нарушено. Арестантский вагон — та же тюрьма, а Журавлихин молодчина! Позвать его сюда!

Но вице-губернатор не уступал:

— По закону арестант не может отходить от своей тюрьмы дальше, чем на строго определенное количество саженей. А они там по всему пути разбрелись! При чем же здесь вагон! Ведь они не в вагоне сидели, когда поезд откапывали.

Губернатор приуныл:

— Подлец Журавлихин. И как он это смел! Позвать его сюда!

Недели через две приезжает к губернатору влиятельный генерал.

Рассказывает, как его занесло в поезде снегом, и если бы не распорядительность начальника тюрьмы, то. наверное, все пассажиры погибли бы. Рассыпался в похвалах Журавлихину, просил его отличить и отметить.

Генерал был очень важный, и губернатор отмяк снова.

— Да, действительно, Журавлихин молодец! Я и сам думал, что ему нужно что-нибудь такое-эдакое. Позвать сюда Журавлихина!

Так время шло, судьба пряла свою нить, поворачиваясь к Журавлихину то лбом, то затылком. И Журавлихин не жаловался. Так ребенок, которого по системе Кнсйпа перекладывают из холодной воды в горячую и потом опять в холодную, или умирает, или настолько великолепно закаляется, что уж его ничем не доймешь. Журавлихин закалился.

Но сам губернатор, переходя постоянно от восторга к раздражению, совсем измочалил свою душу и стал быстро хиреть.

Даже предаваясь мирным домашним развлечениям, он не мог оторвать мысли от журавлихинского дела и, в зависимости от положения этого дела, все время приговаривал:

— Нет, как он мне смел! Позвать его сюда!

Или:

— Нужно ему что-нибудь такое-эдакое. Молодчина Жу-равлихин!

Играя в карты, он вдруг с удивлением впирался взором в какого-нибудь валета и недоуменно шептал:

— Нет, как он мне смел!

Или лихо козырял, припевая:

— Молодчина!

Затем последовала катастрофа. Он увидел у знакомых в клетке попугая. Птица качалась вниз головой и повторяла попеременно то:

— Попка, дур-рак!

То:

— Дайте попочке сахару.

Какая-то смутная, подсознательная мысль колыхнула душу губернатора туманной ассоциацией. Он сел и вдруг заплакал.

— Как смеют так мучить птицу! Ведь и птица тоже человек! Тоже млекопитающийся!

И вышел в отставку, с мундиром и всеми к нему принадлежностями.

Таков седой факт, иллюстрирующий всю трудность и все ужасы обязательного по долгу службы категорического суждения,

1911



Яркая жизнь

В пять дней был создан мир.

«И увидел Бог, что хорошо», — сказано в Библии, Увидел, что хорошо, и создал человека.

Зачем? — спрашивается.

Тем не менее создал.

Вот тут и пошло. Бог видит, «что хорошо», а человек сразу увидел, что неладно. И то нехорошо, и это неправильно, и почему заветы, и для чего запреты.

А там — всем известная печальная история с яблоком. Съел человек яблоко, а вину свалил на змея. Он, мол, подстрекал. Прием, проживший многие века и доживший до нашего времени: если человек набедокурил, всегда во всем виноваты приятели.

Но не судьба человека интересует нас сейчас, а именно вопрос — зачем он был создан? Не потому ли, что и мироздание, как всякое художественное произведение, нуждалось в критике?

Конечно, не все в этом мироздании совершенно. Ерунды много. Зачем, например, у какой-нибудь луговой травинки двенадцать разновидностей и все ни к чему. И придет корова, и заберет широ-

ким языком, и слопает все двенадцать.

И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять?

— Ну-ну! — скажут. — Вы рассуждаете легкомысленно. Этот червеобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то…

Не помню, о чем он свидетельствует, но, наверное, о какой-нибудь совсем нелестной штуке: о принадлежности к определенному роду обезьян или каких-нибудь южноазиатских водяных каракатиц. Пусть уж лучше не свидетельствует. Червеобразный! Эдакая гадость! А ведь сотворен.

Кроме дара критики, дан еще человеку дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что-нибудь фактически, конечно, фантазия не может. И все «фактическое» большею частью так скучно и несовершенно, что принимать его в голом виде часто бывает неприятно, как нечто художественно неудачное.

И вот есть на свете натуры, которые этих нудных бытовых фактов принять не могут, не могут принять и считаться с ними не желают. Факт, по их мнению, может так же ошибиться, как и человек.

И вот они, эти люди, эстетически быта не воспринимающие, поправляют его своей фантазией

(тоже для чего-то им дарованной, не хуже червеобразного отростка), и дальше живет в них этот быт, живет и распространяется уже в исправленном виде.

В просторечье называется это — враньем.

* * *

Все вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести краткой, охватывающей всего только один день ее богатой событиями жизни.

Итак — живет на свете Валентина Петровна. Живет, как все мы, и шатко и валко. Это внешне. Но на самом деле жизнь ее богата содержанием, пестра и разнообразна.

Внешняя сторона ее жизни такова: ей пятьдесят пять лет (это ведь тоже относится к внешней стороне), одета она скверно, с чужого плеча, волосы у нее какие-то пестрые, лицо мятое, но выражение глаз вдохновенное.

Живет она в комнате у вдовы Парфеновой, вяжущей свитеры на продажу. За комнату платит не очень аккуратно, но это с ее точки зрения — пустяки. (Парфенова с этим взглядом не согласна, но пока что решила терпеть.) Занятие Валентины Петровны — продавать свитеры Парфеновой,

шить кошельки, рисовать пошетки — словом, что подвернется. Иногда, когда работы много, она просиживает по три, четыре дня, не выходя из дому, но — пожаловаться не может — впечатлений все-таки получает массу.

— Без вас приходил почтальон, — говорит она Парфеновой. — Я не знаю, любил ли этот человек когда-нибудь, но я прочла на его энергичном лице столько самоотвержения и готовности бороться за личное счастье, какие редко приходилось мне встречать. Я долго думала о нем, и, вероятно, воспоминание о нем глубоко врежется в мою душу на всю жизнь.

Или:

— Без вас угольщик принес уголь. Знаете, меня поразили необычайно ритмические движения всего его корпуса. В нем чувствуется незаурядно талантливая натура, и пойди он по другому пути — как знать, может быть, из него вышел бы второй Ван-Дик?

Если же Валентина Петровна выходит на улицу, то достаточно ей дойти до угловой булочной, чтоб жизнь ее наполнилась впечатлениями на два дня.

Она непременно встретит какую-нибудь девушку с итальянскими глазами, рваную, но,

конечно, из высшего общества, встретит девчонку, дочку зеленщицы, которая, наверное, была в детстве украдена у высокопоставленных родителей, о чем свидетельствует ее необычайного благородства нос.

Она встретит в молочной совершенно незнакомого господина, который посмотрит на нее так, как будто хочет сказать: «От меня не скрыта ваша душа. Вы нежны и одиноки, и я понимаю красоту вашей печали».

— И откуда все это у вас берется? — удивляется вдова Парфенова.

Если же Валентине Петровне доводится провести вечер в гостях, то рассказов хватает на месяц. Одна поездка чего стоила.

— Вчера в трамвае ехал какой-то военный, поскольку я могу судить по благородству его выправки. Он так странно смотрел на меня, и т. д.

— Удивительно! — говорит Парфенова. — Как это вы ухитряетесь всегда кого-нибудь подцепить! Я вот каждый день в трамвае езжу и. кроме блох, ничего подцепить не могу.

В тот день, в который начинается наша повесть, Валентина Петровна отнесла светр к Поповым. Там ее пригласили выпить чашку чая. У Поповых были гости. Рассказывали о каком-то Быкове,

который изменяет жене.

— Ну, она скоро утешится, — вставил кто-то. — Ей, кажется, нравится какой-то французский художник.

— Не думаю, — заметил другой. — Она такая размазня.

После этого Валентина Петровна распрощалась и поехала в трамвае к Шуриным.

Народу в вагон набилось много. Ей пришлось стоять. И вот какой-то господин поднялся и уступил ей место.

Господин был довольно молодой, одет простовато, в толстом вязаном кашне, в руках держал два завернутых в бумагу магазинных пакета.

Валентина Петровна, взволнованная и смущенная, разглядывала его.

«Прост, но элегантен, — думала она. — Рыцарь. Это именно тот тип, который нравится женщинам. Если бы эта несчастная Быкова, о которой сегодня рассказывали, встретила такого человека на своем пути, он бы утешил ее. Он рыцарь. А может быть — и ничего нет удивительного в этом предположении, — может быть, это и есть тот француз, который ей нравится. Это было бы ужасно. Я не хочу становиться ей поперек дороги. Я сумею себя устранить. Я сейчас же подойду к

нему и скажу: «Я знаю, вы художник, вас любит несчастная Быкова, я себя устраняю». Скажу и спрыгну с площадки, и тихий сумрак огромного города поглотит мои шаги».

— Рю Лурмель! — крикнул кондуктор.

Валентина Петровна выскочила — это была ее остановка, на Лурмель жили Шурины.

О, ужас, о, счастье, и «он» тоже вылез. Он шел за ней, за ней!

С громко бьющимся сердцем она замедлила шаги, обернулась. Нет. Он повернулся к бульвару. Но они еще встретятся. Это предопределено.

У Шуриных удивлялись ее бледности. И она не могла молчать.

— Очень странная история. Самый фантастический роман, который когда-либо приходилось читать, — рассказывала она. — Вы меня знаете. Я не кокетка и не красавица. Я держу себя просто и одеваюсь скромно. И не знаю и не понимаю, чем объяснить то странное внимание, которым я окружена в жизни. Почему любите меня вы, почему обожает Парфенова — это еще я могу понять. Но почему так тянет ко мне совершенно незнакомых мне людей — это порою прямо меня пугает. Уверяю вас — не льстит, а скорее пугает. Мне лично никого и ничего не надо. Пара голу-

бей на подоконнике, полуувядшая роза в бокале, книжка любимого поэта на коленях, легкий ветерок, шевелящий мои кудри, — вот все, что мне нужно. Зачем мне этот вихрь страстей? Зачем эти ненужные мне призывы? Я их не хочу и не хотела. И вот теперь — драма. Вы мои друзья, я скажу вам всю правду. Негодяй Быков бросил свою жену. Страдалица влюбилась в французахудожника. Казалось бы, сама судьба улыбнулась ей. Художник — рыцарь, благородный облик в шерстяном кашне. Он может дать ей счастье. И вот — фатальная встреча. Все равно, как и где. Клянусь вам — я не виновата Я не завлекала его. И я его не люблю. Я не хочу связывать мою жизнь, и без того такую бурную, с его призрачным существованием. Что мне делать? Я решила уехать, пока не поздно. Деньги — пустяки. Две-три тысячи всегда достать можно. Люди, которым я дорога, всегда придут мне на помощь. Я знаю, вам будет тяжело лишиться меня. Парфеновой тоже. И многим еще. Я как-нибудь проживу, но вы все — что будет с вами?

В эту минуту раздался звонок.

Валентина Петровна, сидевшая у двери в переднюю, вскочила, чтобы пропустить хозяина, и вместе с ним вышла в переднюю. Шурин открыл

дверь.

— Ах!

Господин из трамвая, он, в толстом шерстяном кашне… Валентина Петровна покачнулась и схватилась за грудь двумя руками.

— Livraison! — сказал господин из трамвая, протягивая пакет.

— Лиза! Прислали лампу, — закричал Шурин. — Дай посыльному франк на чай.

Валентина Петровна прислонилась к притолоке, чтобы не упасть.

Она видела, как Лиза Шурина дала господину в кашне франк на чай и тот сказал «Мерси, мадам» и захлопнул за собою дверь.

Ей не хотелось сейчас же рассказывать все Шуриным. Ей хотелось все как следует обдумать, понять, как безумный художник все это придумал и проделал?

А вечером или завтра утром она расскажет всю эту небывалую историю вдове Парфеновой, взяв, конечно, с нее слово, что она никому не проговорится.

— Как интересна, сложна и богата моя жизнь! Как все это жутко и как ярко!

1916

Зеленый праздник

Лизавета Николаевна Будягина, носившая пышное звание младшей подбарышни помощника младшего секретаря, поднялась ни свет ни заря, пошла в березнячок, что рос тут же около дач и был столь рьяно посещаем, что даже издали в нем виднее были пустые бутылки и клочья бумаги, чем самые деревья. Там Лизавета Николаевна обломила несколько веточек и, крадучись, чтобы не поймали хозяева, принесла их в свою комнатушку и прикрепила к стене у окошка. В стене, слава Богу, было столько щелей, что и гвоздей не понадобилось, — прямо воткнула.

Потом принялась за свой туалет.

Платье у нее было белое кисейное, как и полагается в Троицын день, но так как сшито оно было Клеопатрой Федотовной, что жила рядом у Сидорихи на верхах, а не настоящей портнихой, то и сидело как ему вздумается, а не как нужно.

Клеопатра Федотовна, положим, предлагала сшить по журналу, да журнал-то был 1904 года, так что все ее заказчицы предпочитали, чтоб уж она лучше фасонила из своей головы.

Зеркальце у Лизаветы Николаевны было, к

счастью, совсем маленькое — на один глаз, так что она и не знала, что у нее делается на спине и у пояса. Поэтому она весело улыбалась, взбивая волосы барашком.

Духов, которые придают столько очарования модным дамам, у младшей подбарышни совсем не оказалось. Зато мыло было такое пахучее, что от него даже не спалось по ночам, и приходилось выносить его в сени. Стоило оно всего восемнадцать копеек и написано на нем было без всяких затей просто «Опопанах».

Напившись своего чаю «от хозяйки», Лизавета Николаевна пошла к калитке и стала ждать.

Скоро стали приходить дачники из церкви. Лизавете Николаевне стало горько, что не с кем переглянуться насчет их туалетов.

В особенности раздражали барышни с кавалерами. Они томно нюхали свои букетики, и Лизавета Николаевна думала:

«Ныряет носом в букет, как утка. Уж-жасно, подумаешь, всех увлекла».

В соседний садик вышла портниха Клеопатра Федотовна и села на скамеечку, подобрав платье над крахмальной юбкой.

Стало неловко оставаться у калитки. Еще спросит, нахалка, кого Лизавета Николаевна ждет.

Она ушла к себе и прилегла на кровать. Но лежать было бы очень приятно, если бы не Троица. В Троицу надо было веселиться, а не лежать. И она снова пошла к калитке.

Постояла, пождала. На улице было пусто: все ушли гулять подальше к озеру.

Лизавета Николаевна сорвала у забора пучок незабудок и заткнула за пояс. Ей понравилось, что она — такая стройная и вся в белом и цветы у пояса. Она улыбнулась и крикнула Клеопатре Федотовне:

— А ко мне, вероятно, сегодня один господин приедет из города. Александр Эдуардович!

Но портниха совсем не удивилась и не обрадовалась, а ответила, помолчав:

— Мы сегодня уж три раза кофий пили. Я очень охотница, особливо с хорошими сливками. Маменька нонче к обедне ходили и просвирку принесли, так мы с просвиркой кофий-то кушали.

Лизавета Николаевна подошла поближе к говорившей и вдруг увидела свое отражение в темном стекле низкого окна. Фигура у нее оказалась толстая, а букетик — маленьким грязным комочком, даже не голубым, так как незабудки уже съежились. Словом, надеяться было не на что.

— Нет, — сказала она вдруг дрожащим голосом. — Я пошутила. Сегодня никто не приедет.

И пошла домой, криво подняв плечи. Опять прилегла и стала думать:

«Ну, что такое случилось? Ровно ничего. Он, собственно говоря, даже и не обещал окончательно. Я пригласила, а он сказал: «Благодарю вас». И ничего в этом нет обидного. Иногда очень важные и богатые люди устраивают бал, и далеко не все приглашенные приезжают. Но никто и не думает на это обижаться. Если бы я пригласила к себе сегодня человек двадцать, я бы даже и не заметила, что один не приехал. Кроме того, еще очень рано. Кто же так рано приезжает! Он, наверное, понял, что я его приглашаю именно вечером».

Додумавшись наконец, в чем дело, она весело вскочила и снова пошла в сад. Дачники уже вернулись с прогулки и пили чай. Отовсюду слышался веселый смех и говор.

«Какие пошлые! — думала Лизавета Николаевна. — Болтают какую-нибудь ерунду».

Она бы не стала болтать.

Она бы взяла его под руку и пошла вот туда, по зеленому лугу, смотреть золотой закат…

Подошел почтальон и протянул два письма. Одно — хозяйке, другое — ей, госпоже Будягиной.

Александр Эдуардович писал, что приехать в гости не может, но зато просил одолжить рублей пять для больного товарища и обещал прислать за деньгами к ней на службу.

Лизавета Николаевна села на скамеечку и думала:

«И что, в сущности, случилось? Ровно ничего не случилось. Просто один из гостей не приехал. Разве этого не бывает даже в самых важных и богатых домах, где много угощения и лакеев. Неужели же расстраиваться из-за того, что из двадцати человек один не приехал!»

Она встала, но уже не могла смотреть на зеленый луг и золотой закат. Было отчего-то противно до тошноты.

А Клеопатра Федотовна кричала кому-то голосом, острым, как буравчик:

— Леонида Павловна, а Леонида Павловна! И какая это такая предмета, что на меня собака чихнула? А? И какая это такая предмета, скажите на милость?

1916

Псевдоним

Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима.

Действительно — почему вдруг «Тэффи»? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей «Русского слова» давали это имя своим фоксам и левреткам.

Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным словом?

Уже если захотела взять псевдоним, так можно было выбрать что-нибудь более звонкое или. по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя.

Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недоверием.

— И где это она понахваталась?

— Это, наверно, за нее муж пишет.

Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятельница

подписывалась «Вергежский», талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи «Антон Крайний». Все это, повторяю, имеет свой raison d'etre[13]. Умно и красиво. Но — «Тэф-фи» — что за ерунда?

Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло.

Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут.

— Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написан «Гамлет» и «Ревизор»? А тем более дамскую стряпню!

Вот тут я и призадумалась.

Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-ни-

---

[13] Примечания: 13
Смысл *(фр.)*.

будь непонятное, ни то ни се.

Но — что?

Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы.

За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный и вдобавок такой, которому везло, значит, самой судьбой за идеального дурака признанный.

Звали его Степан, а домашние называли его Стэффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и, будь что будет, послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра. Никому ни о чем не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия.

Прошло месяца два. О пьеске своей я почти забыла и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и дураки приносят счастье.

И вот читаю как-то «Новое время» и вижу нечто.

«Принята к постановке в Малом театре одноактная пьеса Тэффи «Женский вопрос».

Первое, что я испытала, — безумный испуг.

Второе — безграничное отчаяние.

Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя — непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом надолго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала и посоветоваться ни с кем не могла.

И тут еще с ужасом вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они там подумают, что я это по просьбе гнусного автора отослала пакет, а если догадаются, тогда что?

Но долго раздумывать не пришлось. На другой же день почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пойдет такого-то числа, а репетиции начнутся тогда-то, и я приглашалась на них присутствовать.

Итак — все открыто. Пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно, и так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумать положение.

Почему, собственно говоря, я решила, что пьеса так уж плоха! Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я Кан-

том или Спинозой, наверное, пьесу бы отвергли.

«Надо взять себя в руки и пойти на репетицию, а то они еще меня через полицию потребуют».

Пошла.

Режиссировал Евтихий Карпов, человек старого закала, новшеств никаких не признававший.

— Павильончик, три двери, роль назубок, и шпарь ее лицом к публике.

Встретил он меня покровительственно:

— Автор? Ну ладно. Садитесь и сидите тихо.

Нужно ли прибавлять, что я сидела тихо.

А на сцене шла репетиция. Молоденькая актриса, Гринева (я иногда встречаю ее сейчас в Париже. Она так мало изменилась, что смотрю на нее с замиранием сердца. как тогда…), Гринева играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой платок, который она все время прижимала ко рту, — это была мода того сезона у молодых актрис.

— Не бурчи под нос! — кричал Карпов. — Лицом к публике! Роли не знаешь! Роли не знаешь!

— Я знаю роль! — обиженно говорила Гринева.

— Знаешь? Ну ладно. Суфлер! Молчать! Пусть жарит без суфлера, на постном масле!

Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой острастки.

«Какой ужас, какой ужас! — думала я. — Зачем ***я*** написала эту ужасную пьесу! Зачем послала ее в театр! Мучают актеров, заставляют их учить назубок придуманную мною ахинею. А потом пьеса провалится и газеты напишут: «Стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает». А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня строго и скажет: «До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это не верно».

Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня. что актеры дружелюбно со мной здороваются, — я думала, что все они должны меня ненавидеть и презирать.

Карпов хохотал:

— Несчастный автор чахнет и худеет с каждым днем.

«Несчастный автор» молчал и старался не заплакать.

И вот наступило неотвратимое. Наступил день спектакля.

«Идти или не идти?»

Решила идти, но залезть куда-нибудь в последние ряды, чтобы никто меня и не видел. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулис и прямо закри-

чать мне: «Пошла вон, дура!»

Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скучище начинающего автора. Публика зевала, скучала, посвистывала. И вот, после финального свиста и антракта, взвился, как говорится, занавес и затарантили мои персонажи.

«Какой ужас! Какой срам!» — думала я.

Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми, когда комическая старуха Яблочкина, изображающая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы. Актеры вообще были хорошие и разыграли пьеску на славу.

— Автора! — закричали из публики. — Автора!

Как быть?

Подняли занавес. Актеры кланялись. Показывали, что ищут автора.

Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению к кулисам. В это время занавес уже опустили, и я повернула назад. Но публика снова звала автора, и снова поднялся занавес, и актеры кланялись, и кто-то грозно кричал на сцене: «Да где же автор?», и я опять кинулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась эта

беготня моя по коридору до тех пор, пока кто-то лохматый (впоследствии оказалось, что это А. Р. Кугель) не схватил меня за руку и не заорал:

— Да вот же она, черт возьми!

Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно, и публика стала расходиться.

На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я шью туфли для куклы моей племянницы…

— Гм… вот как! А что означает ваш псевдоним?

— Это… имя одного дур… то есть так, фамилия.

— А мне сказали, что это из Киплинга.

Я спасена! Я спасена! Я спасена! Действительно, у Киплинга есть такое имя. Да, наконец, и в «Трильби» песенка такая есть:

Taffy was a walesman,
Taffy was a thief…

Сразу все вспомнилось.

— Ну да, конечно из Киплинга!

В газетах появился мой портрет с подписью «Taffy».

Кончено. Отступления не было.
Так и осталось

Тэффи. 1931



Александр ФЛИТ

Ее величество пошлость

Когда на улицах столицы
Кружила в бешенстве гроза.
Когда у родины-тигрицы
Пылали мщением глаза.

Когда пришел и стал на страже
Хозяин истинный — народ.
Ждала Россия, что прикажет.
Куда направит тяжкий ход, —

Из черных ям, домов и башен
Единым зовом изошла
Столица светлая, и страшен
Был знак февральского числа.

Под белым куполом дворцовым.
Вобрав всю боль надежд и мук.
Рождалась явь, чудесным словом
Сплетя в одно мильоны рук.

Упали царские вериги,

Корона сорвана с герба.
Но вы взгляните — в пыльной книге
Страницы сблизила судьба...

Вы свергли иго, вы свободны,
Но он оплеван — красный цвет,
И цвета крови всенародной
Конторщик сшил себе жилет.

Плодятся мерзости, как крысы,
И звонко хвалит детвора
«Роман развратнейшей Алисы»
И «Тайны Гришкина двора».

Тоскою жадности не сыты,
В «концерты-митинги» спеша.
Всем рукоплещут Афродиты
И пляшут речи антраша.

Я вижу новую царицу!
В пунцовом бархате, в шелках,
Ее бесстыжие ресницы
Влюбленного повергнут в прах.

День ото дня жиреет свита,
Из горла рвется жадный крик.

Она гирляндами увита
Неувядающих гвоздик.

Пройдя с триумфом по панели.
Кричать всем гражданам «ура»
Ее величество велели
Коротким росчерком пера…

«Новый Сатирикон», 1917, № 19

В защиту смеха

В годину стройки и распада.
Бессилья, злобы, клеветы.
Стихии творчества и ада.
Распутства, мести, красоты
Заносишь ты, рука поэта.
Нагайку хлесткую свою,
И в это призрачное лето
Приемлешь светлый пыл в бою.
Гуляй по спинам фарисеев,
Рабов вчерашнего числа,
Под знамя скрывшихся злодеев,
Клевретов царского орла…

Казни испуг слепого труса,
В подполье скрывшего мошну.
Избавь конторщика от флюса
И в щуплый мозг вдохни весну…
Гуляй по спинам с жарким свистом.
Гони с дороги воронье.
Его дыханием нечистым
Мечты отравлено копье,
О, не щади распутства света.
Пусть не смолкает дерзкий клич,
И пусть не дрогнет мощь поэта,
Подъемля Ювеналов бич!..

«Новый Сатирикон», 1917, № 29

Моя автобиография

1.

На берегу Днепра седого,
Назад тому немало лет,
В семье еврея молодого
Я мигом выскочил на свет.
Младенец был амура краше.

Все были рады крошке Саше.
От счастья красен, как кумач,
Схватил меня папаша-врач.
Несчастный! Если б сердце знало.
Что юмор выберет сынок,
Сатиры отточив клинок, —
Его б на месте доконало!
Но в те поры, склонясь в тиши.
Ловил он первый крик души.

2.

Я рос привольно на просторе.
Под шум дворовой чепухи,
И вдохновенно на заборе
Писал и буквы, и стихи.
Тепло родительского корма…
И гимназическая форма…
Любовный первый тет-а-тет.
Попутно — университет…
К чему сухие нормы права.
Когда, упершись в страсти лбом.
Я лишь послания в альбом

Строчил налево и направо?!
С самодержавьем не дружил
И два погрома пережил.

3.

Мне надоела сладость лиры,
И, глянув в самое нутро,
Я в яд возлюбленной сатиры
С восторгом обмакнул перо.
Едва мне улыбнулась слава.
Как полились стихи, как лава —
И, ощутив девятый вал.
Журналы я атаковал.
И с той поры — одна забота:
Хоть три десятка позади.
Осилить сотню впереди,
Рубиться до седьмого пота
И желчь не смешивать с водой
На склоне жизни молодой.

1928



Дмитрий ЦЕНЗОР

Весеннее утро в доме № 37

Во дворе из окошка направо,
Чтобы члены размять на момент,
Обалдевший от «римского права».
Перегнулся лохматый студент.
И, блаженствуя так с папиросой,
Улыбается он vis-a-vis[14]
Белошвейке — блондинке курносой,
Исхудавшей от грез и любви.
«С добрым утром! Ваш вид лучезарен,
Загляните сегодня на чай!..»
И басит ему снизу татарин:
«Барин, старые брюки продай!»
Белошвейка лепечет лукаво:
«Ах, мерси за такой комплимент!»
Посвиставши, за «римское право»
Принимается снова студент.

---

[14] Примечания: 14
Соседке *(фр.).*

Забивается в угол бедняга…
Под окном ежедневный тиран —
Про «геройскую гибель «Варяга»,
Надрываясь, вопит мальчуган.
Из квартир выезжают на дачи —
Трескотня, перебранка и спор.
И достоинства рыбьи и рачьи
Воспевает разносчиков хор.
ГЦе-то рубят мажорную гамму.
Без стесненья в шестом этаже
В папильотках дородную даму
Обнимает субъект в неглиже…
И туда одинокого нрава
Загляделся поэт-декадент…
Обалдевший от «римского права»,
За учебником дремлет студент.

«Сатирикон», 1910, № 24

Весной у взморья

После стужи и дождей
Солнце сделалось добрее.

Синеглазый Ганс на рее —
Как на ветке воробей.
Что разлука моряку? —
Пой, шути, качаясь в шлюпке!
Ведь коротенькие юбки
На гранитном берегу.
Суетится капитан
Зафрахтованного флота.
Люди вымокли от пота,
И скрипит подъемный кран.
Тучный, сумрачный на вид,
И во сне ворча, как бука.
На трехмачтовом, у тюка.
Боцман выпивший храпит.
Потянул вечерний бриз.
Золотит закат откосы.
Сходят к девушкам матросы
По скрипучим сходням, вниз.
И своей дебелой Эмме
Ганс изменит нынче вновь.
Коротка ночная темень

И матросская любовь.

1928



Саша ЧЕРНЫЙ

Слишком много

Слишком много резонерства
И дешевого фразерства.
Что фонтаном бьет в гостиных
В монологах скучно-длинных, —
Слишком много...

Слишком много безразличных.
Опустившихся, безличных.
С отупевшими сердцами,
С деревянными мозгами, —
Слишком много...

Слишком много паразитов.
Изуверов, иезуитов.
Патриотов-волкодавов,
Исполнителей-удавов, —
Слишком много...

Слишком много терпеливых.
Растерявшихся, трусливых,

Полувзглядов, полумнений.
Бесконечных точек зрений, —
Слишком много...

Слишком много слуг лукавых.
Крайних правых, жертв кровавых,
И растет в душе тревога,
Что терпения у Бога
Слишком много!

1906

Молитва

Благодарю Тебя, Создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.

Благодарю Тебя, Могучий,
Что мне не вырвали язык.
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.

Благодарю Тебя, Единый,

Что в Третью Думу я не взят, —
От всей души, с блаженной миной
Благодарю Тебя стократ.

Благодарю Тебя, мой Боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающейся кожи
Исторгнет дух в конце концов.

И вот тогда, молю беззвучно.
Дай мне исчезнуть в черной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

1907

Потомки

Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы… Видно, дети
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час

И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце после нас».

Нынче так же, как вовеки.
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали:
Кто — лет двести, кто — пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули.
Мир умыт, причесан, мил...
Лет чрез двести? Черта в стуле!
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках
Переломанных богов,
В неродившихся потомках
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив;
От портного до поэта —

Всем понятен мой призыв…

А потомки… Пусть потомки.
Исполняя жребий свой
И кляня свои потемки.
Лупят в стену головой!

«Сатирикон», 1908, № 28

Два желания

1.

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты…
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

2.

Сжечь корабли и впереди, и сзади.
Лечь на кровать, не глядя ни на что.
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

«Сатирикон», 1909, № 5

Веселая наглость

Русский народ мало трудится.
(Марков 2-й. Съезд дворян)

Ах, сквозь призму
Кретинизма
Гениально прост вопросец:
Наш народ — не богоносец,
А лентяй
И слюнтяй.

В самом деле —
Еле-еле
Ковырять в земле сухой
Старомодною сохой —
Не работа,
А дремота.

У француза —
Кукуруза,
Виноград да лесопилки.
Паровые молотилки.

А у нас —
Лень да квас.

Лежебокам
За уроком
Что бы съездить за границу
К шведам, к немцам или в Ниццу?
Не хотят —
Пьют да спят.

Иль со скуки
Хоть науки
Изучали бы, вороны:
Философию, законы...
Не желают:
Презирают!

Ну, ленивы!
Даже «Нивы»
Не хотят читать, обломы.
С Мережковским незнакомы!!
Только б жрать.
Только б спать.

Но сквозь призму

Кретинизма
Вдруг вопрос родится яркий:
Как у этаких, как Марков,
Нет хвостов
И клыков?

«Сатирикон», 1909, № 9

Честь

Когда раскроется игра —
Как негодуют шулера!
И как кричат о чести
И благородной мести!

«Сатирикон», 1910, № 2

Простые слова

Памяти Чехова

В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один, тревожно мудрый Чехов,
С каждым днем нам ближе, чем вчера.

Сам не веришь, но зовешь и будишь.
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.

Вот ты жил меж нами, нежный, ясный.
Бесконечно ясный и простой, —
Видел мир наш хмурый и несчастный.
Отравлялся нашей наготой…

И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о, слишком много книг!
С каждым днем проклятый круг все уже
И не сбросить «чеховских» вериг…

Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники, — смеяться, плакать, мстить.
Но теперь все вскрыто. Как тоскливо
Видеть, знать, не ждать и молча гнить!

«Сатирикон», 1910, № 4

Приказ

Бумажные бодрители
Трещат из всех щелей:
«Читатели и зрители.
Бодрей, бодрей, бодрей!»

Маститые и «синие»
Журнальные одры —
Все шлют приказ по линии.
Чтоб были все бодры…

Конечно, бодрость — качество
Прекрасное вполне,
Но скорбь ведь не чудачество,
И горе — не во сне.

Ведь хамство все развязнее.
Терпенье все мертвей.
Разгром все безобразнее,
А ветер все правей…

Смешно в лицо голодное.
Чтоб подсластить наш быт.

Орать сто раз бесплодное:
«Будь сыт, будь сыт, будь сыт!»

1913

* * *

Прокуроров было слишком много:
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает былое светлым раем.
Словно детство в солнечной пыли.

Между 1920 и 1923

«Сатирикон»

Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге,
В низких комнатках уютных
Расцветал «Сатирикон».

За окном пестрели барки
С белоствольными дровами,
А напротив Двор Апраксин
Впился охрой в небосклон.

В низких комнатках уютных
Было шумно и привольно…
Сумасбродные рисунки
Разлеглись по всем столам.
На окне сидел художник
И, закинув кверху гриву.
Дул калинкинское пиво
Со слюною пополам.

На диване два поэта.
Как беспечные кентавры.
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой…
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом-балдой.

Тихий, вежливый издатель.

Деликатного сложенья.
Пробегал из кабинета.
Как взволнованная мышь...
Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами
За издателем помчался,
Чтоб сорвать с него бакшиш...

А в сторонке, в кабинете.
Грузный, медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем.
Почту свежую вскрывал:
Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей
Насылали горы хлама.
Что ни день — бумажный вал.

Ну и чушь... В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом ящике почтовом
Вздену на кол — и прощай.
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза прищурив,

И, свирепо чертыхаясь.
Пил и пил холодный чай.

Ровно в полдень встанет. Баста.
Сатирическая банда.
Гулко топая ногами.
Вдоль Фонтанки цугом шла
К Чернышеву переулку…
Там в гостинице «Московской»
Можно вдосталь съесть и выпить.
Поорать вокруг стола.

Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе.
Дети, бросив свой песочек.
Мчались к нянькам поскорей:
Кто такие? Что за хохот?
Что за странные манеры?!
Мексиканские ковбои?
Укротители зверей?

А под аркой министерства
Околоточный знакомый.
Добродушно ухмыляясь.

Рявкал басом, как медведь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?» —
«Ничего, живем — не тужим.
До ста лет решил скрипеть».
До ста лет, чудак, не дожил…

Разве мог он знать и чаять,
Что за молодостью дерзкой
Грянет темная гроза —
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья.
Засыпающие пеплом все веселые глаза.

«Сатирикон», 1931, № 1



Первый грех

На каком языке говорили в раю? Ты, верно, думаешь, что на русском… Я тоже так думал,

когда был маленьким. Маленький француз, если спросишь его об этом, вынет палец изо рта и ответит: «Конечно, в раю говорили только по-французски!» Маленький немец не задумается: «По-немецки, как же иначе»… Но все это не так.

В раю говорили на райском языке. Люди его сейчас позабыли, а звери, может быть, помнят, да и то не все. Чудесный это был язык: в нем совсем не было ни бранных, ни злых слов. Понимали его не только Адам и Ева и жившие с ними в раю крылатые духи, но и звери, и птицы, и бессловесные рыбы (даже рыбы!), и пчелы, вечно перелетавшие с цветка на цветок, и качающиеся травы, и любая скромная ромашка, расцветавшая в тени райской ограды.

Вечерами травы шептали на лужайке под темнеющими пальмами:

— Тишина… Засыпаем…

— И мы… — отвечали, кивая тяжелыми гроздьями, бананы.

— Спать! Спать! — гудели в воздухе райские золотые шмели, слетаясь на ночлег в дупло трехобхватного дуба, что рос у ручья возле тропинки к водопою.

— А где тут трава помягче? — бурчал неизменно каждый вечер грузный носорог, укладываясь

среди колючего тростника на покой. Он тростник называл травой, и казался он ему мягче пуховой постели.

Звери даже во сне разговаривали. Мартышки визжали и хихикали — они видели только смешные сны; сонная рысь, облизывая свесившуюся с дерева лапу, тихонько урчала: «Ах. какой большой сладкий финик»... А бегемоты, выставив из тины похожие на чемоданы морды, зевали, смотрели спросонья на встающую малиновую луну и фыркали:

— Фу, какое сегодня мутное солнце.

И добрые все были — удивительно. Комары никого не кусали, — что они ели, я не знаю, но ни Адама, ни Еву, которые ходили без всякой одежды, ни один комар ни разу не укусил. Гиены не грызлись между собой, никого не задирали, сидели часами скромно под бананами и ждали, пока ветер не сбросит им тяжелую душистую вязку с плодами. Львы облизывали всех, кто к ним ни подходил, даже скверно пахнущих шакалов, — ели траву, и так как наесться травой дело было не простое, то они, как быки и лошади, по целым дням не подымали морды от сочных стеблей, — а проворные белки, которым и минуту трудно усидеть на месте, играя друг с другом,

бегали взапуски по львиным спинам, как по мягким диванам.

Однажды на лужайке перед закатом звери вздумали играть в свою любимую игру: в лестницу. В гимназии мы тоже играли когда-то в такую игру и называли ее «пирамидой», но звери такого мудреного слова не знали.

Первым стал слон, скосил умные маленькие глаза в сторону и сказал в нос: «А ну-ка!»

Потом растопырил ноги, опустил голову, покачался и утвердился посреди лужайки тверже скалы. На слона взобрался, отдуваясь от одышки и осторожно выпуская когти (чтоб слону не было больно), толстый тигр, на тигра взлезла горилла, на гориллу медведь, на медведя пантера, на пантеру рысь, на рысь мартышка, на мартышку белка, на белку крыса, а на крысу — мышь…

Играли в лестницу, как видишь, только такие звери, которые умели лазить. Остальные расселись вокруг всей лужайки, смотрели и веселились.

И вот слон осторожно поднял одну ногу, переставил, — потом другую и пошел вдоль всей лужайки, солидно и тихо. словно кадку с мороженым нес на голове. Горилла ревела, рысь весело мяукала, крыса, задрав хвост, пищала, как

вырвавшийся из хлева поросенок, — и только мышонок на самом верху лестницы дрожал и крепко прижимался животом к крысе: у него кружилась голова.

Из зарослей кактусов на веселую игру смотрели кролики. Среди них один белый, любимый кролик Евы, — а рядом, вытянув плоскую голову, притаилась огромная, жирная гадина-змея. Как она попала в рай? Переползла через ограду по крепкому плюшу, или добрый архангел Михаил, сторживший райские врата, сделал вид, что не заметил ее, когда хитрая тварь проскользнула мимо него на заре, сверкая и блестя чешуей?.. Не знаю. Она одна никогда ни с кем не играла, таилась от всех и молча проползала в кустах, зловеще поглядывая на зверей, — глаза у нее были желтые, цвета мутного студня, с черной поперечной ниточкой в зрачках.

Белый кролик, круглый и пухлый, как муфта, не успел оглянуться, как все его кроличьи друзья ускакали куда-то за рощу, чтоб посмотреть на «лестницу» с другой стороны лужайки.

Задремал он, что ли, или надоело прыгать, — он остался на месте, разлегся, поднял нос и беспечно дышал. И вдруг рядом из-под папоротника поднялась тяжелая змеиная голова, раскрыла медленно

пасть и, не мигая, уставилась на него круглыми желтыми глазами. В первый раз в жизни стало бедному кролику страшно: сердце забилось, как муха в стакане, под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли, — голова с желтыми глазами все ближе и ближе, все страшней и огромней, — и жало, словно вьюн, так и мелькает вверх и вниз, вправо и влево.

Крикнуть? Позвать других зверей? Но бедный кролик вдруг все райские слова позабыл, даже пискнуть не мог, только задними лапами со страха два раза в землю ударил и…

Первые переполошились райские птицы. С деревьев сверху им все видно было: смотрят, лежит змея под папоротниками в тени, хвостом чуть-чуть шевелит, а в пасти у нее белая кроличья спина и задние лапы дергаются и с каждым мигом все глубже и глубже в змею влезают. Встрепенулись и, словно разноцветные цветы, с криком полетели на лужайку к зверям. Мигом рассыпалась «лестница»! Прибежал грузный слон, и тигр, и мартышки, и мышь, все, все, — окружили гадину, ничего понять не могут.

— Отдай кролика! — загудел слон.

— Отдай! — пискнула мышь.

— Отдай, отдай! — заворчал медведь.

— Сейчас же отдай! — заревел тигр…

Отдай да отдай… Так она и отдаст. Слюной его, бедняжку, всего обслюнила и все глубже и глубже в пасть засасывает.

Что делать зверям? Браниться не умеют, отнимать силой — не догадались, никогда у них таких историй не было. И вот рысь спохватилась первая: где Ева? Она для них как добрая мать была, — ее любимого кролика змея глотает, — надо за Евой бежать.

* * *

Ева сидела над райским прудом под пальмой, склонилась к воде, заплетала и расплетала светлые волосы — был ей пруд яснее всякого зеркала. Не поняла она сначала торопливых слов задыхающейся рыси: кролик — змея — глотает — не отдает! Поняла только, что с ее любимым белым кроликом какая-то беда стряслась. В раю, ты знаешь, не было ни детей, ни ягнят, ни щенят, ни котят, никто их никогда и в глаза не видал, но Ева почему-то больше всего любила таких зверей, которых можно, как младенца. на руки взять. Слон велик, белка на руках не усидит, а белый кролик — такой ленивый, и теплый, и пушистый — был ей всех милее..

Встала Ева и пошла быстрыми легкими шагами, едва касаясь травы, к зверям. За ней вприпрыжку, высунув язык, рысь.

Пришла и — видит: звери перед змеей в кучу сбились, и Адам туг. Да и он не в помощь. Стал перед зверями и, как попугай, повторяет за другими: «Отдай кролика!» А у кролика только розовые пятки из пасти дрыгают.

Всплеснула Ева руками, соленые капли так из глаз и брызнули (никогда она раньше не плакала), и скорее-скорей через колючие кактусы, сквозь заросли шершавых кустов побежала к райским вратам, — и все кактусы и папоротники расступились перед ней и шумели ей вслед: скорей! скорей!

Архангел Михаил стоял у широко открытых врат и смотрел вдаль на обступившие райский сад румяные от заката горы. Каждый вечер смотрел — и не мог насмотреться.

— Что с тобой, Ева? — спросил он удивленно, обернувшись на быстрые шаги.

— Змея! Кролика!

— Так я и знал… — нахмурился Михаил и, подняв перед собой огненный меч, освещавший, словно факел, темнеющую землю, пошел за Евой.

Веером расступились звери перед архангелом. Опустил он пламенем книзу струистый меч, облокотился на золотую рукоять, и закорчилась, как на копье, под взглядом его лучисто-синих глаз змея…

— Ты! — топнул ногой крылатый страж. — Злая и низкая тварь! ты прокралась сюда тайком. Я не выгнал тебя, живи, — в раю для всех есть место. Но если ты не хочешь жить по-Божьему, я заставлю тебя, как прикованную, не двигаться с места! Вон там, видишь, — Михаил взмахнул багровым мечом, — там, куда никому доступа нет, посреди рая стоит яблоня…

— Древо познания добра и зла? — быстро спросила любопытная Ева, с трудом выговаривая странное слово «зло».

— Да, добра и зла, — строго ответил архангел. — Ни днем, ни ночью, — наклонился он к змее, — не смеешь ты сползать со ствола: лежи и сторожи… Ступай!

Змея покорно шевельнулась и медленно поползла.

— А кролик, а кролик! — закричала взволнованная Ева.

— Отдай кролика, — тихо сказал архангел. Змея поползла дальше.

— Отдай кролика! — верхушки пальм вздрогнули, так крикнул архангел.

Понатужилась змея и, сверкая желтыми глазами, как резиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой комочек к ногам Евы.

Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был весь мокрый, словно новорожденный котенок. Только на руках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее…

Ушел архангел к вратам. Разбрелись на ночлег удивленные звери. И. шумя потемневшей травой, проползая мимо ног испуганной Евы к заповедному дереву, злобно прошипела, блестя тусклой чешуею, змея:

— Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу…

. . . . .

Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь — прочел в школе. А не прочел, так узнаешь в свое время.

1922

Об Аркадии Аверченко

Неожиданная кончина широко популярного писателя-юмориста, так преждевременно

ушедшего из жизни, еще теснее смыкает круг русской писательской семьи. Кто бы ни ушел из тех, немногих, кто привлекал к себе внимание за последние десятилетия, — поэт ли, прозаик, драматург, — смены нет и не видно.

Первые литературные шаги А. Т. Аверченко еще на памяти читателя связаны с основанием им в конце девяностых годов в содружестве с несколькими литераторами и художниками «Сатирикона», близкого по облику мюнхенскому «Simpllcissimus»'у. Никому не ведомый харьковский провинциал приехал в Петербург и на страницах нового журнала, столь непохожего на прежние кустарно-юмористические еженедельники, сразу выдвинулся своим сочным, здоровым юмором, своеобразным талантом рассказчика-весельчака, сумевшего расшевелить самого серьезного и хмурого российского читателя.

Чуждый надрыва, далекий от всех интеллигентских «проклятых» вопросов, Аверченко сделал своим героем мелочи быта, а острая наблюдательность, четкое знание русской провинции, особое чувство смешного, — связанное, быть может, с его хохлацким происхождением, порой доходили до виртуозной игры в его коротеньких рассказах-анекдотах. Автор, чуть ли не

единственный в прозе представитель беспечной русской богемы, сталкивал лбами неожиданные положения, развивал до гротеска какую-либо уродливую, подмеченную им в толпе черту и. не глумясь, не уничтожая своего случайного героя, весело над ним потешался и отпускал его с миром. Таков был далекий предшественник Аверченко, популярный в свое время немецкий юморист Сафир, современник Гейне.

Длинный хвост подражателей, все эти Гуревичи, Оль Д'Оры и Ландау, упражнявшиеся на задворках «Сатирикона» и окружавшие блеклым гарниром имя своего учителя, ни в малой мере не усвоили своеобразных черт его письма: меткого и короткого диалога, нарастания внешнего комизма, неожиданного фейерверка развязки.

Аверченко создал стиль и моду, а бойкая юмористическая артель торговала шипучкой, разливая ее в бутылки из-под чужого шампанского.

Среди тяжелодумов той поры, мрачно копавшихся в вопросах пола, неуклюже флиртовавших то с мистическим анархизмом, то с проблемой смерти, свежий заразительный юмор Аверченко был. несомненно, оздоровляюще полезен и сыграл свою общественную роль помимо направленческого безразличия автора.

Быть может, длительная фельетонная работа, срочная, связывающая размером и зачастую комкающая темы, помешала покойному юмористу развернуть свое дарование в более широкие бытовые полотна, помешала ему стать тем, чем был Федотов в живописи. Но, увы, счастливая возможность выдерживать свои рукописи в ящике письменного стола, возможность неторопливого и независимого от злобы дня творчества была неосуществима для тех, кто, подобно покойному, жил исключительно еженедельно-журнальным и газетным трудом, не дающим ни передышки, ни места для широких замыслов. А альманахи и толстые журналы с упорством староверов чурались юмора, предпочитали ему любую муйжелевскую мочалку, тянущуюся с января по декабрь.

* * *

В эмиграции, вне окружения старого многоцветного и сочного русского быта, добродушный юмор Аверченко резко надломился. С непоколебимым упорством вгрызался он в безрадостную и бездарную тему: «большевизм». Сатира сменила юмор. Ненависть к поработителям быта заслонила веселую усмешку обывателя над забавными нравами своей родной улицы, беспечно шумя-

щей за его окном («обывательское» отношение для нас сегодня отнюдь не жупел, а напротив — во многом здоровое, утверждающее национальный быт начало).

В последние годы Аверченко неутомимо бил своей легкой скрипкой по чугунным красным головам, и это невеселое, новое для него занятие является большой и доблестной заслугой покойного писателя. Разумеется, за вывернутой наизнанку сумасшедшей большевистской жизнью никому не угнаться. Любая вырезка из советской хроники фантастичнее любого гротеска самого Щедрина, но в мире все растущего эмигрантского безразличия и усталости дорого каждое слово протеста и непримиримого отрицания красной свистопляски. Были «сменившие вехи», были и полусменившие, а вот веселый и беспечный юморист оказался одним из самых стойких и непримиримых.

* * *

Мы надеемся, что в эмиграции найдется русское издательство, которое догадается выпустить в свет «Избранные рассказы Аверченко». Покойный автор отличался одним редким качеством: он почти никогда не был скучен. А избранные его рассказы, собранные внимательной рукой и связанные вместе, не залежатся на книжных складах и будут лучшей данью памяти жизнерадостного писателя и человека, который вне всяких теорий словесности простаком-самоучкой пришел в литературу и всем нам подарил немало веселых минут.

18 марта 1925

Русская книжная полка

В какое эмигрантское жилье ни придешь — прежде всего ищешь глазами: а есть ли здесь книжная полка? И нередко, увы, вместо книжной полки со стопкой русских книг увидишь глупую куклу маркизу в углу диванчика, граммофонные пластинки с негритянскими завываниями, пачку билетов со скидкой в ближайшее кино («Скрежет страсти», «Объятье мулатки») и замусоленную колоду карт на столе.

«Помилуйте, — говорят иные, — какие там книги! Жизнь птичья, эмигрантская, где там еще на перелете книжной полкой обзаводиться».

Так ли?

Живем подолгу, многие десяток лет кряду сидят в своих «иноземных» углах, кое-кто и мебелью обзавелся, и даже книжный шкаф купил по случаю подержанный… Но книг так и не завел.

Дорого!

Но ведь весь Пушкин стоит не дороже глупой куклы маркизы, нескольких пластинок с фокстротами, нескольких билетов в угловое кино, не дороже двух бутылок с вишневкой.

Скажем просто:

Только тот причастен к русской культуре и в меру сил хранит ее и передает своим детям, кто у себя дома, в своем гнезде, не может обойтись без русской книжной полки.

Ибо если и от русской книги отвернемся, выбросим ее из обихода, — не превратится ли ежегодный праздник «дня русской культуры» в торжественный холодный парад, в официальные поминки по гениям русской мысли?

1930. Париж



Георгий ЧУЛКОВ

Веселые дети и скучный черт

Один раз на даче дети в мяч играть собрались.

Было весело.

Играли в «классы», в «пятнашки», в лапту. Двоюродный брат Миша новые игры повыдумывал.

Так было весело, так было весело, что просто страсть!

И бегали, и прыгали, и скакали, и плясали. И мячик повсюду, как живой.

Только приходит школьный учитель и говорит:

— Дети! Хотите, я вам расскажу про мяч?

Дети молчат.

Тогда учитель подумал: «Молчание — знак согласия». И стал рассказывать:

— Мяч сделан из резины. А знаете, что такое — резина?

И пошел, и пошел: все рассказал — и как на фабриках мячи делаются, и почему они прыгают, и почему весело бывает, когда в мяч играют…

А мячу было скучно. Лежал он в сторонке. И детям было скучно.

И пришел тогда скучный черт — маленький, лохматенький, хромоногий, косоглазый, — утащил тихонько мяч и в канаву забросил.

Кончил наконец учитель. Ушел.

Хватились дети мяча. А его и нету. Скучный черт утащил. Сидят дети и плачут.

«Сатирикон» 1909. № 19



Огурец

Один раз Огурец надел цилиндр и пошел гулять на бульвар.

Такой франт!

Проходят барыни и говорят:

— Сейчас видно — отставной военный.

Директор гимназии прошел, похвалил:

— За поведение пять *с* плюсом.

Купец говорит:

— Ишь ты! Я бы его кассиром назначил!

Монах говорит:

— Ему бы архиереем быть.

Потом жулик повстречался.

— Нашего, — говорит, — полку прибыло. Сейчас видно: из молодых, да ранний.

А Огурец идет себе — фу-ты, ну-ты!

Вдруг ему пьяный навстречу. Да как заорет:

— Ого-го-го! Недурственно. Дело-то, я вижу, в шляпе!

Стащил с Огурца цилиндр.

Видит: огурец малосольный. Съел его.

«Сатирикон», 1909, № 21

Ерунда

Ходила по свету Ерунда, древняя старуха. Вся рожа у нее измочаленная. Вместо ног — пни гнилые. Волосы как мох. Глаза как ложки оловянные.

Одно слово — страшилище.

Увидал Ерунду православный — перекрестился.

А ей и горя мало. И на православного прет.

Все от нее в сторону.

А она орет благим матом:

— Прочь с дорог! Раздавлю!

И давит.

Подомнет себе под живот бог знает сколько народу. И рада, хохочет.

Ногами дрыгает.

Город ей честь отдает.

Купцы — почет.

Барышни — «сувениры» разные: это, значит — «на память».

А я про нее сказку сочинил.

Везет Ерунде.

«Сатирикон». 1909, № 22

Божья Коровка

Жила-была Божья Коровка. Летать мало приходилось. Больше ползала.

Понравилась Божья Коровка Таракану.

— Выходи, — говорит, — за меня замуж.

— Мне все равно…

Вышла.

Живет, скучает, помнит, что она хоть и коровка, а все-таки Божья. Однако никуда не летит.

А Таракан, известное дело, усами шевелит. И в свой департамент аккуратно ходит.

Вот тебе и любовь…

Таракашек расплодили, а все-таки скучно.

Прилетел Жук:

— Божья Коровка, ты мне нравишься.

— Ну что ж, — говорит.

— Выходи за меня замуж.

— Мне все равно, — говорит.

Вышла теперь за Жука.

И приплод был: жучата. А все скучно.

А потом Утюг пришел: тяжелый-тяжелый, черный-черный.

И он, как все:

— Выходи за меня замуж.

— Ну что ж, — говорит, — мне все равно.

Видит Божья Коровка: хочет ее новый жених обнять.

Ну что ж, дело жениховское.

Обнял.

Только тяжелый был Утюг. От невесты ничего не осталось. Так — пятнышко малое.

«Сатирикон», 1909, № 23

Свинячий сын

Жил-был свинячий сын Ванька, по фамилии — Хрюшкин.

Родители Хрюшкина были почтенные — настоящая живая ветчина: и папаша, и мамаша. И братья и сестры — все в родителей, хоть сейчас

тащи в колбасную.

Один только Хрюшкин был неудачник: ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца.

У каждого братишки было прозвище: у одного Малосольный, у другого Вяленый. Про сестренку говорили, что она «с чесночком».

А Ванька остался без прозвища свинячьего.

Неудачный был поросенок — кожа да кости, а вместо жира — никчемные мечтания.

Все к корыту, а он пятачком в небо и о прекрасной невесте хрюкает.

А вместо невесты выйдет, бывало, скотница Варвара да ножищей Ваньку как ахнет: у него из глаз искры… А он думает — звезды с неба.

Чудной был поросенок.

Говорит ему раз корова, и очень серьезно:

— Ванька ты Ванька! Не сносить тебе головы. Родителей бы пожалел! Ну скажи на милость, какая из тебя колбаса выйдет, ежели ты, заместо помоев, журавля в небе норовишь поймать.

Осел говорит:

— А еще образованный! Студент тоже! Я бы тебе под хвост крапивы: узнал бы тогда кузькину мать.

И дядя-боров хрюкает:

— Вот я уж от жира ходить не могу. Брюхо-то

у меня во какое. А в голове рассужденье. Я свое свинячье положение знаю. Я свое возьму. А ты что? Ты не свинячий сын, а латаха несуразная.

А поросенок в ответ:

— Я, дяденька, литературой займусь. Из меня сочинитель выйдет.

— Ты почем знаешь?

— Да уж у меня такие приметы есть.

— Какие такие приметы? Заврался ты, братец.

— Да у меня их много, дяденька: вот, например, розы я обожаю. Сочинителей хлебом не корми, розы им подавай.

— Где ты, свинячий сын, розы видел?

— Я. дяденька, третьего дня в сад забрался: целый день на клумбе пролежал.

Рассердился боров.

— Уходи, — говорит, — Ванька, подальше. Не посмотрю, что племянник, — слопаю.

Дал Ванька стрекача от родственника, а у самого в голове та же загвоздка: как бы на клумбе полежать да розы понюхать.

Спит свинячий сын и видит во сне: лежит он, Ванька, весь в розах, а все вокруг говорят: «Ах, какой приятный поросенок!»

Что же! Оказался сон в руку. Наступила Пасха. Понадобился, как водится, поросенок.

Пришел повар на скотный двор. Поймал Ваньку.

— Ты, — говорит, — свинячий сын, не больно жирен. Да я, — говорит, — нафарширую тебя. И будет ладно.

Лежит поросенок на блюде смирно. Глазом не моргнет.

А вокруг — розы… Правда, из бумаги. Однако если поразмыслить, то и это не худо.

«Сатирикон», 1909, № 42

Илья ЭРЕНБУРГ

* * *

Когда встают туманы злые
И ветер гасит мой камин,
В бреду мне чудится, Россия.
Безлюдие твоих равнин.
В моей мансарде полутемной.
Под шум парижской мостовой.
Ты кажешься мне столь огромной.
Столь беспримерно неживой.
Таишь такое безразличье.
Такое нехотенье жить,
Что я страшусь твое величье
Своею жалобой смутить.

Март, или апрель 1912

* * *

Как радостна весна родная:
И в небе мутном облака,

И эта взбухшая, большая.
Оковы рвущая река.
И я гляжу, как птичья стая
Слетает на верхи берез
И как ее пугает, лая,
Веселый и продрогший пес.

Март или апрель 1912

О России

Ты прости меня, Россия, на чужбине
Больше я не в силах жить твоей святыней.
Слишком рано отнят от твоей груди,
Я не помню, что осталось позади.
Если я когда-нибудь увижу снова
И носильщиков, и надпись «Вержболово»,
Мутный, ласковый весенний день.
Талый снег и горечь деревень.
На дворе церковном бурые дорожки
И березки хилой тонкие сережки, —

Я пойму, как пред тобой я нищ и мал.
Как я много в эти годы растерял.
И тогда, быть может, соберу я снова
Все, что сохранилось детского, родного,
И отдам тебе остатки прежних сил.
Что случайно я сберег и утаил.

Февраль или март 1913

О Москве

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными.
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово.

Февраль или март 1913

О маме

Если ночью не уснешь, бывало,
Босыми ногами.
Через темную большую залу,

Прибегаешь к маме.
Над кроватью мамина аптечка —
Капли и пилюли,
Догорающая свечка
И белье на стуле.
Посидишь — и станет почему-то
Легче и печальней.
Помню запах мыла и уюта
В полутемной спальне…

Февраль или март 1913

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

Две радости

Солнце… Зелень… Птичий гам.
Выставленья зимних рам.
Обыск, арест, экзекуция…
То есть целых два зараз
Удовольствия для нас:
И весна и… конституция.

«Сатирикон», 1908, № 4

Вопрос

Выйдешь ли, родная пресса.
Из-под тягостного пресса?
Иль, под веяньем реакции.
Ярко-черные реакции
Совершатся в черепах,
И получишь в формах права
Ты указ злорадный справа —

В духе мудрых черепах…

«Сатирикон», 1908, № 34

Прессе

Птица вольная прогресса,
Буревестник новых дней.
Ты несла, родная пресса,
Веру в счастье и людей.
Рассекали воздух горниц
Два свободные крыла.
Направлялся лёт упорный.
Прям и верен, как стрела.
Но оббили злые вьюги
Перья с левого крыла,
И в запутанные круги
Стройность взлета перешла.
Нет уверенной отваги
В левом раненом крыле, —
Конвульсивные зигзаги
Нагибаются к земле…
И не взвиться птице ныне

В дали вольные высот, —
Жалкий жребий — рыться в тине,
В смрадных зарослях болот.

«Сатирикон», 1908, №. 34

Конкуренты

Как-то в ночь под Покрова
Близ Литейного проспекта
Перешептывались два
Подозрительных субъекта.
«Что, коллега, как у вас?
Платят много ли в охранке?» —
«Да, кой-что я уж припас:
Тысяч с пять лежит уж в банке…
Ну, а ты за тот же труд
Сшил ли шубу, хоть в рассрочку?» —
«Вот простак. Да мне дают
По полтиннику за строчку».

«Сатирикон», 1909, № 7

Песня об его превосходительстве

Почти по Беранже

Его превосходительство
Не любит сочинительства…
Лишь пишет каждый раз
Коротенький приказ.

И наше местожительство
Его превосходительство.
Придя в большой экстаз,
Меняет каждый раз.

И только покровительства
Его превосходительство
Оказывает тем,
Кто тих, и глух, и нем…

Опорой стал правительства
Его превосходительство,
И в будущем году —
Он ждет на грудь звезду!..

«Сатирикон», 1909, № 8

Элегия

Взбираюсь на мыс ли.
Пью ль воду, кумыс ли —
Заветные мысли
Лелею в мозгу...
Сижу ль на полене —
Скучаю по Лене,
Письма же — по лени —
Писать не могу!..

«Сатирикон», 1909, № 34

Отчего

Отчего ты бедна,
И темна, и больна,
Оттого, что пьяна?
Иль пьяна оттого.
Что бедна и темна.
Отчего?

«Сатирикон», 1909, № 43

Поэты

«Всё закаты да закаты. — проворчал редактор едко. —

И хотя бы кто случайно притащил один восход.

Да-с, живое дарованье можно встретить очень редко.

Нет! Скажите мне: восходы разве раз бывают в год?»

Я молчу. Восходы часты. Каждый день поутру солнце

Вылезает из берлоги, пожирая правый бок,

И наверно, взглядом скосым, через пыльное оконце

Упирался в лежанку, золотит обоев клок.

Под навесом по навозу бродит вместе с черной курой.

Ловит ухом, сколь цыплята, жизнерадостно пищат.

Как стучит по загородке хвост коровы злобно-хмурой.

Но не знает, что под утро все поэты сладко спят.

«Мне понятней ужас смерти, — отвечаю я тягуче. —

Час рожденья тайны светлой не моей душе объять...»

А редактор, покопавшись на столе в бумажной куче,

В чьей-то рукописи робкой переправил «е» на «ять».

«Сатирикон», 1910, № 47

История спокойного короля

Хуже песни

Сидела некая матрона
У трона
И помогала лезть на трон
Тьме подозрительных персон.
А вдалеке хозяин трона
Им улыбался благосклонно.

Народ пищал, и трон трещал,
А кто-то радостно вещал:
«Всё для войны. И для войны
Снимайте, граждане, штаны».
А вдалеке хозяин трона
Лишь улыбался благосклонно.

Как в сказке: от козла лишь рожки,
У трона подломились ножки.
И, робко издавая стон.
Упала на пол тьма персон.
И сам упал хозяин трона.
Но — улыбался благосклонно.

Осиротел убогий трон
И к победителям свезен;
И приказал из них один:
«Что? Старый трон? Сейчас в камин!»
А вдалеке хозяин трона
Лишь улыбался благосклонно.

И трон сожжен. Давно забыт.
Теперь другая власть царит.
Порядок прежний — в тьме могил.

Его народ уже забыл.
А что же он — хозяин трона?
Он? Улыбнулся благосклонно.

«Новый Сатирикон», 1917, № 12



Словарь авторов

АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич (1881–1925)

Писатель-юморист, драматург, театральный критик. Родился в купеческой семье, получил домашнее образование. Литературную деятельность начал как фельетонист и юморист. В 1906–1907 годах редактировал выходивший в Харькове юмористический журнал «Штык», где печатал и собственные стихи. С 1908-го — редактор и совладелец журналов «Сатирикон» и — с 1913-го — «Новый Сатирикон». До Октябрьской революции выпустил ряд сборников рассказов («Веселые устрицы», «Круги по воде», «Зайчики на стене» и др.), которые принесли ему самую широкую известность. Эмигрант. Умер в Праге.

АГНИВЦЕВ Николай Яковлевич (1888–1932)

Поэт, драматург, детский писатель. С 1913 года печатал стихи в сатирических журналах. В том же году издал книгу «Студенческие песни». В 1910-е годы — организатор и участник артистических кабаре в Петербурге. Был известен как автор бытовых песенок, куплетов для эстрады и

юмористических стихотворений. С конца 1917 до 1923 года находился в эмиграции, где издал сборник «Блистательный Санкт-Петербург*. После возвращения на родину сотрудничал в советских сатирических журналах, писал для эстрады и цирка, выпустил более 20 книг для детей. Умер в Москве.

АЗОВ Владимир
(Владимир Александрович Ашкинази, 1873–1941)

Журналист, фельетонист, переводчик. С 1910 года постоянный сотрудник «Сатирикона», с 1913-го — «Нового Сатирикона». В издательстве этих журналов выпустил сборники: «Истинно русские народные сказки», «Цветные стекла» (оба — 1911 год). Писал также скетчи, сценки и фарсы. В 1926 году эмигрировал. Жил в Париже, печатался в периодике.

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871–1919)

Прозаик, драматург, публицист. Родился в Орле, в семье землемера. Первый рассказ опубликовал в 1892 году. В 1910 году сотрудничал в журнале «Сатирикон». Почти все рассказы, повести и драмы Л. Андреева по мере их опубликования становились крупными литературными и об-

щественными явлениями, что сделало писателя одним из самых читаемых в России («Красный смех», «Жизнь человека», «Анатэма», «Рассказ о семи повешенных» и др.). Л. Андреев восторженно принял Февральскую революцию 1917 года, но отверг Октябрьскую. Умер в Финляндии. В 1956 году перезахоронен на Литературных мостках Волкова кладбища в Ленинграде.

БУДИЩЕВ Алексей Николаевич (1867–1916)

Поэт, драматург, прозаик. С 1886 года как поэт и фельетонист сотрудничал в ряде юмористических журналов, позднее печатался в «Новом Сатириконе». Писал рассказы, повести, романы и пьесы. Широко известен написанный на стихи А. Будищева романс «Калитка» («Только вечер затеплится синий…»). Последние годы жил в Гатчине, похоронен в Петербурге.

БУНИН Иван Алексеевич (1870–1953)

Прозаик, поэт, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1933). Из древнего дворянского рода. Первое выступление в печати — стихотворение «Над могилой Надсона», опубликованное в газете «Родина» в 1887 году. Первая книга стихотворений вышла в 1891 году. Затем последовали книги стихов «Под открытым небом» (1898), «Ли-

стопад» (1901), «Новые стихотворения» (1902), «Стихотворения» (1912). За книгу «Листопад» И. Бунину была присуждена Пушкинская премия. К 1910 году И. Бунин становится одним из самых знаменитых и уважаемых писателей России, выпускает свое первое собрание сочинений. В феврале 1920 года эмигрирует. Жил на юге Франции. Скончался в Париже.

БУХОВ Аркадий Сергеевич (1889–1946)

Поэт, прозаик, фельетонист, драматург. Выступал как поэт-сатирик с 1908 года в журналах «Стрекоза», «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Писал также юмористические рассказы, редактировал «Синий журнал». В 1918 году эмигрировал в Литву, в 1927-м вернулся на родину. Активно сотрудничал в ряде советских изданий, написал множество памфлетов, фельетонов и водевилей. Отдельными изданиями вышли его сатирические романы «История трех святых и некоторых посторонних» (1930). «Черное кольцо» (1931). Был репрессирован.

ВЕНСКИЙ Евгений
(Евгений Осипович Пяткин, 1885–1943)

Поэт-сатирик, журналист, детский писатель. Начал печататься в 1906 году в журнале

«Зритель». С 1908 года постоянный сотрудник «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». Широкую известность получил сборник пародий Е. Венского «Мое копыто», вышедший двумя изданиями (1910, 1911). После Октября 1917-го активно сотрудничал в советских изданиях. Был репрессирован.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Николаевич (1879–1939)

Поэт, беллетрист, театральный деятель. В 1905 году сотрудничал в сатирическом журнале «Жало», затем печатался в «Сатириконе» и в «Новом Сатириконе». Издал сборники стихов «Песни молчания» (1905), «Паутинные ткани» (1906) и «Путь Агасфера» (1914, с предисловием Л. Андреева). Написал также книгу воспоминаний «Москва в 1918 году» (1928).

ВОИНОВ ***Владимир Васильевич (1878–1938)***

Поэт-сатирик и прозаик. Был постоянным сотрудником «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». В 1916 году издал роман «Чертово колесо», в 1917-м — книгу «Политические сказки и басни». После 1917 года работал в РОСТА, писал фельетоны и басни, комедии и театральные обозрения, рассказы и стихи для детей. Умер в Ленинграде.

ВЯТКИН Георгий Андреевич (1885–1941)

Поэт, прозаик. В 1913 году сотрудничал в «Сатириконе». В 1917 году вышли из печати книги стихов Г. Вяткина «Алтай» и «Опечаленная радость», а в 1923-м — сборник «Чаша любви». Был репрессирован.

ГОРНЫЙ Сергей
(Александр Авдеевич Оцуп, 1880–1949)

Поэт, прозаик. По образованию — горный инженер (отсюда происхождение псевдонима). В сатирических изданиях начал печататься в 1906–1907 годах. Активно работал как в «Сатириконе», так и в «Новом Сатириконе». Писателю принадлежат книги «Почти без улыбки» (1914), «Ржавчина духа» (1915) и другие. В 1922 году С. Горный переехал в Берлин, затем в Париж, где сотрудничал в газете «Последние новости» и других периодических изданиях.

ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Митрофанович (1884–1967)

Поэт, прозаик. С 1908 года на протяжении ряда лет сотрудничал в «Сатириконе». До Октябрьской революции издал ряд поэтических сборников, занимал видное положение в группе поэтов-акмеистов. Автор многих стихотворных

произведений, а также нескольких повестей. Умер в Москве.

ГОРЯНСКИЙ Валентин
(Валентин Иванович Иванов, 1888–1944)

С первыми стихами выступил в 1906 году. С 1913 года был постоянным сотрудником «Сатирикона», затем «Нового Сатирикона». Первая книга его стихов — «Крылом по земле» — вышла в 1915 году, спустя год в юмористической библиотеке «Нового Сатирикона» была издана книга «Мои дураки. Лиро-сатиры». В 1920 году эмигрировал. Умер в Париже.

ГРИН Александр
(Александр Степанович Гриневский, 1880–1932)

Поэт, прозаик, романист. Литературную деятельность начал в 1906 году. В 1914–1916 годах сотрудничал в «Новом Сатириконе», в котором опубликовал ряд стихотворений и сатирических рассказов. Широкую известность завоевал своими фантастическими романами, написанными в советское время («Алые паруса», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам» и др.). Умер в Старом Крыму.

ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886–1921)

Поэт и критик, один из идеологов акмеизма, организатор «Цеха поэтов». В 1916 году сотрудничал в «Новом Сатириконе». Автор ряда книг стихов: «Жемчуга» (1910), «Колчак» и «Костер» (1918), «Огненный столп» (1921) и других. Расстрелян.

ГУРЕВИЧ Исидор Яковлевич (1882–1931)

Писатель-сатирик. С 1908 года сотрудничал в «Сатириконе», затем в «Новом Сатириконе». Выпустил сборники юмористических рассказов «Бархатные когти» (1910), «Шипы любви» (1914), «Сигнальные ракеты» (1915) и другие. Автор ряда пьес и миниатюр, которые ставились петербургскими театрами. После 1917 года сотрудничал в советских юмористических журналах.

ДАКТИЛЬ А.
(Анатолий Адольфович Френкель, 1890–1932)

Поэт, переводчик, сатирик, фельетонист. Печататься начал в 1896 году. С 1914 года сотрудничал в «Новом Сатириконе». После Октябрьской революции — в журналах «Мухомор», «Заноза», «Смехач»… Автор получившей широкую известность песни «Марш Буденного» («Мы красная кавалерия…», 1920). Писал стихи для оперетт и произведения эстрады.

ДОН АМИНАДО

(Аминад Петрович Шполянский, 1888–1957)

Поэт, прозаик, мемуарист. Печатался в популярных иллюстрированных журналах. Сотрудничество в «Сатириконе» и в «Новом Сатириконе» принесло поэту всероссийскую известность. Первый поэтический сборник — «Песни войны» (1914, 1915). Участвовал в Первой мировой войне. В 1920 году эмигрировал. Лучшая поэтическая книга этого периода — «Накинув плащ. Сборник лирической сатиры» (1928). Последней книгой писателя были мемуары «Поезд на третьем пути» (1954). Умер в Париже.

Д'ОР О. Л.
(Осип Львович Ордер, 1879–1942)

Прозаик-сатирик, журналист. С 1908 года сотрудничал в «Сатириконе» и других периодических изданиях. В 1910-е годы один за другим выпустил книги юмористических рассказов: «О разбойниках», «О сереньких людях», «Смех среди руин» и другие. Творческая удача писателя — книга «Русская история, обработанная «Сатириконом» (1911, 1912), примыкающая к книге «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (1910), авторами которой были Тэффи, Дымов и Аверченко. После Октября 1917 года сотрудничал в «Правде» и других периодических

изданиях. Опубликовал книгу воспоминаний «Литературный путь дореволюционного журналиста» (1930). Умер в Ленинграде.

ДЫМОВ Осип
(Иосиф Исидорович Перельман, 1878–1959)

Прозаик, драматург, журналист. Первое выступление в печати — «Рассказ капитана», напечатанный в журнале «Вокруг света», когда автору было 14 лет. Литературная известность пришла к О. Дымову в 1904 году, когда в Петербурге была поставлена его драма «Голос крови». С 1908 года — активный сотрудник «Сатирикона». Выпускает сборники рассказов, повесть, роман «Бегущие креста». После революции эмигрировал и в эмиграции печатался редко.

ЕВРЕИНОВ Николай Николаевич (1879–1953)

Драматург, режиссер, историк и теоретик театра. Работал как режиссер в «Старинном театре» в Петербурге, затем в театре В. Ф. Комиссаржевской. Более ста спектаклей Евреинов поставил в театре «Кривое зеркало», включая пьесы, написанные им самим. В эмиграции сотрудничал в различных периодических изданиях, в том числе в 1931 году в парижском «Сатириконе».

ЗОЗУЛЯ Ефим Давидович (1891–1941)

Прозаик, фельетонист. В 1914–1918 годах — активный сотрудник «Нового Сатирикона», на страницах которого напечатал много рассказов, сценок и зарисовок. После Октября 1917 года работал в журналах «Огонек» и «Прожектор». Погиб на фронте.

ЗОРГЕНФРЕЙ Вильгельм Александрович (1882–1938)

Поэт, переводчик, прозаик. Сотрудничал в журналах «Зритель», «Маски», «Сатирикон». Единственная книга стихов В. Зоргенфрея — «Страстная суббота» — вышла в 1922 году. В дальнейшем занимался переводческой деятельностью. Был репрессирован.

ИВАНОВ Георгий Владимирович (1894–1958)

Поэт, прозаик, критик, переводчик, автор многочисленных мемуарных очерков. Примыкал к акмеистам, в 1912 году был принят в «Цех поэтов». До эмиграции издал шесть поэтических сборников. Первая книга прозы — беллетризированные воспоминания «Петербургские зимы» — вышла в 1928 году. В 1931 году сотрудничал в парижском «Сатириконе». Умер во Франции.

ИЗМАЙЛОВ Александр Алексеевич (1873–1921)

Поэт-пародист, прозаик, литературный критик. Печататься начал в 1895 году. Особую известность приобрел как автор шаржей и пародий (прозаических и стихотворных), собранных в его книгах «Кривое зеркало» (1908) и «Осиновый кол» (1915). Сотрудничал в ряде периодических изданий, в том числе в «Сатириконе» и в «Новом Сатирикоре». Умер в Петрограде.

КНЯЗЕВ Василий Васильевич (1877–1938)

Поэт-сатирик, журналист. С 1908 года — постоянный сотрудник «Сатирикона», затем — до 1914-го — «Нового Сатирикона». В 1918 году написал знаменитую «Песню Коммуны» («Никогда, никогда! Никогда, никогда Коммунары не будут рабами!»), ставшую широко известной в народе. Сатира В. Князева собрана в «Последней книге стихов» (1933) и сборнике «За четверть века» (1935). Был репрессирован.

КРАСНЫЙ
(Константин Михайлович Антипов, 1883–1919)

Поэт, переводчик, журналист. Был постоянным сотрудником «Сатирикона» и «Нового Сатирикона», одновременно печатаясь в других изданиях. После Октябрьской революции работал в РОСТА.

Автор перевода полного текста «Интернационала». В декабре 1919 года заболел сыпным тифом и умер под Уфой.

КУПРИН Александр Иванович (1870–1938)

Писатель. Родился в семье мелкого чиновника. С семи до девяти лет воспитывался в пансионе, затем длительный срок провел в закрытых военно-учебных заведениях. Первый рассказ опубликовал в 1889 году. С 1908 года печатался в журнале «Сатирикон». Широчайшую известность получил как автор повестей «Молох», «Поединок», «Гранатовый браслет», романа «Яма» и многих других произведений. Осенью 1919 года эмигрировал. В 1937 году вернулся в СССР. Умер в Ленинграде.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Владимир Николаевич (1859–1932)

Поэт, прозаик. На литературное поприще вступил в 1893 году. Первую книгу стихов опубликовал в 1896 году, вторую — в 1908-м. В 1910 году сотрудничал в «Сатириконе». Выпустил «Историю русской литературы для школ и народа», составленную из бесед, проведенных им в народных школах. Умер в эмиграции (в Ницце).

ЛАНДАУ Георгий Александрович (1883–1974)

Прозаик-юморист, переводчик, драматург. В 1911 году поступил в число штатных сотрудников редакции «Сатирикона», а с 1913-го исполнял должность секретаря редакции «Нового Сатирикона». Выпустил два сборника рассказов и участвовал совместно с Тэффи, Аверченко, Буховым в сборнике «Анатомия и физиология человека…» (1916). После Октября 1917 года писал главным образом пьесы для кукольных театров.

ЛЕСНАЯ Лидия Валентиновна (Лидия Озиясовна Шперлинг, 1889–1972)

Поэтесса, автор пьес, произведений для детей. Первый сборник стихов «Аллеи причуд» выпустила в 1915 году, второй, и последний — «Жар-птица», — в 1922-м в Барнауле. 1916–1917 годах была секретарем в «Новом Сатириконе». В 1930-1950-е годы работала на радио и выступала с сольными кукольными представлениями.

ЛИХАЧЕВ Владимир Сергеевич (1819–1910)

Поэт, драматург, переводчик. Литературную деятельность начал в 1877 году. В 1891 году выпустил книгу «Сочинения и переводы». В последние годы жизни был постоянным сотрудником «Сатирикона».

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891–1938)

Поэт. Первая подборка стихов была опубликована в журнале «Аполлон» в 1910 году, первая книга избранных стихотворений «Камень» — в 1918-м. В 1920-е годы обращается к прозаическим жанрам: очерки, автобиографическое сочинения «Шум времени», повесть «Египетская марка». В 1928 году выпускает книгу статей «О поэзии». В 1938 году был арестован и погиб в пересылочном лагере.

МАРШАК Самуил Яковлевич (1887–1964)

Поэт, переводчик, детский писатель. Печататься начал в 1907 году. С 1908 года сотрудничал в «Сатириконе». После 1912 года занимался переводами английских и шотландских поэтов, в 1923 году выпустил первую книгу стихов для детей. Писал пьесы, лирические стихи, переводил и обрабатывал сказки. Незадолго до смерти создал сборник «Лирические эпиграммы». Умер в Москве.

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893–1930)

Поэт, драматург. Литературную деятельность начал в 1912 году. В 1915–1916 годах активно выступал в журнале «Новый Сатирикон». После Октябрьской революции создал «Окна сатиры

РОСТА», сотрудничал в журналах «Крокодил», «Смехач», «Красный перец»... В конце жизни написал сатирические комедии «Клоп» (1928) и «Баня» (1929). Покончил с собой.

МИХЕЕВ Сергей (ум. 1919)

Поэт. Печатал стихи в журналах «Красный смех», «Будильник», «Сатирикон», «Новый Сатирикон», а также в альманахах периода Первой мировой войны. Иногда выступал как литературный критик.

МУНШТЕЙН Леонид Григорьевич (1868–1947) (псевдоним: Lolo)

Драматург, журналист, поэт-сатирик. Литературную деятельность начал в 1887 году. С 1909 года — редактор-издатель еженедельника «Рампа и жизнь». Автор многих комедий. Сочинял также обозрения и скетчи для артистического кабаре «Летучая мышь». Эмигрант. Умер в Париже.

ПОТЕМКИН Петр Петрович (1886–1926)

Поэт-сатирик, переводчик, драматург и литературный критик. Первые произведения опубликовал в 1905 году. С появлением «Сатирикона» стал его постоянным сотрудником, затем — секретарем редакции. Выпустил две книги стихов: «Смешная любовь» (1908) и «Герань» (1912).

Руководил петербургскими театрами «Летучая мышь» и «Кривое зеркало», для которых написал ряд скетчей и пьес. В конце 1920 года эмигрировал. Умер в Париже.

ПРУТКОВ Иван Кузьмич
(Борис Владимирович Жиркович, 1888–1943)

Поэт-сатирик, прозаик, баснописец. На литературное поприще вступил в 1909 году. Был постоянным сотрудником «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». После Октября 1917-го выступал как автор юмористических стихов и рассказов. Писал также эстрадные обозрения и скетчи, стихи для детей. Умер в Сталинграде.

ПУСТЫНИН Михаил
(Михаил Яковлевич Розенблат, 1884–1966)

Поэт-сатирик и пародист. С 1905 года принимал участие в сатирических журналах «Сигнал». «Зритель», «Жало», «Зарницы» и других. В последующие годы особенно часто печатался в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». После Октябрьской революции сотрудничал в «Окнах сатиры РОСТА», печатался в периодике. В 1955 году выпустил сборник сатирических произведений «Сучки и задоринки». Умер в Москве.

РАДАКОВ Алексей Александрович (1879–1942)

Художник-карикатурист, поэт-сатирик, постоянный сотрудник «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». После Октября 1917-го участвовал в создании «Окон сатиры РОСТА», затем сотрудничал как художник во многих сатирических изданиях.

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877–1957)

Писатель. Родился в семье московских купцов. Впервые напечатался в 1902 году. С 1908 года сотрудничал с «Сатириконом». Писал рассказы повести, романы, сказки. До Октября 1917-го выпустил 37 книг прозы. С 1921 года — эмигрант. Выпустил книгу «Взвихренная Русь» и книгу воспоминаний «Подстриженными глазами». А всего в эмиграции их было более сорока. Умер в Париже.

РОСЛАВЛЕВ Александр Степанович (1883–1920)

Прозаик и поэт. Начал печататься в 1901 году. Сотрудничал в ряде мелких журналов и в сатирической периодики: «Стрекоза», «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Зритель» и других. Автор сборников «Красные песни» (1906), «В башне» (1907), «Карусель» (1910) и «Цевница» (1912). Умер в Новороссийске.

ТЭФФИ
(Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу — Бучинская, 1872–1952)

Поэт, прозаик, драматург. Печататься начала в 1901 году. Единственная книга стихов, выпущенная до революции, — «Семь огней» (1910). Став постоянным сотрудником «Сатирикона», писала преимущественно юмористические рассказы, которые составили ряд ее книг. В 1920 году эмигрировала, жила во Франции, писала фельетоны. Умерла в Париже, приняв за несколько дней до смерти советское гражданство.

ФЛИТ Александр Матвеевич (1894–1954)

Поэт-сатирик, фельетонист. В журнале «Новый Сатирикон» начал сотрудничать в 1917 году. После Октябрьской революции работал в Петроградском РОСТА, печатался во многих газетах и журналах, выпустил несколько книг стихотворных фельетонов и пародий. В годы Великой Отечественной войны был сотрудником фронтовой печати. Умер в Ленинграде.

ЦЕНЗОР Дмитрий Михайлович (1877–1947)

Поэт-сатирик, детский писатель. Первое стихотворение опубликовано в 1900 году, первый сборник стихов — «Красная быль» — выпустил в

1906-м. Сотрудничал в «Сатириконе», «Новом Сатириконе» и в других периодических изданиях. В советский период писал песни и стихи для детей. Умер в Ленинграде.

ЧЕРНЫЙ Саша
(Александр Михайлович Гликберг, 1880–1932)

Поэт-сатирик, прозаик. Родился в Одессе. Печататься начал в 1904 году. Первый сборник стихов — «Разные мотивы» (1906) — был конфискован. Автор, во избежание ареста, до 1906 года скрывался за границей. Вернувшись в Россию, стал постоянным сотрудником «Сатирикона». Участвовал в Первой мировой войне, которой посвятил стихотворный цикл «Война». В 1920 году эмигрировал. За рубежом писал преимущественно рассказы и стихи для детей. Умер в Провансе, на юге Франции.

ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879–1939)

Поэт, прозаик. Первый сборник стихотворений — «Кремнистый путь» — выпустил в 1904 году. С 1908 года сотрудничал в «Сатириконе», был редактором журнала «Золотое руно». Опубликовал два романа: «Сатана» (1915) и «Метель» (1917). После Октябрьской революции продолжал заниматься литературной деятельностью как прозаик и пуб-

лицист. В 1933 году опубликовал летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Умер в Москве.

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891–1967)

Поэт, прозаик, публицист, переводчик. Первый сборник стихов выпустил в 1910 году. С 1913 года, продолжая печататься как поэт, начинает журналистскую деятельность. С 1921 года написал много романов, а в 1954 году — ставшую весьма известной повесть «Оттепель». Автор воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Умер в Москве.



ИЛЛЮСТРАЦИИ

В ГОДЪ ИЗДАНІЯ

САТИРИКОНЪ

1909 ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ №23



ТРЕТЬЕ ЧТЕНІЕ ГОСДОПОНЯКА

«Сатирикон», обложка, 1909, № 23. «Третье чтение законопроекта».

Рисунок художника Юнгера.



Аркадий Аверченко. 1920-е годы, Прага.


A.T. AVERČENKO
RUSKÝ SPISOVATEL
А.Т.АВЕРЧЕНКО

Прага. Ольшанское кладбище. Могила Аверченко.



На переднем плане слева: Владимир Азов и Александр Измайлов. *Художник Ре-Ми*.



Одно из многочисленных шаржированных изображений Леонида Андреева. 1912.

Художник Ре-Ми.



Академик Иван Бунин. 1912.

Художник В. Дени.



И. А. Бунин. 1925, Париж.



«Новый Сатирикон», 1913, № 6.

Подпись под рисунком «Суррогат питания»:

— Ну, детки, если вы не будете шалить, я вам прочту в обеденное время две лучших страницы из поваренной книги…

Художник В. Дени.



НОВЫЙ САТИРИКОН

№ 17 ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 1913

Адресъ конторы и редакціи: СПБ., Невскій пр., 98. Телефонъ № 59-07.

Журналъ выходитъ подъ редакціей Аркадія Аверченко, при ближайшемъ участіи А. Радакова, Ре-Ми, А. Яковлева и А. Юнгера, и такомъ всего состава прежнихъ сотрудниковъ.

Рис. А. Радакова

НАРОДНЫЕ ПРИЗВАНІЯ БУДУТЪ ВЫПОЛНЯТЬСЯ.

«Новый Сатирикон», обложка, 1913, № 17.

«Народный печальник едет в Петербург».

Она. Ты с ума сошел?.. Что за костюм!!!

Депутат. Сейчас со мной придут прощаться избиратели, мужички.

Иван, приготовь ванну…

Рисунок художника А. Радакова.



Аркадий Бухов



«Новый Сатирикон», обложка, 1914, № 17.

Номер посвящен 300-летию со дня рождения В. Шекспира.

На рисунке — реминисценции шекспировских сюжетов, изображающих российскую действительность.

Художник А. Радаков.



Евгений Венский.



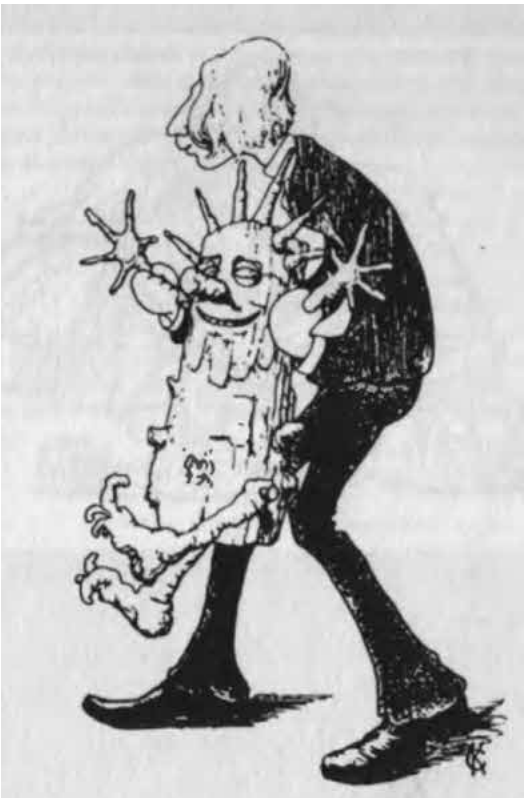
Шарж на Е. Венского.

Художник В. Насоновский



Сергей Есенин и Сергей Городецкий. Март 1915, Петроград.

Фото М. Мурашова.



Сергей Городецкий.

Рисунок С. К.



Рисунок к фрагменту «Науки и искусства» из «Истории России» О. Л. Д'Ора.

Неизвестный художник.



III-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

САТИРИКОН

№ 3 ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 1915 15 ЯНВАРЯ

ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ.

«Новый Сатирикон», обложка, 1915, № 3.

«Виды на будущее».

Голод и нищета народа, обещания властей — постоянные темы журнала времен Первой мировой войны.

Рисунок художника А. Радакова.



Николай Гумилев.

Рисунок Н. Войтинской.



Н. С. Гумилев. 1907.



Дон Аминадо (слева), А. Н. Толстой, Н. В. Крандиевская.

1922, Германия.



«Новый Сатирикон». 1915.

Подпись под рисунком:

— Кто тебя так изукрасил?

— Колька…

— Дай его адрес, ради Бога, — я его в «Эрмитаж» реставратором пристрою.

Художник В. В. Лебедев.



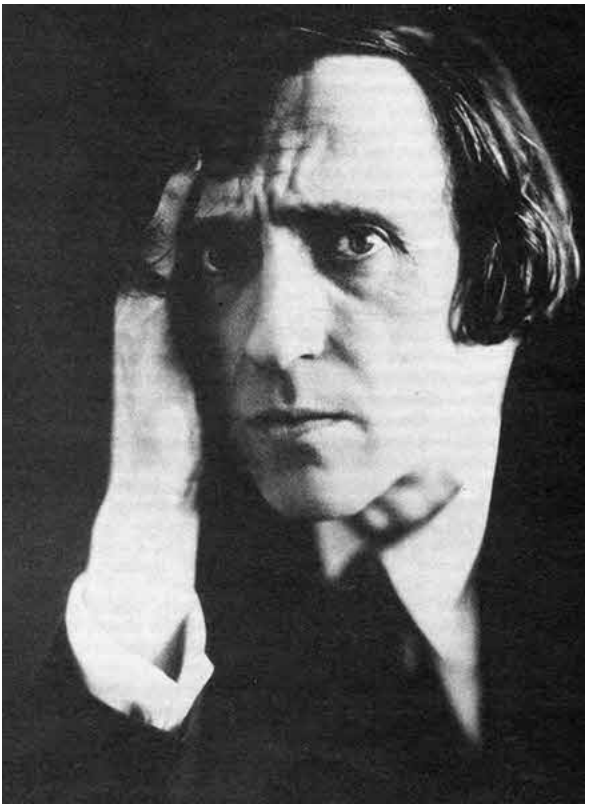
А. Д’Актиль.

Шарж художника Б. Антоновского.



«Новый Сатирикон». Заставка.





Николай Евреинов.



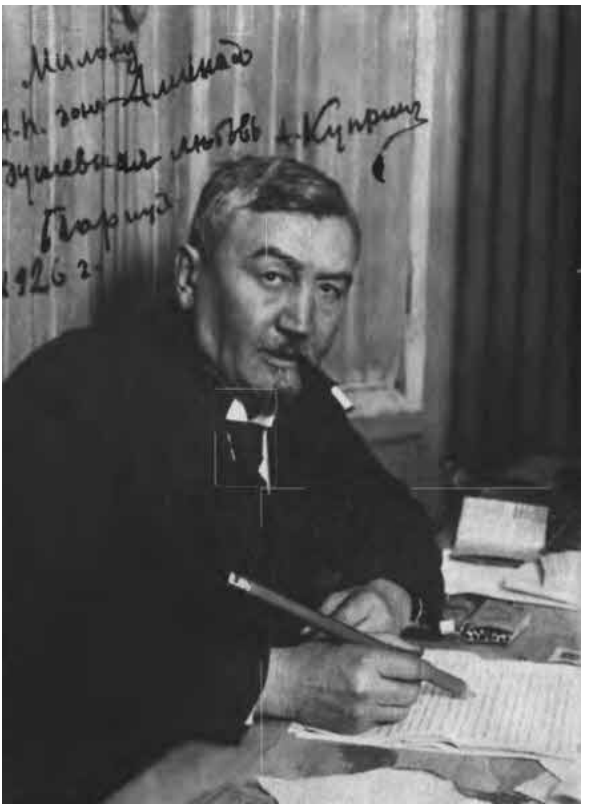
Шарж на Н. Евреинова. ***Художник Ре-Ми***



Георгий Иванов.



Красный (Константин Антипов).



А. И. Куприн, 1926.

Фотография с дарственной надписью Дону Аминадо (А. П. Шполянскому).



Осип Мандельштам. Начало 1910-х годов.



«Новый Сатирикон», 1915.

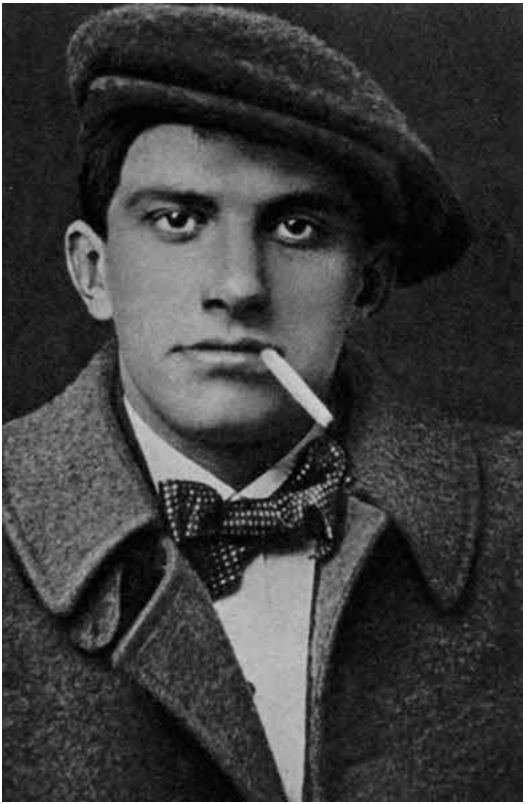
Рисунок на вечную тему о воинской субординации.

Художник В. Лебедев.



«Новый Сатирикон», обложка, май 1918, № 11.

Вскоре после выхода этого номера журнал был закрыт, а многие сатириконцы были вынуждены эмигрировать из Советской России.



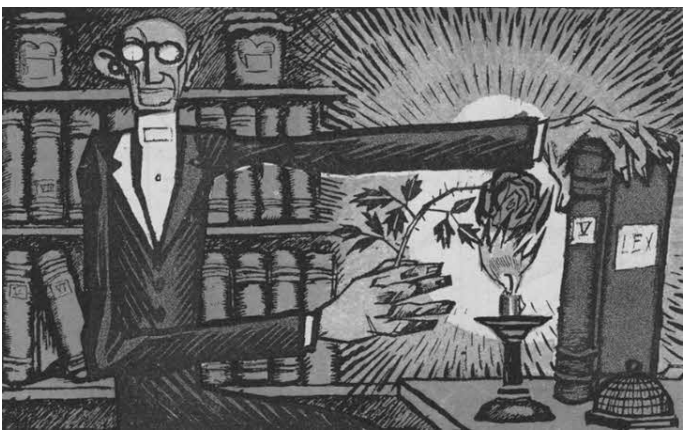
Владимир Маяковский.



Владимир Маяковский. 1922, Париж.

Художник М. Ларионов.

Рисунки художника А. Радакова к стихам В. Маяковского



«Судья», «Новый Сатирикон», 1915, № 9



«Ученый». «Новый Сатирикон», 1915, № 12.



«Гимн здоровью». «Новый Сатирикон», 1915, № 27.



Иван Прутков. ***Шарж Б. Антоновского.***



Автошарж А. Радакова



«Сатирикон», обложка, 1931, № 3. Париж.

На обложке — карикатура на М. Горького. «Вечер в Сорренто».

Подпись под рисунком:

«В полном разгаре страда деревенская…»

Рисунок художника А. Шараго.



Алексей Ремизов. ***Фото П. Шумова.***



Автошарж А. М. Ремизова.



Тэффи (Надежда Лохвицкая)



Александр Флит.

Шарж художника Б. Антоновского.



Саша Черный. 1926, Париж.



Илья Эренбург. 1922, Берлин.



Жюри конкурса «Мисс Россия» (1928–1929) слева направо (стоят): А. Куприн, г-жа Чесно, С. Маковский, карикатурист Дризо, А. Седых, В. Азов, Тэффи, М. Гофман, Е. Рощина-Инсарова, О. Преображенский, Л.Любимов, г-ц

Ландовский; сидят — г-жа и г-н де Валефф.

INFO

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
А 72
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
«Сатирикон» и сатириконцы

А 72 Антология сатиры и юмора России XX века. Том 3. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. — 608 с.
ISBN 5-04-004809-2
(Т. 3) ISBN 5-04-003950-6

Литературно-художественное издание
«САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Том третий

Редактор *Ю. Кушак*
Корректор *Е Остроумова*
Компьютерная верстка *М. Халилов, Э. Зейналов*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 14.03.2000.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92. Уч. изд. л. 30,1.
Тираж 10 000 экз. Заказ 4539.

ООО «Издательство «ЭКСМО-МАРКЕТ.
Изд. лиц. № 071591 от 10.02.98

ЗАО «Издательство — ЭКСМО-Пресс»
Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.

125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 60, корп. 16, подъезд 3.
Интернет/Home page — www-eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

.....

Отсканировано Pretenders,
обработано Superkaras и Siegetower
FB2 — mefysto, 2023

84

«Сатирикон» и сатириконцы

Брат мой Ленин! Зачем вам это?
Ведь все равно все идет
вкривь и вкось и все недовольны.
Почему мы, простые граждане,
имеем право на личную жизнь,
а вы не имеете права
на личную жизнь?
Да черт с ним, с этим социализмом,
которого никто не хочет,
от которого все отворачиваются,
как ребята от ложки
касторового масла.
Сбросьте с себя все эти
скучные сухие обязанности,
представьте их профессионалам,
а сами сделайтесь таким же
свободным, вольным человеком,
такой же беззаботной птицей,
как я...

А. Аверченко «Моя симпатия
и сочувствие Ленину».
«Новый Сатирикон», 1918, №12.